

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Мережковский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах.
Книга первая.

Евгений Витковский. Возвратившийся ветер.

Ну да, возвращается ветер
на круги своя. Только вечер –
вот вечер сегодня другой.

Игорь Чиннов

Всероссийский словарь-толкователь (т. 3, 1895 г., изд. А. А. Каспари) дает исчерпывающее объяснение тому, что такое эмиграция:

«Этим словом обозначается временное или окончательное выселение, оставление отечества вследствие религиозных, политических, экономических или каких-либо других причин».

В словаре Владимира Даля еще проще:

«Эмиграция, выселение, высел, переселение, выход в чужбину, в новое отечество».

Хотя словарь Каспари издан позже словаря Даля, но впечатление такое, что Каспари говорит от имени первой волны русской эмиграции (1919–1925), Даль – от имени второй (1941–1945). У Каспари – какая-то слабая надежда на то, что «выселение» временное. У Даля – никакой надежды. Разве что само отечество переменится. Только ждать такой перемены иной раз эмигрантам приходится непомерно долго. Один из лучших русских романистов XX века Марк Алданов – тоже, кстати, эмигрант первой волны – в романе «Девятое термидора» устами своего героя Пьера Ламора говорит:

«Эти наши неизлечимые эмигранты убеждены, что через месяц революция кончится, и они вернутся к власти во Франции, перевешав всех мятежников. У власти-то они будут, – эмигранты почти всегда приходят к власти, даже самые глупые, – но очень не скоро. (...) Я у своих знакомых эмигрантов спрашиваю: имеете ли вы возможность переждать за границей без дела лет десять? Тогда храните гордую позу и высоко держите знамя... А если не имеете возможности, то понемногу начинайте утверждать, что в революции далеко не все скверно; есть хорошие начала, здоровые идеи, ценные завоевания, ха-ха-ха!..»

В этом издевательском пассаже Алданова-Ламора всего важнее, видимо, заключительный мефистофельский смех: автор – и тем более его загадочный герой – применительно к результатам русской революции не обольщается; опираясь на избранную им «картезианскую» концепцию истории, он твердо знает, что никаких десяти лет для возвращения не хватит, нужно самое малое – полвека, а то и целого столетия окажется мало. Что же касается пресловутого «суда истории», который якобы рано или поздно определит для всех подлинное место, – а значит, и эмигрантов, «дезертиров России», тоже оправдает, – то в том же романе и тот же герой уже всерьез роняет фразу:

«Нет суда истории, есть суд историков, и он меняется каждое десятилетие».

Термин «поэт-эмигрант» в нашем литературоведении с начала двадцатых годов и аж до конца 1986 года (до первых журнальных публикаций Ходасевича и Набокова, если быть точным) означал то же самое приблизительно, что желтая звезда на рукаве и на груди при Гитлере: «Ату его!» Однако загонщики улюлюкали мало и осторожно, лишнее улюлюканье не поощрялось: к чему ругать эмиграцию вместе с ее гниющей – а то и вовсе сгнившей – литературой, если проще сделать вид, что ее вовсе нет? Число наших специалистов по литературе русского зарубежья до последних лет было таково, что, доведись их пересчитывать по пальцам, глядишь, еще и не все пальцы на одной руке пришлось бы загнуть к ладони. Лишь вторая половина восьмидесятых годов принесла неожиданность: эти самые пальцы, прижатые к ладони, дрогнули и сложились в известную фигуру кукиша: выяснилось, что в СССР есть – пусть немного, но есть! – специалисты по этой литературе, скажем так, «неформальные». К ним и начали обращаться издательства за материалом для публикаций. Где лучше, где хуже, но с помощью такого вот классического для России «авось» первое знакомство внутри-российского читателя с вне-российским писателем уже состоялось.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах (вопрос о том, одна русская литература или две (т. е. внутри России и вне ее), вообще некорректен. Русских литератур, если говорить лишь о языке, не одна и не две и даже не двадцать две, сравните лишь региональные литературы Петербурга и, скажем, Владивостока для ясности этого утверждения; во всем мире создается литература на английском языке, но никому и в голову не приходит утверждать, что вся эта литература – английская. Но как минимум одна общая черта у всей русской литературы после 1917 года прослеживается: вся литература этого периода сидела.

В лагерях.

В эмиграции.

В темных углах.

В эвакуации. (Ахматова была эвакуирована не только в Ташкент, но и – позже – в переводы древнекорейской и древнеегипетской лирики. Андрей Платонов – в сказочники). Сидела литература, наконец, просто сиднем, как Булгаков или Всеволод Вячеславович Иванов: одно что-нибудь идет на сцене, все прочее лежит в столе.

Наш четырехтомник посвящен не самой большой, но очень важной ветви русской поэзии: той, которая сидела (да и сидит) в эмиграции. Многие из авторов, впрочем, в иные периоды своей жизни самым натуральным образом сидели в тюрьмах и лагерях – у Гитлера (В. Корвин-Пиотровский, А. Неймирок), у Сталина (А. Эйсер, А. Ачаир), у Тито (И. Н. Голенищев-Кутузов) – и во многих других местах; многим это стоило жизни. Но объединяет наших авторов то, что литературным творчеством занимались они в 1920–1990-е годы, сидя в эмиграции.

Эмигрантскую литературу – и поэзию – создала советская власть.

Она же создала и советскую литературу, хотя сам этот термин все-таки ошибочен. Как заметил в свое время архиепископ Иоанн Сан-Францисский, он же в миру Дмитрий Шаховской, он же в поэзии – поэт Странник, в таком случае, если давать названия литератур согласно политическим структурам, можно многие западные литературы объявить «парламентскими» и т. д. Тем более невозможно объявить «советской литературой» «Доктора Живаго», «Мастера и Маргариту», ахматовский «Реквием», стихи и прозу Даниила Андреева, созданные во Владимирской тюрьме.

А вот те, кто покидал Россию в первой половине двадцатых, тем более в первой половине сороковых, бежали именно от советской власти. Не воздвигнись она – почти никто бы на чужбину не двинулся. Сохранив же русский язык за семьдесят лет «такого маяния» (Г. Иванов) в чужих краях, литература русского зарубежья накопила немалые богатства. На наш взгляд, поэзия – все же самая ценная часть наследия русского зарубежья.

Вклад первой и второй волн эмиграции в поэзию неравен и количественно, и качественно. В числе эмигрантов первой волны оказались почти все уцелевшие поэты-символисты – Д. Мережковский, З. Гиппиус, К. Бальмонт, Вяч. Иванов; если не собственно акмеисты, то изрядная часть гумилевского «Цеха поэтов» – Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Оцуп; лучшие поэты-сатириконтцы – Тэффи, Саша Черный, П. Потёмкин, В. Горянский, Д. Аминадо, даже футуристы (Ильязд) и многие другие, кто уходил в изгнание уже с изрядным литературным именем. Среди поэтов второй волны положение совсем иное: в нашем четырехтомнике 175 поэтов, из них лишь едва ли одна седьмая часть – примерно – биографически «вторые», – те, кто оказался во время войны в Германии или на одной из оккупированных ею территорий (был угнан насильно или попал туда как-то иначе) и не захотел возвращаться домой. Лишь два поэта из всех этих «вторых» были до второй мировой войны членами Союза советских писателей – Глеб Глинка и Родион Акульшин, ставший по выходе из гитлеровского концлагеря, куда оба поэта угодили в качестве военнопленных, Родионом Березовым, но их имена вряд ли были известны в СССР широкой публике. Запоздалый эмигрант-«царскосел» Дмитрий Крачковский, ставший в эмиграции Дмитрием Кленовским, хоть и выпустил первый сборник стихотворений в 1917 году, но тоже был почти безвестен, к тому же с середины двадцатых годов и до середины сороковых, когда попал в Германию, стихами не занимался. Иван Елагин успел напечатать в СССР один авторизованный перевод из Максима Рыльского. Наконец, вовсе трагикомически выглядит с отдаления во времени довоенная литературная деятельность Юрия Трубецкого: отбывая каторжные

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах файлы работы в БАМлаге, он печатал ультрасоветские баллады в сборниках лагерного творчества, предназначенных для лагерных библиотек, – две такие баллады за подлинной фамилией автора (Нольден) переизданы в антологии «Средь других имен» (М., Московский рабочий, 1990), целиком составленной из стихов, написанных в советских лагерях. Одним словом, за исключением перечисленных крох никакого литературного багажа вторая волна за собою в эмиграцию не принесла. А ведь это была, по словам одаренного прозаика Леонида Ржевского, самая трагическая из волн русской эмиграции: и первая, и третья боролись в основном за визы и за право более или менее легального выезда, вторая волна вся без исключения боролась не за визы, а за жизнь, бежала «из-под кнута-то отчего да под дубину отчима» (И. Елагин). Часто и по сей день не удается установить не только подлинную биографию поэта второй волны – но даже подлинную фамилию его. Поэтов первой волны, особенно молодых, жизнь очень не баловала, но как смогла уцелеть в послевоенной Европе и Америке поэзия второй волны – поймет тот, кто поверит словам Варлама Шаламова о том, что четырех физиологических наслаждений человека, вычисленных сэром Томасом Мором, человеку недостаточно: «Острее мысли о еде, о пище является новое чувство, новая потребность, вовсе забытая Томасом Мором в его грубой классификации четырех чувств. Пятым чувством является потребность в стихах» (рассказ «Афинские ночи». В кн.: В. Шаламов. «Перчатка или КР-2». Изд. «Орбита», московский филиал, 1990).

Когда началась эмигрантская литература? Кого к ней причислить? Ведь в двадцатые годы за границей какое-то время жили Андрей Белый, Виктор Шкловский, Николай Агнивцев, Максим Горький, наконец. Все они – кто раньше, кто с триумфом, кто тихонько – возвратились в Россию, не приняв изгнанничества как участи. Другие уезжали из России в неуверенности: навсегда? не навсегда? В какой-то момент окончательное решение приходило. Сравнительно поздно отказался от советского гражданства и стал печататься в чисто эмигрантских изданиях Владислав Ходасевич, лишь с середины тридцатых годов стал настоящим «эмигрантом» Вячеслав Иванов, живший в Италии с 1924 года. Слишком много примеров искать не нужно – биографические факты читатель найдет в справках и комментариях к нашему четырехтомнику. В изгнании не сыскать двух поэтов с одинаковыми судьбами. Для самих поэтов в этом была и есть многая горечь, для поэзии же как таковой подобное положение часто бывало удачей: «парижской ноте» до известного времени с немалым успехом противостояла «пражская», «берлинская», даже «харбинская». В СССР ничего подобного в те годы быть не могло, все тут шагали «в ногу», на свободе и в лагерях, а кто шагал иначе – обречен был в лучшем случае прятать и перепрятывать свои неизданные рукописи. Рукописи, быть может, и не горят – в чем тоже есть сомнения – зато они с успехом гниют. Писатель, не пришедший к читателю вовремя, рискует очень многим. Венгерский писатель Кальман Миксат в одном из рассказов описывает чудесный кафтан, на котором был обозначен видный лишь мусульманам знак, – и тот, кто был в этот кафтан облачен, какое бы преступление в глазах турков он ни совершил, был для завоевателей неприкосновенен. Кафтан пропал, отыскался лишь в лавке старьевщика три столетия спустя... Все бы хорошо, да только от кого им теперь защищаться? Турки давно изгнаны из Венгрии, так что место ему – в музее. А ведь в свое время он как воздух был необходим. То же, увы, и со многими литературными произведениями. В. К. Тредиаковский в 1755 году закончил поэму «Феоптия», обратился к президенту Академии наук с просьбой о напечатании таковой. Канцелярия ответила поэту, что «Феоптия» будет печататься только тогда, когда «начатые в типографии книги будут окончены печатанием». Поэт обиделся, рассудив, что при подобном распоряжении «ни мне, ни внукам моим не дожидаться» издания поэмы. Короче говоря, впервые увидела свет «Феоптия» на страницах «Избранных произведений» В. К. Тредьяковского, вышедших в большой серии «Библиотеки поэта»... в 1963 году. Опоздание на двести с лишним лет превратило поэму из живого литературного факта в музейный и очень мало кому интересный экспонат. То же могло бы случиться – горько, но утверждаю это – и со значительной частью поэзии русского зарубежья, не получи она возможности вернуться в Россию еще при жизни последних представителей первой и второй волн.

Конечно, кое-кто из первой волны попросту уезжал в СССР, решив принять советскую власть и советскую литературу «как есть», по издательскому рецепту алдановского персонажа. Заметим между делом, что во второй волне эмиграции так не поступил никто, о причинах см. стихотворение Ивана Елагина «Амнистия». Попробуем проследить судьбы горе-возвращенцев, хотя бы поэтов.

Алексей Эйсер, покоривший эмигрантские сердца своим прославленным «Человек начинается с горя», еще в 1934 году вступил в «Союз возвращения на Родину»,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
тогда же оформил документы для получения визы на въезд в СССР. До этого он, как и Юрий Софиев, был в Париже профессиональным мойщиком витрин и окон; кстати, и Софиев после войны, устав от такой профессии, уехал в Россию. Но Эйснер успел пройти еще и войну в Испании, и многое другое, прежде чем в декабре 1939 года получил въездную визу. В СССР он был зачислен в ряды РККА в звании капитана, а в день семидесятилетия со дня рождения В. И. Ленина – 22 апреля 1940 года – репрессирован. Реабилитирован был в 1956 году, вернулся в Москву, занимался журналистикой, немного переводил, но к поэзии до самой смерти (ноябрь 1984 года) больше не вернулся.

Пример более известный – Марина Цветаева. Возвращалась она тоже непросто. В марте 1937 года в СССР уехали ее муж и дочь, но лишь 12 июня 1939 года покинула Париж сама Цветаева; 18 июня она уже была в Москве, – до 31 августа 1941 года, до «дня Елабуги», оставалось все же больше двух лет, срок для поэта немалый. Как поэт она не умолкала, – неважно, что не печатали, все же давали возможность заработать какие-то гроши поэтическими переводами. Цветаева осталась поэтом и в СССР, а отсутствие права на печатание собственных стихов было в те годы скорее нормой, чем исключением, но дальше – дальше была Елабуга.

Эйснер и Софиев мыли в Париже витрины, Цветаева в эвакуационном Чистополе пыталась поступить судомойкой в столовую писателей. Перед самоубийством, в одной из трех записок, всё сказала: «А меня простите – не вынесла».

...Ее же, цветаевскими, словами:

Да не обойдешься

С одним Пастернаком.

Эти строки датированы тридцатым годом. Четверть века спустя родина и без Пастернака решила тоже обойтись, предложив ему сматываться за границу, получать Нобелевскую премию.

Многих тоска по родине ела поедом. В 1947 году чуть не перебрался в СССР поэт Вадим Андреев, только и переубедило его то, что родной его брат Даниил, его жена и все близкие к ним люди были в одночасье арестованы и надолго посажены. Позже, в середине пятидесятих годов, В. Л. Андреев все-таки приехал в СССР погостить вместе с женой и сыном, – дочь к этому времени вышла замуж и уехала за океан. Сын жить в СССР отказался, жена согласилась последовать за мужем «куда бы он ни поехал», но сказала, что для нее жить в СССР то же самое, как если б ей обе руки отрубили. Пламенный «возвращенец» Вадим Андреев, в кармане которого уже лежал советский паспорт, был растерян, но выход подсказала жена брата Даниила, Алла Александровна: «Уезжай к себе в Женеву, тоскуй по родине, очень затоскуешь, в гости приедешь». Вадим Андреев послушался и уехал, порою благополучно печатался в СССР – как прозаик, но стихи его итоговым сборником вышли лишь в 1976 году в Париже. Совет Аллы Александровны привел к тому, что Вадим Андреев буквально повис «между двух миров», но это же самое спасло его как поэта: в последние два десятилетия жизни он написал многие из лучших своих стихов.

Куда трудней было возвращение – весьма позднее – не очень известной специалистом по эмиграции поэтессы Марии Веги (урожд. Вольтцовой). Записавшись в свое время в «советские патриоты», она могла приехать в СССР лишь определенной ценой: с людьми такого рода «Комитет по связям с соотечественниками за рубежом», не особо скрывавший в те годы факт, что представляет он интересы совсем другого «комитета», не церемонился, брал он с поэтов «борзыми щенками» – без поэмы-другой о Ленине хлопотать об устройстве старого человека в Москве или Ленинграде ни в какую не соглашалась. Мария Вега и поэмы написала, и еще пачку стихотворений того же рода. Лишь на этих условиях «комитет» издал ее книгу «Одолень-трава» для зарубежных нужд, затем добился и кое-каких публикаций в доступных советскому читателю изданиях. В издательстве «Современник» наконец вышла ее книга «Самоцветы», половину гонорара за которую добрый полковник в штатском, пробивавший ее в печать, положил в свой карман. Вернулась Мария Вега лишь для того, чтобы умереть в 1980 году в Ленинграде, в Доме ветеранов сцены, некогда основанном ее крестной матерью, великой русской актрисой Савиной. Стихи она писала до конца жизни, но ни эмиграция – во всяком случае, та ее часть, что делала «литературную погоду», – ни советские читатели не простили ей тех поэм, которыми оплатила она «серпастый и молоткастый»: поэтесса выпала из обеих литератур, о ней забыли и «там» и «тут» – совершенно притом несправедливо.

Совершенно иначе выглядело возвращение Ирины Одоевцевой, но –

Ну и шутку выдумала душечка!
(Позавидовать? Не презирать?)
Женушка, Ириночка, кукушечка
В Петербург вернулась умирать.
(Игорь Чиннов)

Летом 1988 года я говорил с Одоевцевой в Переделкине несколько часов, покуда сам не устал, – старая поэтесса готова была вести диалог дальше. Я, пожалуй, не соглашусь со словами Валентины Синкевич: «Говорить с этой женщиной нечего, // Но как пишет, как пишет она!» Говорить с Ириной Владимировной было как раз очень интересно и полезно. С ее стороны это был длинный, похоже, годами репетированный монолог, в который нужно было лишь подбрасывать хворостинки-вопросы. Притом смутить ее ничем было невозможно, даже когда разговор не затрагивал ни одну – по ахматовскому выражению – из имевшихся «готовых пластинок». Как бы то ни было – Одоевцева вернулась, ничем не поступившись, вернулась для того, чтобы в третий раз в жизни пережить прилив настоящей славы. Но для этого понадобилось провести в эмиграции две трети века, те самые семьдесят лет, в которые, как предсказывал Саша Черный устами некоего старого еврея в начале двадцатых годов, «не жизнь, а сплошная мука».

Других «возвращенцев» жизнь загоняла в углы самые необычные. Поэт Кобяков исчез в Семипалатинске. В городке Рубежное Луганской области оказался потомок декабриста поэт Никита Муравьев. Харбинский прозаик Альфред Хейдок, пройдя лагеря, очутился на Алтае в жутком по названию городе Змеиногорске. Из числа добровольных «возвращенцев» с зарубежного Дальнего Востока выпали из литературы практически все, вне зависимости от того, определяли ли им местом поселения – часто после лагерей – Среднюю Азию, Свердловск или Краснодар; впрочем, оказавшаяся в Краснодаре поэтесса Лидия Хаиндрова в семидесятые годы снова стала писать стихи, местное издательство даже выпустило в 1976 году тонкую книжку ее – «Даты, даты...». Книжка прошла вполне незамеченной, сама поэтесса умерла в том же городе в 1986 году. Юрий Софиев, живший в Алма-Ате, несколько раз выступал с подборками в местном русском журнале «Простор», но вместо собственной книги предпочел, когда выпала возможность, издать книжечку стихотворений своей умершей в Париже в 1943 году жены – поэтессы Ирины Кнорринг. Называлась книжка загадочно – «Новые стихи». Думается, так обвели вокруг пальца алма-атинскую цензуру. Даже Вертинский, любимейший артист советского правительства, демонстративно поселенный в Москве на улице Горького (ныне снова, к счастью, Тверской), хотя и давал по стране концерты тысячами при полных залах, хоть и снимался в чудовищно скверных фильмах – но возможности печататься был лишен. «Почему я не пою по радио?.. Почему нет моих пластинок?.. Почему нет моих нот, моих стихов?..» – вполне риторически спрашивал Вертинский в письме к заместителю министра культуры С. Кафтанову (письмо было опубликовано лишь в 1989 году в журнале «Кругозор»), а как поэт Вертинский обрел свое лицо лишь с выходом в 1991 году большого однотомника «Дорогой длиною...», куда вошли образцы всех литературных жанров, в которых иной раз работал артист. Даже к столетию со дня рождения Вертинского книга опоздала на два года...

Лишь два «возвращенца» из числа поэтов, приехав в СССР, не только ни в лагерь не попали, ни в глухую провинцию – но, напротив, оставили заметный след в той литературе, которую до недавнего времени принято было называть советской. Это в первую очередь прославленный от Парижа до Шанхая Антонин Ладинский, выпустивший в годы эмиграции пять поэтических книг. В тридцатые годы на литературном небе русского Парижа он сверкал как звезда едва ли не первой величины, но Париж и Францию он, по достоверному свидетельству Нины Берберовой, люто ненавидел. После войны он взял советский паспорт и в 1950 году как чрезмерно ретивый советский патриот был из Франции выслан; провел какое-то время в Восточной Германии, наконец, перебрался все-таки в СССР, где и попал в скором времени... на положение второстепенного исторического романиста: здесь и своих таких был эшелон с прицепом, и увечить историю они умели куда виртуозней заезжего Ладинского. Но романы его, хоть и в искореженном виде, в печать все же пошли и читателя своего тоже нашли, – увы, Ладинский слишком быстро умер (1961). Стихи его почти неизвестны в России по сей день.

Второй «возвращенец», И. Н. Голенищев-Кутузов (правнучатый племянник М. И. Кутузова, кстати), никакой ненависти к Европе не питал, более того – в югославских справочниках он просто зарегистрирован как «свой» писатель, ибо

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio много написал по-сербски. Биографию этого крупнейшего ученого и значительного поэта читатель найдет в нашем четырехтомнике, а вот история его возвращения в Россию – точнее, «попадания в СССР», – пожалуй, аналогий не имеет. В 1947 году он, как и Ладинский, принял советское подданство, но сходство на этом заканчивается. Французские демократы «патриота» Ладинского просто выслали из страны. Менее демократичный маршал Тито в 1949 году посадил Голенищева-Кутузова, одного из крупнейших в Европе специалистов по Ренессансу, в каторжную тюрьму, – из нее Илья Николаевич вышел лишь в год смерти Сталина, вышел буквально «живым скелетом». Вскоре он навсегда покинул Югославию, столь долго бывшую его второй родиной, в 1954 году недолгое время преподавал в Будапештском университете, а в 1955 году добрался до СССР. Здесь, при всей неустроенности быта и занявшей много лет адаптации к давно переродившейся в худшую сторону культурной среде, он еще четырнадцать лет, до самой смерти (1969), доводил до конца свои многочисленные научные работы, изданные ныне многими толстыми томами. Лишь за год до смерти он собрал все свои сохранившиеся стихи, восстановил кое-что по памяти, отредактировал, отшлифовал, написал кое-что новое, и... по сей день рукопись эта не увидела света.

Конечно, в печати порой мелькали переводы: Ладинского из Элюара, Эйснера из Лорки, Голенищева-Кутузова из поэтов Далмации – дела это никак не меняло, у нашего читателя, сколько ни втолковывай, курица не птица, переводчик не поэт. Конечно, кто-то читал исторические романы Ладинского и Всеволода Никаноровича Иванова. Конечно, никто не оспаривал авторитета И. Н. Голенищева-Кутузова как ученого. Наконец, имелось и исключение – Цветаева, которую попросту «приписали» к советской поэзии, – ведь покончила с собой она не где-нибудь, а в СССР! Но хочется оборвать этот жалкий и страшный перечень.

Для поэта-эмигранта нет пути назад: он потеряет либо голос, либо свободу, либо жизнь, либо все вместе. Ветер, конечно, возвращается на круги своя. Но сами круги слишком подвержены переменам, и вечер, в который возвратится ветер, окажется совсем не тем вечером, из которого ветер брал свой разбег, – и нельзя войти дважды в одну и ту же воду.

Если жребий русского поэта төмен (М. Волошин), то жребий русского поэта, попытавшегося вернуться в СССР, чёрен, как динамит (А. Несмелое). Для поэта-эмигранта в России XX века путь к дому закрыт. Лишь чужая земля способна дать жизнь его поэзии.

Так что хочешь или не хочешь, а приходится изучать поэзию русской эмиграции отдельно от всех разновидностей ее, оставшихся в России. И даже давать оценки и определять – кому сколько строк и стихотворений нужно отвести даже в столь объемной антологии, как наша. Обиженные все равно будут, сколько голов – столько умов, и сколько литературоведов и поэтов – столько же – а вообще-то гораздо больше – галош, в которые они могут сесть, раздавая лавровые венки и пощечины. Айхенвальд усмотрел в молодом Сирине нового Тургенева. Престарелый «царскосел» Кленовский усмотрел в поэзии позднего Георгия Иванова «путь поспраивания святынь и издевательства над ними». Да и маститый Глеб Струве в своем фундаментальном труде «Русская литература в изгнании» обронил утверждение, что послереволюционная эмигрантская поэзия не могла, конечно, соперничать с той, что осталась в России (Кузмин, Мандельштам, Ахматова и др., зато вот проза... Много ли могут противопоставить советские прозаики романам Набокова? И так далее.

В жизни все оказалось, по меньшей мере, наоборот. «Советские» прозаики – Платонов, Булгаков, Сигизмунд Кржижановский и др. могли бы – если б их печатали – противопоставить эмигрантской прозе очень многое, как говорится, «кабы не цензура». Впрочем, с цензурой и в эмиграции было не все ладно, вспомним одну лишь изъятую «Современными записками» главу Набоковского «Дара». А вот советская поэзия... Не поленитесь составить антологию таковой с 1920 по 1990 год с уговором, чтобы ни один поэт не был старше Дмитрия Мережковского и ни один – моложе Олега Ильинского, и увидите сами, что получается. Дай-то Бог, чтобы чашки весов уравнились. За рубежом после 1920 года проживало до девяти миллионов тех, кто говорил по-русски. А внутри рубежа?

Кольма и Сена, Иртыш и Гудзон видели на своих берегах русских поэтов. Видели и то, как эти поэты погибают. Судить поэта по судьбе никто не вправе, судьба умирающего в Дальгаге Осипа Мандельштама не лучше судьбы гибнущего в гитлеровском концлагере Юрия Мандельштама. Расстрелянный в июне

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
1937 года киевским НКВД Венедикт Март судьбой своей равен расстрелянному
немцами в Париже заложнику Илии Британу.

С другой стороны, русский поэт, по меньшей мере, имеет право любить чужую страну. Правом этим русские поэты обильно пользовались, к счастью: так возникли для нас Китай – Несмелова, Бразилия – Перелешина, Австралия – Нарциссова, Мексика – Иваска, Италия – Вячеслава Иванова, Греция – Бориса Филиппова и десятки других стран. Можно, впрочем, лишь пожалеть о том, как мало вступали русские поэты в контакт с литературами тех стран, о которых они писали.

Ведь и в России – то же самое. В «Разговоре о бахвальстве» В. В. Вейдле вывел некоего француза, якобы знающего русский язык и даже квасу русскому воздающего должное, который (француз, а не квас) хочет дознаться: откуда у русских такая тяга к коллективному самовосхвалению. Потом француз приходит с повинной: он себя тоже русским почувствовал, снизошла на него сия благодать. Чистую правду написал Вейдле: именно на инородцев нет-нет да и нисходит такая вот безграничная влюбленность в Россию. Не один посланник значительных европейских государств, покидая Россию, принимал православие. Рильке вообще чуть не переехал в Россию вдовсе, чуть не перешел в творчестве на русский язык, а его знаменитый «часослов», по меньшей мере в первых двух книгах, целиком посвящен России и русским темам. Да и Бальзак венчался – где?.. Подумайте, в самом Бердичеве. Так и вспоминается старый еврейский анекдот про костюм, кем-то кому-то пошитый в Париже и привезенный в Бердичев: тамошний портной высоко оценил парижскую работу, поинтересовался, далеко ли Париж, узнал, что далеко, и резюмировал: «Подумать только, такая глушь и так шьют...»

Анекдот вспомнился не случайно, в нем – ключевое слово для всей поэзии русского зарубежья: глушь; практически вся поэзия эмиграции создавалась в глуши, и слова поэта Довида Кнута, брошенные им в пылу литературной полемики в середине двадцатых годов, слова о том, что отныне Париж, а не Москва, должен считаться столицей русской литературы, – увы, чистая выдача желаемого за действительное: если Москва в те годы временно и потеряла право считаться русской литературной столицей, то это не значит, что ею можно было обозначать какой-либо другой город. Живет же американская – англоязычная литература уж которое столетие вдовсе без столицы, и живет, кажется, неплохо.

Впрочем, в США существует отнюдь не только англоязычная литература, – там проживает, к примеру, лауреат Нобелевской премии, пишущий по-русски, И. Бродский, – напоминаю, что до возвращения А. Солженицына в Россию не проживал ни единый. Удивляться вряд ли нужно, американцы – нация эмигрантов. Эмигрантов из десятков, если не сотен, стран, далеко не всегда ассимилирующихся в англо-саксонском большинстве. Выдающийся русский прозаик Ирина Сабурова, после второй мировой войны перебравшаяся в Мюнхен, пытается дать анализ того, что такое вообще эмиграция:

«...Теперь эмиграция перестала быть осколками какого-то класса, бедной иностранной колонией в немногих городах. Теперь она – международный фактор, с которым надо считаться вдовсе. Кто может поручиться за то, что не станет сам эмигрантом?»

После второй мировой войны эмиграция шла не только из Советского Союза, но и почти из вдовсе стран Восточной Европы: Югославии, Чехословакии, Румынии, Польши, Болгарии, а из Венгрии даже дважды; из Восточной зоны Германии, из Балтики и Израиля, из Алжира, Кореи, Индии, Тибета, Индонезии, с Кубы и из Китая. По разным причинам (бегство, но не вдовсе от коммунизма), но именно потому, что по разным причинам, – не миллионы, а десятки миллионов уже, а не горсточка людей! И при вдовсе различии рас, причин и обстоятельств – судьба их одинакова: потеря родины и близких, своего места в жизни, пересадка в чужую обстановку, страну с другим климатом, часто чужим языком, обычаями, требованиями – и необходимость приспособиться – или погибнуть. К этому можно еще прибавить, что после каждой эмиграции, длящейся свыше пяти лет, возвращение становится более чем проблематичным. Разрывается не только жизнь, но и связь с прежней, создаются разные пути, и люди, идущие по ним, станут чужими, потому что изменились по-разному.

(...) Ни к чему обманываться: возвращаться незачем. Старшее поколение становится старым, и даже если возвращение станет возможным, то воспоминания прошлого будут проектироваться вдовсе на другое настоящее –

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio чтобы еще раз потерять все. Молодежь или денационализируется на Западе, или воспитывается крепкими родителями в традициях опять-таки этого прошлого: сохраняется вера, язык, национальное лицо – прекрасно, создается преемственность, но – все это опять-таки чуждо другому такому же поколению, выросшему на родине в совершенно иных условиях». (И. Сабурова. «О нас». Мюнхен, 1972.)

Хочется привести еще одну, совсем короткую цитату из той же книги беллетризованных мемуаров Сабуровой: «Больше, чем когда-либо, в наши дни в силе библейское: все мы странники на этой земле... Мы, конечно, в особенности: для нас солнце всходило в одной стране, а заходит в другой, и ветер не возвращается на круги своя...»

Здесь мы возвращаемся к реплике алдановского героя, Пьера Ламора, который считал максимальным сроком эмиграции – десять лет. Но Алданов создавал героев «Девятого термидора» в двадцатые годы, Сабурова писала свою книгу на склоне жизни – в начале семидесятых. Ламор говорит якобы о героях Великой французской революции, Сабурова – впрямую о тех, кто вынужден был выбрать долю изгнанника в сороковые годы, о тех, к кому идеально точно применима строка из стихотворения Ольги Павловой – поэтессы, проведшей в эмиграции третьей волны девять лет и все же возвратившейся в Россию: «Вы меняли родину на жизнь». Больше половины тех, кого найдет читатель в нашей антологии, поступали именно так. Хотя исход с родины не гарантирует ни того, что, хотя бы на чужбине, удастся уцелеть, – вспомним русских героев французского Сопротивления, – ни того, если уцелеть все-таки удастся, что на чужбине будет дано уберечь свое дарование: вспомним А. Кусикова, эмигрировавшего в 1923 году и не написавшего больше ни строки до самой своей смерти в 1977 году. Ходасевич в конце жизни «умолк» почти на десять лет, Георгий Иванов молчал с середины тридцатых до середины сороковых. Но к Г. Иванову голос вернулся, притом резко отличный от прежнего «по тембру». Ходасевич до этого не дожил. Кусиков оставил свое дарование в России. Эмигрантский ветер может и не вернуться на круги своя – по крайней мере, это случается не всегда.

Дурное знакомство с литературами тех стран, в которые доводилось попадать русским эмигрантам в последние три четверти века, – увы, скорей правило, чем исключение, и откровенно галльско-сюрреалистическое творчество Поплавского, «китаизированное», а позже «бразилизированное» творчество Перелешина, еще очень немногие примеры исключений, подтверждающих высказанное выше, увы, очень не комплиментарное для русских эмигрантов утверждение. Зинаида Шаховская, к примеру, пишет на страницах книги «Рассказы, статьи, стихи» (Париж, 1978, с. 84):

«...И не надо нам падать духом, хотя бы потому, что и пленная русская литература еще громко говорит миру. Помнится, в занятой союзниками Германии, в 1945 г., мы упорно искали какую-нибудь рукопись, тайно написанную книгу, немецкого автора, обличающего гитлеризм, – и не нашли. Книги против нацизма были написаны после поражения. А вот в России (...)».

Мне приходится оборвать цитату – вряд ли Шаховская вводит читателя в заблуждение намеренно. Просто, думается, плохо искали. Достаточно вспомнить знаменитую в Германии, вышедшую в 1945 году в Мюнхене антологию «Де профундис», куда вошли произведения шестидесяти пяти поэтов, живших и творивших в «третьем рейхе» и не имевших возможности «говорить миру». В немецкой литературе есть даже специальный термин: «литература из ящиков письменного стола». «Катакомбные» писатели, перенесшие двенадцать лет нацистского кошмара, создали литературу такой мощи – и, кстати, такого объема, – что остается лишь удивляться, как Шаховская сумела «ничего не найти».

«А все равно этот ваш океан против нашей Волги – лужа!» – говорит купец в новелле одного талантливой, но, увы, очень советского писателя, – поэтому, с читательского позволения, я не называю ни имени писателя, ни заголовка новеллы. В мемуарах «Курсив мой» Нина Берберова упоминает некую девочку, которая на вопрос – понравился ли ей Париж – ответила: «У нас в Пензе лучше».

Жаль, но в Пензе у нас как было хуже, так и осталось. И Атлантический океан все-таки шире Волги. И «я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» оказалось не чем иным, как «случаем так называемого вранья» – по знаменитому выражению Михаила Булгакова из «Мастера и Маргариты».

От хорошей жизни мало кто бежит, и одним из доказательств тому – наша четырехтомная антология. В ней сто семьдесят пять поэтов, – но могло бы оказаться и вдвое больше. Слишком многое затеряно и по сей день по «медвежьим углам» зарубежья. СССР, конечно, был одной шестой суши на нашей планете. Но ведь и всего лишь одной шестой. Так что прежде чем гордиться нашей лучшей в мире литературой – повременим хотя бы до конца тысячелетия. И попытаемся к этому времени хотя бы собрать, хотя бы начать серьезное изучение нашей родной литературы, «распыленной миллионом мельчайших частиц» (Г. Иванов).

Где только не выходили книги русских поэтов! Передо мною – книга Маргариты Дьяконовой «Как это перенести?». Год издания – 1965-й, а место издания – город Хобарт. Боясь, что больше чем 99 процентов читателей не только не знает, где такой город расположен, – его и в подробном атласе будет найти нелегко. А расположен этот город на Тасмании. Книга другого поэта, Бориса Вейнберга, вышла десятилетием раньше в Рио-де-Жанейро. Первый сборник поэтессы Е. Цетлин вышел в начале двадцатых годов в Литве, второй – в конце тридцатых, в Буэнос-Айресе. Перечисление одних только городов, обозначенных на книгах русских поэтов, растянулось бы на несколько страниц. Но наша антология – максимально полный свод высших достижений поэзии первой и второй волн эмиграции, а не справочник по географии, поэтому, увы, для перечисленных выше поэтов места в ней не хватило.

Однако никак нельзя было не найти места для одной из едва ли не начисто обрубленных ветвей русской литературы – казачьей поэзии. В СССР ее «расказачили» вместе со всем казачеством. А вот в эмиграции казачья поэзия не только уцелела, но без нее поэзию русского зарубежья вообще нельзя представить. Перед нами целая плеяда имен: Н. Воробьев (Богаевский), автор важнейшего эпического произведения русского казачества поэмы «Кондратий Булавин» (1965); значительнейший лирик из числа казаков – Н. Туроверов; поэты Н. Евсеев, Н. Келин, М. Залесский, М. Волкова, М. Надеждин (Демушкин), выходцы из сибирских казаков – А. Перфильев и А. Ачаир (Грызов), почти всех их читатель найдет на страницах нашей антологии, у кого больше стихотворений, у кого меньше – тут уж как объемы позволили.

Разговор о казаках не случаен, казаки – часть русского народа, сколько бы ни выдумывали иные хилые вожди в эмиграции никогда не существовавшую державу, «Казачию». Были ведь и те, кто требовал отделения от России то ли Костромской, то ли Тамбовской губернии, – но за давностью лет все это уже стало неинтересно: в литературе, в поэзии «мелкие сепаратисты» не оставили практически никакого следа, в нашей антологии искать их не надо – и для значительных-то поэтов места оказалось в обрез.

Но как же распылены поэты по всему миру! Сколько отчаяния в этом подвижничестве – несмотря на беспросветный сталинизм в родной стране, несмотря на полное равнодушие со всех мыслимых сторон, люди и писали, и пишут. Велика ли была их надежда хоть когда-то быть услышанными в России? Думается, лучше всего об этом рассказал в предисловии к роману «Параллакс» выдающийся прозаик и неплохой поэт Владимир Юрасов (Жабинский): на книжном развале в Нью-Йорке ему попала книга с печатью на титульном листе: «Библиотека зимовки на Новой Земле». «Как, какими неведомыми путями она добралась до нью-йоркского Манхэттана – острова в устье Гудзона? (...) Может статься, и мой «Параллакс» найдет дорогу до города моей юности Ленинграда или до города моего детства Ростова-на-Дону».

Шанс в пространстве, – увы, три четверти века он был неизмеримо меньше шанса во времени; впрочем, многим ли верилось, что рано или поздно их голоса будут услышаны в России? Таких, кто не только «в душе надеялся» или «мечтал» о своем приходе к «внутреннему» читателю, но твердо знал, что в России рано или поздно они будут прочтены с настоящей любовью, можно счесть по пальцам: от Ходасевича до Чиннова. Что двигало остальными поэтами?

Какая разница! Лорд Гленарван все-таки выловил из воды бутылку с криком о помощи, брошенную капитаном Грантом на другой стороне планеты. Тот же Юрасов, не обольщаясь, пишет: «Основной русский читатель живет за семью замками в Советском Союзе». Валерий Перелешин уже в начале «перестройки» писал в Москву: «Я ведь знаю, что мой мечтаемый читательский круг – не слависты в университетах, а широчайшие круги в России». У нас давно уже печатаются авторы, за одно хранение произведений которых еще десять лет назад можно было получить пять-семь лет, – не только Солженицын и Бродский,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах filonov и Авторханов, и Синявский, – да и вообще после того как российские издания оказались начисто лишены западной валюты и оказались не в состоянии покупать права на публикацию произведений современной западной литературы, именно эмигрантская литература во всех жанрах заполнила страницы журналов и планы издательств. Приятно отметить, что «внутренняя» критика, говорящая от имени читательских интересов, оказалась куда менее консервативной, чем зарубежная; писатели, которыми в эмиграции пренебрегали, оказались в нынешней России весьма к месту, – характерен пример начисто забытого за рубежом пражского прозаика Василия Георгиевича Федорова; не так давно мне пришлось рассылать его изданный в России однотомник друзьям, западным славистам, ибо старые книги Федорова не только недоставаемы, но и включают в себя лишь немного из того, что им создано. То же и с вышедшей в серии «Московский Парнас» книгой Несмелова; не говорю об именах более известных – Алданове, Осоргине, Газданове и многих других.

Но далеко не всех издашь отдельной книгой, особенно поэтов, а публикации в периодике слишком фрагментарны и быстро забываются. Даже в зарубежье, где, по словам калифорнийского писателя Петра Балакшина, «трудно подготовить в эмиграции русскую книгу, почти нет издательств и с каждым годом убывает и так небольшое число русских читателей (...) русские книги выходят, их читают, даже обмениваются мнениями по поводу их, что в наш беспокойный и озабоченный век явление уже само по себе замечательное», – даже в зарубежье по меньшей мере четырежды выходили антологии русской эмигрантской поэзии, претендующие на полноту и хоть какую-то беспристрастность. Первая из них, «Якорь», была выпущена в Берлине, в издательстве «Петрополис» к двадцатилетию русской эмиграции, разделялась на шесть рубрик, – очень условных, кстати, – и охватила довольно много имен и стран. Право на отдельную рубрику получили в ней: 1. Поэты, завоевавшие известность до 1917 года. 2. Парижские поэты. 3. Пражские поэты. 4. Берлинские поэты. 5. Дальневосточные поэты. Шестую, последнюю рубрику образовали поэты, которых оказалось трудно отнести к какой-либо сложившейся географической поэтической школе. Трудно сказать, что заставило составителей – Г. Адамовича и М. Кантора использовать именно этот принцип: из нашего нынешнего временного далека и не понять уже, отчего в «Якоре» нет ни единого поэта из тех, кто жил в это время в США, где обособились очень одаренные Г. Голохвастов, Д. Магула, В. Ильяшенко и еще кое-кто; почему так много поэтов из Чехословакии и только два из Польши – и т. д. В те годы, видимо, ответ на каждый из подобных вопросов был самоочевидным: Харбин был все-таки русским городом, из которого доходили новые журналы и книги, Америка же казалась расположенной где-то вовсе на другой планете, – как мало оставалось времени у многих из поэтов до переселения в эту страну, сколь для многих стало это спасением! Ответ на второй вопрос неожиданно прост: для этого нужно знать, в каких странах русскому человеку было в двадцатые-тридцатые годы поселиться легко, в каких – сложно и порою не совсем приятно. Довольно подробно останавливается на этом вопросе в своих мемуарах А. Н. Вертинский. Из Константинополя, куда бежали в 1920 году сотни тысяч русских, эмиграция стала разбредаться очень скоро, оттого и случилось так, что интеллигентная Прага охотно давала приют именно русской интеллигенции, Франция, потерявшая огромное количество мужчин в первую мировую войну, – почти кому угодно, но предпочтительно тем, кто соглашался идти работать прямо, к примеру, на заводы Рено. Тем, кто «хотел сесть на землю», предлагалось ехать в Аргентину, туда, как пишет Вертинский, устремилась изрядная часть казачества. При желании можно было далеко от Константинополя не уезжать: Югославия и даже Болгария довольно охотно принимали русских. Северный Китай – Маньчжурия – вобрал в себя огромное число русских в силу существования КВЖД, недолгого «уик-энда» Дальневосточной республики и просто легкости перехода границы с СССР в тех краях. А вот прибалтийские страны, от Эстонии до Польши, давали приют неохотно, полагая, что и от царских времен осталось в них русского населения слишком много. Почти совершенно невозможен был въезд на постоянное жительство в Японию, – отчасти такое положение дел сохраняется и по сей день: нужно было не только свободно знать японский язык, но даже, принимая японское гражданство, отказаться от своего имени и принять японское. Как ни странно, даже на таких крайних условиях кое-кто из русских в Японии сумел остаться – Н. П. Матвеев-Амурский, к примеру, дед поэтов Ивана Елагина и Новеллы Матвеевой. Оказался кто-то в Финляндии, заехал в Бельгию, в Англию, даже в Марокко, мало ли еще куда. И конечно, в начале двадцатых годов существовала огромная колония русских в Берлине, постепенно растаявшая под натиском внешних обстоятельств. Многие из этих геополитических факторов и привели приснопамятный «Якорь» в столь странный вид.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах file

Вторая мировая война перекроила все карты, не только географические; для эмиграции она была такой же катастрофой, как и для остального мира. Произошел сильнейший отток литературных сил в США, и лишь немногие из поэтов – София Прегель к примеру, – после этой войны нашли в себе силы возвратиться на прежнее парижское пепелище. Русская эмиграция в странах Восточной Европы практически перестала существовать, и даже если не была «репатрирована» на Колыму, то полностью потеряла возможность печататься, – так случилось с пражскими поэтами В. Лебедевым, Э. Чегринцевой, В. Морковиним. В течение первого послевоенного десятилетия почти полностью исчезло некогда огромное русское население Китая – одних «репатриировали» все на ту же Колыму, – или под караганду, велика ли разница? – другие бежали в страны Южной Америки, в Австралию, хотя бы на Филиппины. Поэтесса Ольга Скопиченко, покинувшая Шанхай, оказалась на довольно долгое время именно на острове Тубабао и там, среди филиппинских пальм, в палаточном городке, умудрялась ротаторным способом даже выпускать книги; однако постепенно все «филиппинские беженцы» все же были впущены в США и осели на западном побережье страны – чтоб глядеть на линию горизонта, на запад, где за Тихим океаном остались две их прежние родины – Россия и Китай. А на другом побережье США, на Атлантическом, скапливалось все больше беглецов из Европы: вся Западная Европа казалась такой маленькой в сравнении с так страшно придвинувшейся родиной. В США, кстати, очень быстро оказалось 70–80 процентов всей второй волны эмиграции, сменившей почти полностью свои фамилии, памятуя, что «рука Москвы» хотя и не очень сильная, но очень длинная (Л. Авторханов).

Логична поэтому вторая – и по сей день самая серьезная – антология русской эмигрантской поэзии, несшая название, некогда бывшее заголовком поэтического сборника Георгия Адамовича, – «На Западе». Составил книгу практически единолично тонкий литературовед и неплохой поэт Юрий Павлович Иваск; книга вышла в 1953 году в Нью-Йорке, в издательстве имени Чехова. Ее деление на четыре раздела было столь субъективным и на сегодняшний день малопонятным, что даже обсуждать его не хочется. Надо отдать должное Иваску: называя книгу «На Западе», он оговорил в предисловии, что «данные о дальневосточных поэтах отсутствуют». Иваск, сам выходец из Эстонии, был в те годы начисто лишен столичного снобизма, немало повредившего берлинскому «Якорю». Изъянов в этой очень объемной книге тоже немало, но достоинств неизмеримо больше. Впервые серьезно были представлены и поэты второй волны, – в последнем разделе, где они были перемешаны с перебравшимися из одной страны в другую эмигрантами куда более раннего «призыва», – Л. Алексеева, к примеру, до войны жила в Югославии, и соседство ее в одном разделе с Елагиним или Моршеном сейчас выглядит странно. Но бросать камень в покойного Иваска за недостатки «На Западе» невозможно: лучше него подобной работы никто пока не сделал.

Третья такая антология вышла в 1960 году в Мюнхене, в издательстве «Посев», хотя и была составлена в Париже маститым критиком и литературоведом Юрием Терапиано. Именно об этом писателе выдающийся ум эмиграции, поэт Сергей Рафальский, сказал, что «уполномоченный ценитель считал, что после Пушкина все пишут плохо и потому нет никаких достаточных оснований одних печатать, других выбрасывать в корзинку». Однако литературные свои пристрастия этот ведущий критик парижской газеты «Русская мысль» выражал именно «отсутствием присутствия» в «Музе Диаспоры» – так называлась антология – всех, кто не ложился в его понимание поэзии, в понимание ограниченно-парижское, сформировавшееся почти целиком под влиянием бессмертного набоковского Христофора Мортуса из романа «Дар», – он же, собственно, Георгий Адамович, хоть и пытается Набоков отвести глаза читателю, поясняя, что Мортус в жизни – это пожилая женщина, мать семейства, хронически страдающая болезнью глаз. «Муза Диаспоры» – апофеоз того «парижского» понимания поэзии, о котором Валерий Перелешин писал в своей «Поэме без предмета»:

В Париже группировки, кланы.

Литературные кружки:

Подружки млеют и дружки.

Взаимным восхищеньем пьяны.

Там видятся большие планы.

Там анемичные стишки

О счастье, остром до тоски (...).

Увы, более всего «Муза Диаспоры» содержит именно «анемичных стишков», и – хотя есть несколько исключений – из эмигрантской поэзии вытравлено все, неугодное лично Ю. К. Терапиано. В ней нет имен Д. Аминадо, Саши Черного – вообще ни одного «сатириконца», для Терапиано все, что они написали, –

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio «низкий жанр»; нет лучшего из пражан – Вяч. Лебедева, да и Эйснера тоже нет; из «дальневосточников» – только Ю. В. Крузенштерн-Петерец и Л. Андерсен (последняя к этому времени, впрочем, жила во Франции), т. е. нет именно лучших – Несмелова, Колосовой, Перелешина; нет, наконец, даже лучших из русских поэтов Франции, резко не вписывавшихся в личные пристрастия Терапиано, – Ильязда, Бориса Божнева.

Но, хотя «Муза Диаспоры» – книга в некотором роде неудачная, сам Терапиано поэтом был хорошим. И тактично не включил в антологию именно собственные стихи: от этого антология стала еще хуже.

Четвертая антология подобного рода, в куда меньших масштабах, была предпринята в 1978 году западногерманским издательством «Финк-Ферлаг»; называлась антология «Вне России», в роли составителей выступили опять-таки Ю. Иваск и американский славист Чалзма; в антологию вошли произведения всего трех десятков поэтов, и подборки были невелики: по сути дела, антология оказалась лишь компиляцией работы предшественников, и говорить о ней отдельно нет смысла.

В разное время в эмиграции выходили сборники стихотворений различных авторов по принципу, близкому к советскому «Дню поэзии», т. е. у различных живых поэтов берутся новые, по возможности ранее не печатавшиеся стихи и издаются единой книгой. Наиболее известен из таких изданий сборник «Эстафета», вышедший в Париже в 1947 году, составитель вообще не обозначен, но им был, вероятно, Александр Гингер; в сборнике объединены стихи более чем сорока поэтов из многих стран, в том числе наконец-то из США. По трудным условиям послевоенного времени связь между странами была нерегулярной, так что многие поэты не принимали участия в «Эстафете» не по «злему умыслу», но кое-кто, возможно, и не захотел: в книге отчетливо прослеживается стремление собрать воедино всех, кто принял советское гражданство или стремился к чему-то подобному, оттого невозможно было участие в этой книге, скажем, Георгия Иванова. Впрочем, как антитеза «Эстафете» в Париже почти одновременно вышел альманах «Орион», где издатели сочетали стихи, прозу, мемуары и другие материалы: там Георгий Иванов, Одоевцевой, впервые подавшего свой голос скандально знаменитого Одарченко было предостаточно.

Из сборников более поздних лет резко выделяется «Содружество», выпущенное в 1966 году вашингтонским издательством «Виктор Камкин», книга более чем в 500 страниц, объединившая произведения семидесяти пяти поэтов. Тогда казалось, что это – некий мощный аккорд, последнее слово эмигрантской поэзии. Но... уже через несколько лет за рубежами СССР появились первые поэты третьей волны, – о них разговор совершенно особый. А «Содружество», составленное поэтом и литературоведом Татьяной Фесенко, не претендуя ни на полноту имен, ни на «антологичность» отбора стихотворений, стало важнейшей вехой в поэзии русского зарубежья: «МЫ СУЩЕСТВУЕМ!» – напомнил читателям мощный хор поэтических голосов. Более чем через два десятилетия «Литературная газета» опубликовала целую полосу стихотворений эмигрантов, взятых именно из «Содружества».

Видимо, нужно бы рассказать и о других сборниках – скажем, об очень объемном и очень интересном сборнике шанхайских поэтов «Остров», – и о некоторых попытках издать еще какие-то антологии – скажем, поведать о том, что в переводе на английский язык существует тощая «антология» «Русские поэты США». Но обо всем все равно не расскажешь, особенно же не хочется ворошить в памяти имена некоторых писателей, по тому или иному несчастному случаю к эмигрантской литературе относимых. Как писал Р. Иванов-Разумник в своей книге «Писательские судьбы» (Нью-Йорк, 1951): «Почему это, говоря о советской поэзии, я не упомянул про такого ее кита, как Демьян Бедный? (...) Потому, что к поэзии Демьян Бедный не имеет ни малейшего отношения». Уже предвижу читательский вопрос: на кого, мол, сударь, намекаете? Много на кого. Откроем список, скажем, неким выдающимся футуристом, написавшим в 1927 году в эмиграции поэму к десятой годовщине советской власти. И к сожалению, продолжим список. И закроем тему. Дурного всегда очень много, а хорошего быть много не может.

В эмигрантской критике, при ее в общем очень высоком уровне (В. Ходасевич, Р. Гуль, В. Вейдле, Ю. Мандельштам, И. Н. Голенищев-Кутузов), все же то и дело давало себя знать некое заболевание наподобие слепоты – «святая ненаблюдательность», как выразился в «Даре» В. Набоков. А за примерами далеко ходить не надо: незадолго до смерти Юрий Иваск писал – и не закончил

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio – свою «Похвалу Российской Поэзии», которая с продолжениями печаталась в нью-йоркском «Новом журнале». В предпоследнем опубликованном отрывке (Новый журнал, № 162) есть такие слова Иваска: «В эмиграции мало было поэтов, которых можно было бы назвать белогвардейцами. Белогвардейский цикл у Цветаевой – эпизодичен. Далее следуют «миноры». Среди них – казачий поэт Николай Туроверов и поэт «белой мечты» Иван Савин (Саволайнен)» (...) и далее в том же духе. «О, святая ненаблюдательность!» – только и хочется резюмировать. Ни Николай Туроверов, ни – даже – Иван Савин «минорами», т. е. «мелочью», считаться не могут, в чем читатели могут убедиться по стихам обоих поэтов, включенных в нашу антологию. Слова о Цветаевой – объективная неправда. А тех, кто писал о «белом движении» всю жизнь и всерьез – того же Несмелова, к примеру, – Иваск пренебрежительно не упоминает вовсе, не потому, что не знал: я сам в разное время послал ему для прочтения не менее двухсот стихотворений Несмелова и несколько поэм. Иваску не понравилось. «О, святая ненаблюдательность...»

Или другой пример. До тех пор пока в 1987–1989 годах в США не был издан двухтомник произведений Бориса Божнева, об этом, как считалось прежде, шестого-седьмого разряда поэте упоминалось разве что в подстрочных примечаниях и факты о нем сообщались самые бредовые: и что умер он не то в сорок восьмом, не то в шестидесятом году в каком-то сумасшедшем доме, и год рождения его был всегда перевран, и считалось, что «Божнев» – псевдоним, а подлинная его фамилия другая, неарийская, а главное – что поэтом он был из числа тех, кого упоминают лишь ради их чудачеств. Когда же со страниц составленного Л. Флейшманом двухтомника предстал перед читателем поэт огромный, поэт, чьему дарованию явно уступали даже те, о ком говорили, что они одним только своим творчеством оправдывают существование русской эмиграции; уникальный лирик-суггестивист, способный в лучших своих вещах апеллировать через звук прямо к читательскому подсознанию – ну, что ж... Развели братья-критики руками: прозевали. Нельзя, мол, знать всего. То же случилось, когда в Лейдене вышли относительно полные собрания стихотворений Анны Присмановой и Юрия Мандельштама, – последнего Глеб Струве характеризовал как наименее интересного поэта из числа парижан, ну а то, что писал Ю. Терапиано о Присмановой, едва ли можно читать, не краснея от стыда за автора. Кто следующий на очереди к воскрешению – Александр Кондратьев? Илья Зданевич? Марианна Колосова? Эти имена несомненны, но можно ли поручиться, что из праха не встанут поэты, чьи имена либо вовсе неизвестны ныне, либо почти неизвестны?

Ходасевич писал, что беда эмигрантской литературы не в том, что она эмигрантская, а в том, что она недостаточно эмигрантская. Ходасевич умер в 1939 году; при всей своей несомненной гениальности он не мог охватить одним взглядом всю эмигрантскую литературу – изданную, а чаще к тому же еще и неизданную, – ну и не мог, конечно, знать, что послевоенная литература окажется сильнее довоенной, что воскреснет из пепла Георгий Иванов, вернется в поэзию Сергей Маковский, возникнут «ниоткуда» Одарченко, Чиннов, Перелешин, наконец, придет вторая волна, а с ней – Моршен, Елагин, Анстей.

Там же Ходасевич писал, что трагедия писателей эмиграции выразилась не в том, что написано, а как написано. Пожалуй, и эта беда с течением десятилетий «рассосалась». Трагедией того, «как написано», стала, быть может, единственная трагедия пресловутой «парижской ноты» с Адамовичем во главе и единственным талантливым учеником в лице барона Анатолия Штейгера. Минор этой ноты так нигде и не поднялся до грозного реминора баховской токкаты, – в адамовичевской ноте и их похоронном марше дозволялось исполнять разве что первые два такта, а что сверх того – то искусство «не истинное». Адамович как критик изжил себя в самом начале критической своей карьеры – в чем автор этих строк полностью солидарен с виднейшим немецким славистом доктором Вольфгангом Казаком – ибо, как незабвенный граф Зорич из «Девятого термидора» Алданова, имел «мыслей вообще не так много и ими поэтому особенно дорожил». Сказанное опять-таки не относится к дарованию Адамовича как поэта: оно несомненно.

Возвращаясь к вопросу о критике и о «куриной слепоте», иной раз посещавшей лучших из числа эмигрантских критиков, необходимо вспомнить некоторые наиболее яркие, мягко говоря, неудачи такого рода – насколько точны и глубоки были оценки тех же людей, когда «слепота» им глаза не застила. Вспомним, как грубо и зло пинал Георгий Иванов Набокова – тогда еще «Сирин»; как самого Георгия Иванова объявлял «компаративистом» (компилятором, т. е. не-поэтом) обиженный Ходасевич; опять же Георгий Иванов в долгу не оставался и охаивал Ходасевича почем зря; тем временем

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах filio Алексей Эйсер в Праге объявил стихи Бунина дурной и малограмотной прозой, – что, впрочем, вызвало к жизни драгоценную отповедь Набокова, так что нет худа без добра; тот же Эйсер охарактеризовал лучшее из ранних стихотворений Анны Присмановой «На канте мира...» не более чем как набор слов; в более позднее время мудрейший Владимир Вейдле, уже принеся покаяние за свое прежнее недоброе отношение к Георгию Иванову, объявлял Ивана Елагина «неудавшимся лириком» – и подобных казусов не перечесать. От похвал в рецензиях и вообще-то толку мало: нужно было, чтобы Мережковский назвал «Распад атома» Г. Иванова именно гениальным (на более слабый эпитет отзыва могло бы и не быть), чтобы смертельно больной Ходасевич откликнулся на ту же книгу недоброй, но глубокой и зоркой рецензией; не объявили бы Николай Ульянов и Глеб Струве после смерти Г. Иванова лучшим поэтом эмиграции Д. Кленовского, не разразилась бы в 1959 году полемика в печати «кто лучший», в результате полемики имя Кленовского сразу стало широко известно и книги его попали на полки к тем, кто, возможно, и не принимал всерьез этого запоздалого «царскосела». Именно такая перебранка, в которой никогда не лилась кровь (как в СССР), но лишь чернила, приносила плоды самые положительные – из подобных битв рождалась у поэтов их маленькая эмигрантская слава, которую и нам теперь видно, которую неизбежно нужно учитывать литературоведу. Не зря же кто-то сказал, что нормальное состояние литературы – бескровная гражданская война. К слову сказать, все подобные битвы всегда велись вокруг поэтов значительных. Слава к «пустышке» в эмиграции прийти не могла, мог пройти незамеченным крупный поэт, но не могло быть обратного.

Как доходит до славы – мы слабы.

Часто слава бывает бедой.

Да, конечно, не худо бы славы,

Да не хочется славы худой.

Это слова Ивана Елагина, сказанные в семидесятые годы. Куда раньше и острее этот вопрос возник у Набокова все в том же романе «Дар»:

«Слава? – перебил Кончеев. – Не смешите. Кто знает мои стихи? Сто, полтора, от силы – двести интеллигентных изгнанников, из которых, опять же, девяносто процентов не понимают их. Это провинциальный успех, а не слава. В будущем, может быть, отыграюсь, но что-то уж больно много времени пройдет...»

«Дар» закончен в 1938 году, а Кончеев, напоминаю – это довольно точный портрет Ходасевича.

Добавим к этому, что лишь очень немногие из столичных издательств утерпели в конце 1980-х годов и не поставили в свои планы ту ли, другую ли книгу Ходасевича, а то и более или менее полное собрание сочинений. Кончеев-Ходасевич «отыгрался» ровно через полвека, – по нашим российским масштабам это, честное слово, не так уж много.

Почти тогда же, в 1937 году, в Сан-Франциско уже упомянутый выше прозаик Петр Балакшин писал:

«Через 50–100 лет будут изучать русскую эмиграцию в целом и по отдельным ее великим людям в частности. В этом процессе – вопреки аксиоме – часть станет неизмеримо больше целого. На изучение будут отпущены средства, ряд людей заточат себя на годы в архивы; муниципалитеты городов переименуют некоторые свои улицы, дав им имена этих людей, поставят им на своих площадях памятники, привинтят бронзовые плиты на домах, в которых они жили, гиды будут показывать комнаты, столы, стулья, музеи увековечат чернильницы и ручки и т. д. Будут написаны десятки книг со ссылками на «горький хлеб изгнания и тяжесть чужих степеней»; книги будут свидетельствовать о тяжелой нужде, страданиях, людском безразличии, раннем забвении, близорукости и попустительстве современников...»

Хорошо, что сейчас над этими строками впору улыбнуться: они сбылись на 100 процентов и точно в указанный срок, даже слово «муниципалитет», случайно оброненное Балакшиным, в нынешней России означает именно то, что оно должно означать. Вот разве только счет книгам, которые «будут написаны» об эмиграции, скоро пойдет не на десятки, а на сотни.

А что было раньше, до истечения этих самых пятидесяти лет, – можно сказать и семидесяти, если отсчитывать от более раннего предсказания Саши Черного? Увы, из ста семидесяти пяти поэтов, представленных в нашей антологии, если

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio считать по той известности, которую приносил наш незабвенный самиздат, были ведомы читающей аудитории – в СССР, конечно, – лишь Цветаева, Ходасевич, Георгий Иванов, еще, пожалуй, Елагин. Конечно, по рецепту Максимилиана Волошина –

Почетно быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

Но для абсолютного большинства даже самых талантливых эмигрантских поэтов этот рецепт был бесполезен отнюдь не от отсутствия интереса к поэзии в СССР, а по большей части лишь потому, что не отыскивался внутри окруженной железным занавесом страны артефакт, тот самый первый экземпляр, с которого «Эрика» могла бы изготовить первые четыре копии. Ведь и Георгий Иванов стал широко циркулировать в самиздате лишь после того, как вышло в Вюрцбурге первое его, весьма несовершенное, но объемистое «Собрание стихотворений» и экземпляр-другой в СССР просочился. А самиздат для Елагина многие годы был представлен копиями сборников «Отсветы ночные» и «Косой полет», т. е. именно теми, которые «послеоттепельная», еще не разлитовавшаяся вконец таможня шестидесятих годов допускала к провозу, а то и к пересылке в СССР.

Буквально на наших глазах начался и расцвел буйным цветом процесс «локализации» эмигрантских ценностей внутри России, превращение еще вчера неведомых имен в городскую, краевую гордость. Первый серьезный интерес к Гайто Газданову был проявлен, ясное дело, на Северном Кавказе; для «русского финна» Ивана Савина нашлось пристанище в петрозаводском журнале «Север»; начал возвращаться первыми публикациями в родной Воронеж Вячеслав Лебедев, наконец, даже такой забытый всеми поэт, как Владимир Гальской, вызвал самое пристальное внимание в своем родном городе Орле. Гордостью Владивостока стали еще совсем недавно никому там не известные имена Ивана Елагина и Арсения Несмелова, ну и, конечно, потоком стала возвращаться на родной Дон казачья литература. Словом, балакшинское предсказание сбылось так точно, что не по себе как-то становится.

И все же абсолютное большинство поэтов-эмигрантов в России пока неизвестны даже по именам. Поэтому, составляя антологию, подобную нашей, приходится – сперва лет двадцать поизучав всю возможную «смежную» литературу – очертить круг источников, из которых могут черпаться материалы для нее. Круг этот столь невелик, что стоит перечислить его части.

1. Определив приблизительно поименный список поэтов, которые по тем или иным причинам должны быть представлены, попытаться разыскать их авторские сборники, по возможности все, а не только «итоговые»: как очень точно заметил В. П. Крейд, далеко не всегда последний вариант – лучший; бывает, что поэт в конце жизни портит стихи, написанные в молодости.

2. Но далеко не у всех поэтов есть авторские сборники, и далеко не каждый достанешь хоть на самое короткое время – даже при сложившихся десятилетиями литературных связях. В этих случаях можно брать стихи из коллективных сборников, из периодики, памятуя, однако, что периодика периодике рознь: в одних изданиях тексты приводили в божий вид, расставляли знаки препинания, но стихов не портили («Новый журнал», выходящий в Нью-Йорке с 1942 года, предшествовавшие ему «Современные записки», выходившие в Париже, и т. д.), в других – переписывали по собственному вкусу. Полностью следует отказаться от советских и просоветских изданий – там со стихами делали что хотели; впрочем, не только там.

3. Но далеко не все, что нужно, есть в сборниках наподобие «Эстафеты», «Содружества», не все есть и в журналах. Приходится обращаться в архивы, часто хранящиеся у частных лиц. При этом, возможно, девять десятых усилий пропадут, но есть шанс получить неизданные и порою очень ценные материалы.

4. Наконец, четвертый путь, более чем уместный при работе над как раз нашей антологией: можно и нужно обратиться впрямую к ныне здравствующим, пусть уже далеко не молодым поэтам. Отрадно констатировать тот факт, что большинство поэтов, к которым обращались составитель и члены редколлегии, не только дали согласие на свое участие в антологии, но и щедро предоставили свои новые стихи, никогда и нигде ранее не печатавшиеся. Более двадцати пяти поэтов приняли участие в работе над составлением своих подборок в нашей антологии; к сожалению, далеко не всем довелось ее увидеть. И. Одоевцева, Э. Чегринцева, Б. Филиппов, пока несколько лет шла работа над книгой, умерли, оставив составителю лишь письменные

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах *file* доверенности, дающие право выбора из их творческого наследия. Следует принести благодарность также О. Скопиченко, И. Чиннову, К. Славиной, Э. Бобровой, В. Перелешину, Н. Харкевич, Н. Белавиной, Т. Фесенко, В. Завалишину, Н. Моршену, В. Шаталову, Н. Митрофанову, И. Буркину, И. Бушман, А. Шишковой, Л. Семенюку, Е. Димер, В. Янковской, Э. Ковалевской, М. Визи, А. Рязановскому, И. Легкой и О. Ильинскому: многие из них приняли самое близкое участие в работе над антологией, предоставив свои неизданные стихи. Совершенно особняком стоит огромная помощь члена редколлегии антологии, главного редактора выходящего в Филадельфии альманаха «Встречи», поэта Валентины Синкевич.

США, Канада, Бразилия, Германия, другие страны – сколько писем написано, сколько ответов получено, сколько еще пропало книг и вырезок за время подготовки антологии! И как много еще, при всей долголетней работе над ней, можно было бы улучшать, подправлять, добавлять! Но где-то же надо поставить и точку. Совершенства все равно не будет.

Прежде всего, составляя эту антологию, мы стремились представить эмигрантскую поэзию не такой, какой ее хотелось бы видеть в согласии со своим о ней представлением, – так поступил Ю. К. Терапиано, собирая «Музу Диаспоры», – но такой, какой она была и есть на самом деле. Например, изрядной неожиданностью явилось то, что, как выясняется, поэзия русской эмиграции первых двух волн и по содержанию и, что еще неожиданней, по форме оказалась вовсе не чужда настоящему модернизму.

В 1977 году Борис Филиппов в статье о творчестве одного из модернистов, Бориса Нарциссова, писал:

«Борис Нарциссов – поэт, ни на кого в русском зарубежье не похожий. (...) В русском зарубежье ищут новые пути немногие: Ирина Бушман, Олег Ильинский, Игорь Чиннов. Пожалуй, это и все. Или почти все».

Извинившись, впрочем, что есть у Нарциссова и несомненный предшественник в поэзии зарубежья – Юрий Одарченко, – Филиппов на том и заканчивает. Прочитав наш четырехтомник, читатель может убедиться, до какой степени шире круг авторов, искавших и по сей день ищущих «свои пути». Едва ли был заметным модернизм только в довоенной поэзии, – да и тогда имелись исключения: тот же сюрреалист Поплавский или «аномалии» – нигде в мире, кроме школы русской поэзии в довоенной Америке, никогда не утверждался столь прочно «полусонет» – неожиданная и удивительно гибкая форма семистишия, в которой наиболее ярко проявили себя Г. Голохвастов и Д. Магула.

А вот после второй мировой...

Откровенно сюрреалистический «макабр»: Георгий Иванов, Одарченко, Нарциссов.

Суггестивная «эпика» в классических формах при немыслимом прежде содержании – Ильязд, Божнев.

Очень серьезная «игровая» поэзия – Николай Моршен.

«Моностих» – Владимир Марков.

Верлибристы всех разновидностей: Чиннов, Бушман, Буркин, Шаталов, Синкевич, Рязановский, Легкая и многие другие.

И кого еще только можно бы назвать – даже не привлекая имен из числа поэтов третьей волны! Многие «табуированные» темы вышли на поверхность в последние десятилетия, – упомянем хотя бы поздние стихи Перелешина. К тому же «парижская» школа с ее засушенно-петербургской, откровенно иммортальной поэтикой изрядно приувяла в эмиграции – с одной стороны, под мощным натиском лучших дарований второй волны; с другой – под немалым влиянием неизвестно как выжившей «харбинской ноты» (Несмелов, Колосова, Борис Волков) – пусть поэтов не было в живых, но была жива их грубо-гражданская патетика; с третьей – она перерождалась сама по себе. Безусловный адепт «парижской ноты» Игорь Чиннов превратился в автора таких «гротесков», которым позавидовал бы и Одарченко. Кристально чистый лирик в раннем творчестве, мюнхенская поэтесса Ирина Бушман стала не только писать верлибры, в ее стихи неожиданно вломилась политика – прочтите одно только

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах file
ее стихотворение «Он перешел границу за зари...» в нашей антологии. Наконец, стихи Валентины Синкевич за два последних десятилетия – это попытка синтеза классической формы и верлибра, американских тем и российских, даже украинских. «Чистые верлибристы», скажем Шаталов или Рязановский, в прежнее представление о поэзии эмиграции уже вообще никак не вписываются.

Очень многое из того новаторства, которым столь гордятся нынешние поэты и в России, и в рассеянии – всего лишь пятое изобретение велосипеда, десятое открытие жесткого гамма-излучения, тридцатое обоснование теории относительности. За доказательством отсылаю к тексту нашей антологии, в ней «непослушная» поэзия русской эмиграции представлена совсем не бедно, вплоть до образцов почти пародийных: ведь «Антистихи» Олега Ильинского – явная попытка показать, чем может обернуться неумеренное и неосмысленное злоупотребление поэтикой позднего Мандельштама. Но Ильинский-то смеется, а наши доморощенные новаторы все то же самое пишут всерьез, а критики всерьез ведут разборы, а читатели всерьез не понимают: то ли они сами в чем-то отстали, то ли их дурачат. То же и с другими поздними стихотворениями Ильинского – «Курдюк», к примеру. Его стихотворениями, кстати, завершается наш четырехтомник, он самый молодой из второй волны – в 1992 году Олег Павлович отметил свое шестидесятилетие...

Но каждой реке, прежде чем впасть в море, хочется отыскать собственный исток. В филладельфийском ежегоднике «Встречи», сменившем предшествовавшие ему «Перекрестки», с каждым годом все меньше поэтов первых двух волн эмиграции, все больше «третьих», а с недавнего времени появились уже и «четвертые», как принято называть эмигрантов самого последнего времени, покинувших Россию уже не столько по идеологическим, сколько по экономическим соображениям. Тем не менее именно в последних номерах появился и стал украшением альманаха раздел «Из зарубежного поэтического наследия», где замелькали имена Волкова, Гальского и других «забытых». Но ни в альманах, ни в нашу антологию всех находок такого «наследия» не уместить: слишком многих оставила Россия за своими рубежами в XX веке, слишком многое еще нужно найти, разобрать, изучить, издать. Не случайно в 1992 году в Филадельфии впервые вышла антология поэтов второй волны: последние, кто может быть отнесен к ней биографически, покинули СССР в 1947–1948 годах, а первая ее антология выходит спустя сорок пять лет. Третья волна позаботилась о своих антологиях куда как раньше.

В 1981 году нидерландский славист Ян Паул Хинрихс, находясь в Париже, пришел с фотоаппаратом на могилу Владислава Ходасевича и сделал ставший позже всемирно известным снимок. На фотографии – заброшенная могила без ограды, с давно упавшим к изножью крестом, а кругом – груды палой листвы, огромные груды.

«Таким одиночеством веет оттуда...» – эти слова Ивана Елагина, сказанные в стихотворении на смерть друга, художника и поэта Сергея Бонгарта, впору поставить подписью к фотографии Хинрихса. Казалось, ничто уже не спасет от запустения и забвения и русские могилы, разбросанные по всему миру, и то, что русскими людьми создано в рассеянии. И дело даже не в том, что могила Ходасевича была в самое короткое время приведена в полный порядок; просто здесь, как чуть ли не во всех случаях жизни, следовало вовремя вспомнить слова Екклесиаста о том, что «время плакать, и время смеяться»: Юрий Мандельштам именно плакал, опуская гроб Ходасевича в вырытую могилу. Могилкой самого Юрия Мандельштама стало чадное небо над трубой крематория в немецком концлагере, ее не «приведешь в порядок». Важно то, что сейчас наследие и Ходасевича, и Юрия Мандельштама читателям уже возвращено. Не знаю, повод ли это смеяться, но повод порадоваться – наверняка. И снова взяться за работу. Ибо молчаливые могилы властно требуют к себе внимания. На русском кладбище в Сантьяго-де-Чили лежит Марианна Колосова, в Касабланке, в Марокко, похоронен Владимир Гальской, в Рио-де-Жанейро – Валерий Перелешин, в Дармштадте – Юрий Трубецкой-Нольден, в Санта-Монике – Сергей Бонгарт, и многие другие во многих других городах, иные же и вовсе нигде, но всех их нужно собрать и отдать читателю, ибо кончилось время разбрасывать камни, настало время их собирать.

«Мы жили тогда на планете другой...» – не зря эта строка Георгия Иванова, ставшая не без помощи Вертинского всемирно известной, взята в качестве заголовка нашей антологии. «Мы» здесь означает и тех, кто провел семьдесят лет в рассеянии, и нас, тех, кто как-то выжил в России. Время неумолимо перевернуло страницу – ветер уже не может вернуться на ту планету, на которой мы прежде жили, хотя и неизбежно возвращается на круги своя.

Зато может вернуться на другую планету – на ту, на которой мы живем теперь. Унесенные ветром времени и бедствий русские поэты-эмигранты отдадут нам свое заветное наследство.

Ветер все же возвращается – пусть даже вечер сегодня и другой. Вечер двадцатого столетия, его конец.

Хотя нынче мы и живем уже на совсем другой планете.

1991, 1994

Над розовым морем вставала луна,
Во льду зеленела бутылка вина,
И томно кружились влюбленные пары
Под жалобный рокот гавайской гитары.
– Послушай. О, как это было давно,
Такое же море и то же вино.
Мне кажется, будто и музыка та же...
Послушай, послушай, – мне кажется даже...
– Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой.
Мы жили тогда на планете другой,
И слишком устали, и слишком мы стары
Для этого вальса и этой гитары.
Георгий Иванов
Дмитрий Мережковский

Пятая

Бедность, чужбина, немощь и Старость,
Четверо, четверо, все вы со мной,
Все возвещаете вечную радость –
Горю земному предел неземной.
Темные сестры, древние девы,
Строгие судьи во зле и в добре,
Сходитесь ночью, шепчетесь все вы,
Сестры, о пятой, о старшей Сестре.
Шепот ваш тише, все тише, любовней:
Ближе, все ближе звездная твердь.
Скоро скажу я с улыбкой сыновней:
Здравствуй, родимая Смерть!
«Склоняется солнце, кончается путь...»

Склоняется солнце, кончается путь,
Ночлег недалеко – пора отдохнуть.
Хвала Тебе, Господи! Все, что Ты дал,
Я принял смиренно, – любил и страдал.
Страдать и любить я готов до конца,
И знать, что за подвиг не будет венца.
Но жизнь непонятна, а смерть так проста,
Закройтесь же, очи, сомкнитесь, уста!
Не слаще ли сладкой надежды земной –
Прости меня, Господи! – вечный покой?
«Иногда бывает так скучно...»

Иногда бывает так скучно,
Что лучше бы на свет не смотреть.
Как в подземном склепе, душно,
И мысль одна: умереть!
Может быть, России не будет,
Кто это понял до дна?
Разве душа забудет,
Разве забыть должна?
И вдруг все меняется чудно,
Сердце решает: «Пусть!»
И легко все, что было так трудно,
И светла, как молитва, грусть.
Одуванчики

«Блаженны нищие духом...»

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Небо нагорное сине;
Верески смольным духом
Дышат в блаженной пустыне;
Белые овцы кротки,
Белые лилии свежи;
Генисаретские лодки
Тянут по заводи мрежи.
Слушает мытарь, блудница,
Сонм рыбаков Галилейских;
Смуглы разбойничьи лица
У пастухов Идумейских.
Победоносны и грубы
Слышатся с дальней дороги
Римские, медные трубы...
А Раввуни босоногий
Все повторяет: «Блаженны...»
С ветром слова улетают.
Бедные люди смиренны, –
Что это значит, не знают...
Кто это, сердце не спросит.
Ветер с холмов Галилеи
Пух одуванчиков носит.
«Блаженны нищие духом...»
Кто это, люди не знают.
Но одуванчики пухом
Ноги Ему осыпают.
Сонное

Что это – утро, вечер?
Где это было, не знаю.
Слишком ласковый ветер,
Слишком подобное раю,
Все неземное-земное.
Только бывает во сне
Милое небо такое, –
Синее в звездном огне.
Тишь, глушь, бездорожье,
В алых маках межи.
Русское, русское – Божье
Поле зреющей ржи.
Господи, что это значит?
Жду, смотрю, не дыша...
И от радости плачет,
Богу поет душа.
«Доброе, злое, ничтожное, славное...»

Доброе, злое, ничтожное, славное, –
Может быть, это все пустяки,
А самое главное, самое главное,
То, что страшней даже смертной тоски, –
Грубость духа, грубость материи,
Грубость жизни, любви – всего;
Грубость зверихи родной, Эсэсэрии, –
Грубость, дикость – и в них торжество.
Может быть, все разрешится, развяжется?
Господи, воли не знаю Твоей.
Где же судить мне? А все-таки кажется,
Можно бы мир создать понежней.
Вячеслав Иванов

Римские сонеты

I. «Вновь, арок древних верный пилигрим...»

Вновь, арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним «Ave Roma»
Приветствую, как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим.
Мы Трою предков пламени дарим;
Дробятся оси колесниц меж грома
И фурий мирового ипподрома:

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fiло

Ты, царь путей, глядишь, как мы горим.
И ты пылал и восставал из пепла,
И памятливая голубизна
Твоих небес глубоких не ослепла.
И помнит в ласке золотого сна
Твой вратарь кипарис[1], как Троя крепла,
Когда лежала Троя сожжена.
II. «держа коней строптивых под уздцы...»

Держа коней строптивых под уздцы,
Могучи пылом солнечной отваги
И наготово олимпийской наги,
Вперед ступили братья-близнецы.
Соратники Квиритов и гонцы
С полей победы, у Ютурнской влаги,
Неузнаны, явились (помнят саги)
На стогнах Рима боги-пришлецы.
И в нем остались до скончины мира,
И юношей огромных два кумира
Не сдвинулись тысячелетья с мест.
И там стоят, где стали изначала –
Шести холмам, синеющим окрест,
Светить звездой с вершины Квиринала.
III. «Пел Пиндар, лебедь: "Нет под солнцем блага..."»

Пел Пиндар, лебедь: «Нет под солнцем блага
Воды милей». Бежит по жилам Рима,
Склоненьем акведуков с гор гонима,
Издравле родников счастливых влага.
То плещет звонко в кладязь саркофага;
То бьет в лазурь столбом и вдаль, дробима,
Прохладу зыблет; то, неукротима,
Потоки рушит с мраморного прага.
Ее журчаньем узкий переулок
Волшебно оживлен; и хороводы
Окрест ее ведут морские боги:
Резец собрал их, Сонные чертоги
Пустынно внемлют, как играют воды,
И сладостно во мгле их голос гулок.
IV. «Окаменев под чарами журчанья...»

Окаменев под чарами журчанья
Бегущих струй за полные края,
Лежит полузатоплена ладья;
К ней девушек с цветами шлет Кампанья.
И лестница, переступая зданья,
Широкий путь узорами двоя,
Несет в лазурь двух башен острия
И обелиск над площадью ди-Спанья.
Люблю домов оранжевый загар
И людные меж старых стен теснины
И шорох пальм на ней в полдневный жар;
А ночью темной вздохи каватины
И под аккорды бархатных гитар
Бродячей стрекотанье мандолины.
V. «Двустворку на хвостах клубок дельфиний...»

Двустворку на хвостах клубок дельфиний
Разверстой вынес; в ней растет Тритон,
Трубит в улитку; но не зычный тон,
Струя лучом, пронзает воздух синий.
Средь зноя плит, зовущих облак пиний,
Как зелен мха на демоне хитон!
С природой схож резца старинный сон
Стихийною причудливостью линий.
Бернини, – снова наш, – твоей игрой
Я веселюсь, от Четырех фонтанов
Бредя на Пинчю памятной горой,
Где в келью Гоголя входил Иванов,
Где Пиранези[2] огненной иглой
Пел Рима грусть и зодчество Титанов.

VI. «Через плечо слагая черепах...»

Через плечо слагая черепах,
Горбатых пленниц, на медь плоской вазы,
Где брызжут на воле водолазы,
Забыв, неповоротливые, страх, –
Танцуют отроки на головах
Курносых чудищ. Дивны их проказы:
Под их пятой уроды пучеглазы
Из круглой пасти прыщут водный прах.
Их четверо резвятся на дельфинах.
На бронзовых то голенях, то спинах
Лоснится дня зелено-зыбкий смех.
И в этой неге лени и приволий
Твоих ловлю я праздничных утех,
Твоих, Лоренцо, эхо меланхолий.
VII. «Спит водоем осенний, окроплен...»

Спит водоем осенний, окроплен
Багрянцем нищим царственных отрепий.
Средь мхов и скал, муж со змеей, Асклепий,
Под аркою глядит на красный клен.
И синий свод, как бронзой, окаймлен
Убранством сумрачных великолепий
Листвы, на коей не коснели цепи
Мертвящих стуж, ни снежных блеск пелен.
Взирают так, с улыбкою печальной,
Блаженные на нас, как на платан
Увядший солнце. Плещет звон хрустальный:
Струя к лучу стремится зыбучий стан.
И в глади опрокинуты зеркальной
Асклепий, клен, и небо, и фонтан.
VIII. «Весть мощных вод и в веяньи прохлады...»

Весть мощных вод и в веяньи прохлады
Послышится, и в их растущем реве.
Иди на гул: раздвинутся громады,
Сверкнет царица водометов, Треви.
Сребром с палат посыплются каскады;
Морские кони прянут в светлом гневе;
Из скал богини выйдут, гостье рады,
И сам Нептун навстречу Влаге-деве.
О, сколько раз, беглец невольный Рима,
С молитвой о возврате в час потребный
Я за плечо бросал в тебя монеты!
Свершались договорные обеты:
Счастливого, как днесь, фонтан волшебный,
Ты возвращал святыням пилигрима.
IX. «Пью медленно медвяный солнца свет...»

Пью медленно медвяный солнца свет,
Густеющий, как долу звон прощальный;
И светел дух печалью беспечальной,
Весь полнота, какой названья нет.
Не медом ли воскресших полных лет
Он напоен, сей кубок дня венчальный?
Не вечность ли свой перстень обручальный
Простерла дню за гранью зримых мет?
Зеркальному подобна морю слава
Огнистого небесного расплава,
Где тает диск и тонет исполин.
Ослепшими перстами луч ощупал
Верх пинии, и глаз потух. Один,
На золоте круглится синий купол.
Осень 1924

Пчела

Свиданья юного ужель опять тревога
И трепет огненный?.. Чу, милые шаги!
Дарохранительница Бога,

О Ночь–молчальница, у нашего порога
Святую тайну стереги!
А спросит демон–соглядатай:
«Чей в доме дивный свет зажегся и потух?» –
Устами звездными скажи: «Летает Дух
В лугах моих пчелой крылатой.
И все мои цветы – мириады звезд – горят
желаньем жертвенным убийственного жала
И с медом свет Ему дарят;
И, погасая в Нем, что знали изначала,
Последней вспышкой говорят».
1926

Кот–ворожей

Два суженных зрачка, – два темных обелиска,
Рассекших золото пылающего диска, –
В меня вперив, мой кот, как на заре Мемнон,
Из недр рокошующих изводит сладкий стон.
И сон, что семени в нем память сохранила,
Мне снится: – отмели медлительного Нила
И в солнечном костре слепых от блеска дней
Священная чреда идущих в шаг теней
С повернутым ко мне и станом, и оплечьем, –
И с профилем зверей на теле человечьем.
Подобья ястребов, шакалов, львиц, коров,
Какими в дол глядит полдневный мрак богов...
Очнись! Не Нил плескал, не сонный кот мурлыкал:
Размерно бормоча, ты чары сам накликал.
Ни пальм ленивых нет, ни друга мирных нег, –
А печи жаркий глаз, да за окошком снег.
1927

Собаки

Visaeque canes ululare per umbram.
Vergil., Aen. vi. 257[3]
Ни вор во двор не лезет, ни гостя у ворот:
Все спит, один играет огнями небосвод.
А пес рычит и воет, и будит зимний сон;
Тоскливые загадки загадывает он.
Быть может, в недрах Ночи он видит прежде нас,
Что, став недвижно, очи в последний узрят час?
Иль, слыша вой зазывный родных подземных свор,
С их станом заунывный заводит разговор?
Резва в полях пустынных, где путь лежит теней,
Их бешеная стая: «Летать бы, лая, с ней...»
Иль есть меж полчищ Ада и ратей Дня вражда,
И псу, как волчье стадо, его родня чужда?
И за кого б на травле вступился страж людской?
За странницу ли Душу, зовущую покой?
Иль гнал бы, ловчий сильный, ее чрез топь и гать?
И пастию могильной рвался бы растерзать?..
Блажен, кто с провожатым сойдет в кромешный мрак:
Махнув жезлом крылатым, вождь укротит собак.
И скоро степью бледной на дальний огонек
Придет он в скит к обедне и станет в уголок.
И взора не подымет на лица вокруг себя:
Узнает сердце милых, и тая, и любя.
А вот и Сам выходит, пресветлый, на амвон,
И Хлеб им предлагает, и Чашу держит Он.
И те за Хлебом Жизни идут чредой одной;
И те, кто Чаши жаждут, другою стороной..
Молчанье света! Сладость! Не Гость ли у ворот?..
Немеет ночь. Играет огнями небосвод.
1927

Язык

Родная речь певцу земли родная:
В ней предков неразменный клад лежит,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

И нашептом дубровным ворожит
Внушенных небом песен мать земная.
Как было древле, – глубь заповедная
Зачатий ждет, и дух над ней кружит...
И сила недр, полна, в лозе бежит,
Словесных гроздий сладость наливная.
Прославленная, светится, звеня
С отгулом сфер, звучащих издавеча,
Стихия светом умного огня.
И вещей гимн, их свадебная встреча;
Как уголь, в алмаз замкнувший солнце дня, –
Творенья духоносного предтеча.
1927

Земля

Илье Голенищеву–Кутузову
Повсюду гость, и чуженин,
И с Музой века безземелен,
Скворешниц вольных гражданин,
Беспочвенно я запределен.
И по-иному луг мне зелен,
Журчит иначе студенец
Под сенницей лесных молелен,
Чем жнице ль, пастушку ль овец, –
Микулам, сельским уроженцам,
Поднявшим ралами поля...
Но и скитальцам, отщепенцам
Ты мать родимая, Земля.
И в одиночестве, в пустыне,
В смарагдовой твоей раине,
Едва склонюсь к тебе, дремля, –
Ты шепчешь, сонный мох стеля,
О колыбели, о святыне.
1928

«Тебе завет, потомок мой...»

Тебе завет, потомок мой,
Земли грядущий поселенец!
От зверя–предка путь прямой
К звериности глухонемой.
От зверя кто спасет? Младенец.
Его лишь ты в себе спаси:
Еще невинный, он играет
С лучом и к Богу в небеси,
Смеясь, ручонки простирает.
5 января 1944

«В стенах, ограде римской славы...»

В стенах, ограде римской славы,
На Авентине, мой приход –
Базилика шумна Саввы,
Что Освященным Русь зовет.
Пришел с пустынных плоскогорий
Сонм Саваитов, Сириян,
С причастной чашей для мирян;
Им церковь дал святой Григорий.
Сень подпирают кораблей
Из капищ взятые колонны;
Узорочьем цветных камней
По мрамору пестрят амвоны;
В апсиде – агнцы... Мил убор
Твоих, о Рим, святилищ дряхлых!
Как бы меж кипарисов чахлых
Он чрез века уводит взор
Тропой прямой, тропюю тесной,
Пройденной родом христиан, –
И всё в дали тропы чудесной
Идут Петр, Яков, Иоанн.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10
8 января 1944

«У лукоморья дуб зеленый...»

«У лукоморья дуб зеленый...»
Он над пучиною соленой
Певцом посажен при луке,
Растет в молве укорененный,
Укорененный в языке.
И небылица былью станет,
Коли певец ее помянет,
Коль имя ей умел наречь.
Отступит море, – дуб не вянет,
Пока жива родная речь.
27 января 1944

Велисарий-слепец

Марку Спаини
Нищий, в даре вижу чудо,
В чуде – длани Божьей дар.
На серебряное блюдо
Падает хрустальный шар.
Медь деньги по меди брякнет
(Старику до похорон
Благостыня не иссякнет) –
Сферы слышу тонкий звон.
Видит ангелов и землю
Взор угасший в хрустале...
Так бесславие приемлю,
Велисарий[4], на земле.
Верх и низ в тебе, как спицы
В колесе, Небесный мяч,
С той поры как на зеницы
Мне покой пролил палач.
17 февраля 1944

«Хирурги белые, склонясь к долине слез...»

Хирурги белые, склонясь к долине слез,
О неба действенные силы,
Вы плоть нам режете, бесчувствия наркоз
Вливая в трепетные жилы.
И, гнойник хульных язв, растленный человек,
Пособник Дьявола злорадный,
Исток отравленный несущих скверну рек,
Не брошен вами Смерти жадной.
Целите вы, что тварь Творцу дает целить,
И мнится вам, что не достанет
Христовой Крови всей – смоль мира убелить,
Но капать Кровь не перестанет.
22 февраля 1944

Два ворона

Со двух дубов соседних
Спор о судьбах последних
Два ворона вели.
С потопа числят годы;
Пред ними сходят роды
В покоища Земли.
Пророчил черный вод возврат,
А белый граял: «Арарат».
Хвалились: – «Белизною
Я полюбился Ною;
Он отпер мне ковчег.
В волнах не сыщешь зерен;
От мертвой снеди черен
Стал этих перьев снег».
– «Я в радуге небесных врат
Стал, черный, бел, как Арарат».

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

Со двух дубов соседних
О временах последних
Два врана спор вели,
Два вещей сторожила,
Два пламени светила
Над забытьем Земли.
Пророчил черный вод возврат,
А белый славил Арарат.
24 февраля 1944

«Себя надменно не кори...»

Себя надменно не кори,
Что большего не совершил;
О том, что мог, не говори,
Коль не нашлось на дело сил.
Кто стан свой знает, сердцем прост?
Не тот же ль твой, как ни тянись,
Останется природный рост?
За тенью славы не гонись.
Тень за тобой, не ты за ней;
Порой короче тень, чем ты,
Порой протянется длинней –
Чтоб исказить твои черты.
Будь слуха страж: твоя струна
(Звал душу лирою Платон),
Всегда ль равно напряжена,
И верен ли звучанья тон?
Искусство ангельской руки
В целительном наитьи сна
Так нагнетет твои колки,
Чтобы не лопнула струна.
16 марта 1944

«Зверь щетинится с испугу...»

Зверь щетинится с испугу;
В холе, неге шерсть гладка.
Входит злобы ветр в лачугу,
И постель забот жестка.
Страх и скорбь, нужда, разруха,
Опыт бегства и конца
Все ж участливей сердца
Делают, и чутким ухо.
Темен дух. Быть может, в нас
Только трубы роковые
Родники любви, впервые,
Разомкнут – в последний час.
22 апреля 1944

«Различны прежде были меры...»

Различны прежде были меры
Владыки, воина, жреца,
Пирата, мастера, гетеры,
И земледельца, и купца.
Теперь один запас понятий,
Один разменочный язык
Равняют всех в гражданстве братий;
Обличья заменил ярлык.
Бьют тем же шаром те же кегли
Бунтарь, епископ и король,
Клейма фабричного избегли
Вы, чья не обуяла соль!
Мир плоско выравнен, а духа
Единомысленного нет;
Летит Эриния – Разруха –
За колесницею побед.
24 апреля 1944

«Зачем, о дали, голубея...»

Зачем, о дали, голубея,
Вы мне сулите чудеса, –
Что там, за краем, нежно млея,
Дол претворился в небеса?
Куда бы дух ни узывало
Желанье инобытия,
В лазоревое покрывало
Облачена любовь моя.
Земля все ту же власяницу
Влачит, и моря гул уныл –
Везде, какую б ты границу
Ни перешел, ни переплыл.
А вы, на грани голубея,
Сулите, дали, впереди
Успокоенье Элизея
И небо на земной груди.
13 мая 1944

«Европа – утра хмурый холод...»

Европа – утра хмурый холод
И хмурь содвинутых бровей,
И в серой мгле Циклопов молот,
И тень готических церквей.
Россия – рельсовый широкий
По снегу путь, мешки, узлы;
На странничьей тропе далекой
Вериги или кандалы.
Земля – седые океаны
И горных белизна костей,
И – как расползшиеся раны
По телу – города людей.
23 мая 1944

«Вечный город! Снова танки...»

Вечный город! Снова танки,
Хоть и дружеские ныне,
У дверей твоей святыни,
И на стогнах древних янки
Пьянствуют, и полнит рынки
Клёкт гортанный мусульмана,
И шотландские волынки
Под столпом дудят Траяна.
Волей неба сокровенной
Так, на клич мирской тревоги,
Все ведут в тебя дороги,
Средоточие вселенной!
28 июня 1944

«Едва медовый справлен Спас...»

Едва медовый справлен Спас,
Светает Спас преображенный.
Спас третий – с вечери успенской.
Иванов день: всему свой час.
Крест, свет нагорный, Лика чудо,
С главой усекновенной блюдо:
Страстных святынь иконостас.
Мед с краю, горечь в сердце кубка.
Путь к обновленью естества
Доколе будет – с оцтом губка,
Усекновенная глава?
В юдоли слез трех райских кущей,
Как Петр восторженный, ищу.
Покинутый, к Мимойдущей
Тянусь и – сирота – ропщу,
Что лишь в нетварном убеленье
Земля завидит свой фавор,
Над полым гробом уж Успенье

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

Величит ангельский собор.
Преображенью праздник смежный,
Ты, риза белая души,
Ты, в зное вихрь Марии Снежной,
Пожар чистилища туши
И, след стопы лелея нежной,
Остылый пепл запороши.
5 августа 1944

«Лесов мутнеющий свинец...»

Лесов мутнеющий свинец
Застлали под вечер метели.
Бежит на запад гурт овец,
Роняя серые кудели.
В лохмотьях огненный пастух
Окрай земли костер разводит.
Ушел за край. Костер потух.
В потемках вьюга колобродит.
О, снежных вьюг в ночи завой!
О, север негостеприимный!
Не сговор ли тоски взаимной
Мне в снах являет образ твой?
9 ноября 1944

Гармония сфер

Юрию Николаевичу Шлейферу-Ратькову
Сползая, медленно ль истают
Иль мир оденут ледники,
О том Природу не пытаются
Платоновы ученики.
Умрем, – как от земли далеким
Себя почувствуем, когда
Взойдет над глетчером глубоким
Меня позвавшая звезда.
Гул сфер наполнит слух бесплотный..
Из гармонических пучин
Расслышу ль гор язык немотный –
Глухие грохоты лавин?
1949

Константин Бальмонт

В синем храме

И снова осень с чарой листьев ржавых,
Румяных, алых, желтых, золотых,
Немая синь озер, их вод густых,
Проворный свист и взлет синиц в дубравах.
Верблюжьи груды облак величавых,
Увядающая лазурь небес литых,
Весь кругом, размерность черт крутых,
Взнесенный свод, ногами в звездных славах.
Кто грезой изумрудно-голубой
Упился в летний час, тоскует ночью.
Все прошлое встает пред ним воочью.
В потоке Млечном тихий бьет прибой.
И стыну я, припавши к средоточью,
Чрез мглу разлук, любимая, с тобой.
1 октября 1920

Париж

Только

Ни радости цветистого Каира,
Где по ночам напевен муэzzин,
Ни Ява, где живет среди руин,
В Боро-Будур[5], Светильник Белый мира,
Ни Бенарес, где грозowego пира

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fiло

Желаает Индра, мча огнистый клин
Средь тучевых лазоревых долин, –
Ни все места, где пела счастью лира, –
Ни Рим, где слава дней еще жива,
Ни имена, чей самый звук – услада,
Тень Мекки, и Дамаска, и Багдада, –
Мне не поют заветные слова, –
И мне в Париже ничего не надо,
Одно лишь слово нужно мне: Москва.
15 октября 1920

Просветы

Блеснув мгновенным серебром,
В реке плотица в миг опаски
Сплетет серебряные сказки.
Телега грянет за холмом,
Домчится песня, улетаая,
И в сердце радость молодая.
И грусть. И отчий манит дом.
В душе растает много снега,
Ручьем заплачет в сердце нега.
И луч пройдет душевным дном,
И будешь грезить об одном,
О несравненном, о родном.
30 декабря 1920

Крещение светом

Отвеяв луч Луны рукою чаровницы,
Перекрутив его и закрутив узлом,
Она, сдвигая мглу, пошла лесным холмом,
И по пути ее, проснувшись, пели птицы.
Закрученный узор горел, как свет денницы.
Она спустилась вниз и, постучав в мой дом,
Сказала мне: «Проснись. На таинство идем».
Я в чашу к ней пришел к воде лесной криницы.
Полночного цветка душистую струю
Она дала дохнуть. Я звук услышал струнный.
Дала мне миг побыть в тиаре этой лунной.
Я в зеркале воды увидел жизнь мою.
Из недр, как говор сил, извергся гул бурунный.
И Солнце выплыло. А я с тех пор – пою.
1923

Капля

В глухой колодец, давно забытый, давно без жизни
и без воды,
Упала капля, не дождевая, упала капля ночной звезды.
Она летела стезей падучей и догорела почти дотла,
И только искра, и только капля, одна сияла, еще светла.
Она упала не в многоводье, не в полногласье воды речной,
Не в степь, где воля, не в зелень рощи, не в чашу веток
стены лесной.
Спадая с неба, она упала не в пропасть моря, не в водопад,
И не на поле, не в ровность луга, и не в богатый цветами сад.
В колодец мертвый, давно забытый, где тосковало без влаги
дно,
Она упала снежинкой светлой, от выси неба к земле звено.
Когда усталый придешь случайно к тому колодцу
в полночный час,
Воды там много, в колодце влага, и в сердце песня,
в душе рассказ.
Но чуть на грани земли и неба зеленоватый мелькнет рассвет,
Колодец меркнет, и лишь по краю – росистой влаги
белеет след.
1923

Верблюды

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Прошли караваном верблюды, качая своими тюками.
Нога на широком копыте в суставе сгибалась слегка.
Изящна походка верблюда. Красивы верблюды с горбами.
И смотрят глаза их далеко. Глядят на людей свысока.
Когда же достигнут до цели, мгновенно сгибают колени.
Как будто свершают молитву с сыновьим почтеньем к земле.
Недвижны в песках изваянья. На золоте красные тени.
Вот выбрызнут звезды по небу, ожившие угли в золе.
1923

Обруч

Опрокинутый в глубокую воронку Преисподней,
Устремляя вверх из бездны напряженное лицо,
Знаю, мучимый всечасно, что вольней и благородней
Быть не в счастье, а в несчастье, но хранить свое кольцо.
То, единое, златое, ободочек обручальный,
Знак обета нерушимый, связь души моей с мечтой,
Обещание немое, что не вечность – мгле печальной,
Я вокруг пальца обращаю путь до Неба золотой.
Я тихонько повторяю имя нежное Единой,
Той, с кем слит я до рожденья, изменить кому нельзя,
И прикованный к терзаньям, и застигнутый лавиной,
Видя тонкий светлый обруч, знаю, к выси есть стезя.
Так. Не Адам я захвачен, не отчаяньем палимый.
Капли с неба упадают в глубь Чистилища до дна.
И, пройдя круги мучений, минув пламени и дымы,
Я приду на праздник Солнца, просветленный, как весна. [6]
1923

Ресницы

На глаза, утомленные зреньем, опусти затененьем ресницы.
Разве день пред дремотой не стелет над землю по небу
зарю?
Разве год пред зимой не бросает по деревьям
пролет огневицы?
Разве долго не кличут к раздумью – журавлей, в высоте,
вереницы?
Разве совесть в свой час не приникнет с восковой свечой
к алтарю?
Мы прошли тиховейные рощи. Мы прочли золотые
страницы.
Мы рассыпали нитку жемчужин. Мы сорвали цветок
медуницы.
Усмирись, беспокойное сердце. Я костром до утра догорю.
1923

Вестник

Один осенний первый желтый лист
Овалом малым своего объема
Пропел глазам, что кончен праздник грома,
Что Молнецвет уж больше не огнист.
Отцвел цветок небесный. Воздух чист.
И ласточки, садясь на кровлю дома,
Поют, что им и Африка знакома,
И Океан, и в крыльях бури – свист.
Конец всему, что кратко в жизни вольной,
Что любит, что целуется, поет,
А длинному как мгла ночей – черед.
Опустошенный мир – тоске раздольной.
Вожак-журавль, свой клюв стремя вперед,
Повел сквозь синь свой табор треугольный.
1923

Под солнцем

Под Солнцем пламенным, над влагой темно-синей,
Небесным золотом согрет и озарен,
Я слышу Океан как сонмы веретен,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Я вижу пряжу волн с игрой внезапных линий.
Тоска изгнания, весь крестный путь пустыней,
Вдруг превращается в цветущий гудом лен,
Мгновенный снег валов – как белизна знамен,
Мечта – лампада мне непозабываемых скиний.
Морские пропасти глубинней всех земных.
Непобедимый смерч – вся ярость духа злого.
Здесь Хаос в реве мнит, что он всему основа.
Но миг спокойствия, благоговейно-тих,
Мне четко говорит: «В начале было Слово».
Земля есть Солнечный, пропетый Морем стих.
1923

Здесь и там

Здесь гулкой Париж и повторны погудки,
Хотя и на новый, но ведомый лад.
А там на черте бочагов – незабудки,
И в чаще – давнишний алкаемый клад.
Здесь вихри и рокоты слова и славы,
Но душами правит летучая мышь.
Там в пряном цветенье болотные травы,
Безбрежное поле, бездонная тишь.
Здесь в близком и в точном – расчисленный разум,
Чуть глянут провалы, он шепчет: «Засыпь».
Там стебли дурмана с их ядом и сглазом,
И стонет в болотах зловещая выпь.
Здесь вежливо холодно к Бесу и к Богу,
И путь по земным направляют звездам.
Молю тебя, Вышний, построй мне дорогу,
Чтоб быть мне хоть мертвым в желаемом там.
1929

Судьба

Судьба мне даровала в детстве
Счастливых ясных десять лет
И долю в солнечном наследстве,
Внушив: «Гори!» – и свет пропет.
Судьба мне повелела, юным,
Влюбляться, мыслить и грустить.
«Звени!» – шепнула, и по струнам
Мечу я звуковую нить.
Судьба, старинной брызнув сагой,
Взманила в тающий предел,
И птицей, ветром и бродягой
Весь мир земной я облетел.
Судьба мне развернула страны,
Но в каждой слышал я: «Спеши!»
С душой миг познав медвяный,
Еще другой ищу души.
Судьба мне показала горы
И в океанах острова.
Но в зорях тают все узоры,
И только жажда зорь жива.
Судьба дала мне, в бурях страсти,
Вскричать, шепнуть, пропеть: «Люблю!»
Но я, на зыби сопричастий,
Брал ветер кормчим к кораблю.
Судьба, сквозь рад десятилетий,
Огонь струит мне злато-ал.
Но я, узнав, как мудры дети,
Ребенком быть не перестал.
Судьба дала мне ведать пытки,
На бездорожье нищету.
Но в песне – золотые слитки,
И мой подсолнечник – в цвету.
1929

Нашептыванья осени

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Шершавый лист шуршит и шебаршит,
Так мышь в норе шушукается с мышью.
Еще вчера, предавшись вся затишью,
Являла роща шелковистый вид.
А нынче хлещет ветер сучья в сучья,
И шастают по лесу шептуны
В осине шаткой, в шорохе сосны.
В реке темно. Застыла жадность щучья.
Укол всегдашней алчности умолк.
Прильнув на дне к коряге, хищный волк
Речного стада, щука, цепенея,
Заснула. Шелестящая затея
Шипучих звуков ветра по траве
Ширяет и швыряется бурьяном.
Шишигу злого леший сгреб арканом,
И мхи шерстятся в утлой голове.
1931

Дюнные сосны

Взвихрены ветром горбатые дюны,
Бог взгромоздился на выступ откосный.
Ветер качает зеленые струны,
Ветки поющие, терпкие сосны.
Голос безгласия, Север на юге,
Ветру покорствуя, редко немые,
Те – перекручены в дикие дуги,
Те – как у нас, безупречно-прямые.
В этих лесах не курчавится щебет
Наших веселых играющих пташек.
В зарослях ветер лишь вереск теребит,
Нет здесь – знакомых нам с детства – ромашек.
Не закачается дружная стая
Солнышек желтых и луночек белых,
Пахнут лишь капли смолы, нарастая,
Ладан цветет в ветрохвойных пределах.
Ландыш не глянет. Кукушка не стонет
В час, как везде – хороводами вёсны.
Ветер песчинки метелями гонит,
Медью трезвонит сквозь дюнные сосны.
Если б – «Ау!» – перекликнуться с лешим,
С теми тенями, что век с нами юны.
Грустные странники, чем себя тешим?
Гусли нам – сосны, и ветки их – струны.
Вся моя радость – к обветренным склонам
Горько прильнуть, вспоминая и чая.
Если б проснуться в лесу мне зеленом,
Там, где кукует кукушка родная!
1931

Всходящий дым

Всходящий дым уводит душу
В огнепоклоннический храм.
И никогда я не нарушу
Благоговения к кострам.
В страстях всю жизнь мою сжигая,
Иду путем я золотым
И рад, когда, во тьме сверкая,
Огонь возносит легкий дым.
Когда, свиваясь, дым взовьется
Над крышей снежной, из трубы,
Он в синем небе разольется
Благословением судьбы.
Во всем следить нам должно знаки,
Что посылает случай нам,
Чтоб верной поступью во мраке
Идти по скользким крутизнам,
Дымок, рисуя крутояры,
То здесь, то там, слабей, сильней,
Предвозвещает нам пожары

1936

Саван тумана

Каркнули хрипло вороны,
Клич-перекличку ведут...
Нет от дождя обороны,
Дымы свой саван плетут...
Листья исполнены страха,
Плачут, что лето прошло...
Ветер примчится с размаха,
Горсть их швырнет, как назло.
Выйти мне в сад невозможно,
Мокрая всюду трава...
В сердце так дымно, тревожно,
Никнет моя голова...
Влажные плачут березы,
Ивы плакучие... Грусть...
В воздухе длинные слезы...
Будет потоп, что ли? Пусть!
Лягу в постель и укрою
Пледом себя с головой...
Если б обняться с тобою,
Друг мой – заветнейший мой!

1936

Разлучность

Я с вами разлучен, деревья,
Кругом ненужный мне Париж,
А там, где вы, вдали кочевья
Звенящих пчел, улыбка девья
И солнце – праздник каждодневья.
Зеленовейность, воля, тишь.
А там, где вы, любая мушка
Звенит создателю хвалы,
Лесная вся в цветах опушка,
И, одиноких грез подружка,
Кукует гулкая кукушка
В душистом царстве нежной мглы.
Я с вами разлучен, щеглята,
Что звонко пели мне в окно,
Вся вольность от меня отъята,
И все мое неволей взято,
Мне помнится – я жил когда-то,
Но это было так давно.
Косогор

Как пойду я на далекий косогор,
Как взгляну я на беду свою в упор,
Придорожные ракиты шелестят,
Пил я счастье, вместе с медом выпил яд.
Косогорная дорога вся видна,
Уснежилася двойная косина,
А на небе месяц ковшиком горит,
Утлый месяц сердцу лунно говорит:
«Где все стадо, опрометчивый пастух?
Ты не пил бы жарким летом летний дух,
Ты овец бы в час, как светит цветик ал,
Звездным счетом всех бы зорко сосчитал.
Ты забыл, войдя в минуты и часы,
Что конец придет для всякой полосы,
Ты вдыхал, забывши всякий смысл и срок,
Изумительный, пьянительный цветок.
Ты забыл, что для всего везде черед,
Что цветущее наверно отцветет,
И когда пожар далекий запылал,
Любовался ты, как светит цветик ал.
Не заметил ты, как стадо все ушло,
Как сгорело многолюдное село,

Как зарделись ярким пламенем леса,
Как дордела и осенняя краса.
И остался ты один с собою сам,
Зашумели волчьи свадьбы по лесам,
И теперь, всю силу месяца лия,
Я пою тебе, остря свои края».
Тут завяляли снежинки предо мной,
Мир, как саваном, был полон белизной,
Только в дальности, далеко от меня,
Близко к земи ярко тлела головня.
Это месяц ли на небе, на краю?
Это сам ли я судьбу свою пою?
Это вьюга ли, прядя себе убор,
Завела меня, крутясь, на косогор?
Григорий Блох (Тюрсев)

Два голоса

Скажи мне, вечный часовой,
Зачем, откуда ты?
– «Я искра Силы мировой,
Зарница девственно живой
Любви среди темноты».
Кругом лишь мрак, и нет любви,
И смертью живы мы!
– «В морях пролившейся крови
Мечту далекую лови,
Как свет в окне тюрьмы».
Мечта – обман, погаснет свет,
И все, что живо, прах!
– «Кто знает счет предвечных лет?
Что было, будет или нет
В кружащихся мирах?»
Миры – бесцельная игра
Слепых, ненужных сил!
– «Пройдет земных ночей пора,
Безумец тот, кто до утра
Свой факел погасил».
Скажи, куда же голос твой
Ведет из темноты?
– «Не кончен час сторожевой,
Я только вечный часовой
И смены жду, как ты».
Песочные часы

Достались мне от деда по наследью
Старинные песочные часы...
Сатурн унылый, размахнувшись медью
Наполовину сломанной косы,
Стоит над потускневшею оправой
Пред девушкой, держащею весы...
Что хочет он скосить? Какой забавой
Потешить ненасытный голод свой?
А девушка с улыбкою лукавой
Что хочет взвесить слабую рукой?
Застыли оба в вечном напряженьи,
Вперив незрячий взор перед собой,
А времени бесшумное движенье,
Пересыпая струйкою песок –
Бездушный прах минувшего мгновенья! –
Спешит распутать скомканный моток
Всей нашей жизни, странной и бесцельной,
Спешащей, как стремительный поток,
В туман морей, густой и беспредельный...
Встреча

В садах одной из городских окраин,
Где в час заката легче дышит грудь,
Мне встретился гулявший мирно Каин.
Он сел со мной немного отдохнуть
И говорил, поникнув головою:

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

«Так жить нельзя! Зовет нас новый путь,
Мы вслед пойдем за новой звездой,
Мы цепи зла, как нити, разорвем,
И, окропив весь мир водой живою,
Мы будем жить заботой лишь о нем!
Пред нами светлый океан свободы,
Любовь нам будет кормчим и рулем,
И близок час! Пусть тяжки будут роды, –
Грозой желанной сохнувшей земле
Несут расцвет бушующие воды,
Я чую день, видна заря во мгле!..»
Но я исполнен был тоски и скуки
И видел лишь помету на челе
И кровью брата облитые руки...
Счастье

Собрав обеда барского объедки,
Напялив шубу с барского плеча,
Иной готов поверить сгоряча,
Что случаи такой удачи редки!
Судьба, подол брезгливо засуча,
Швыряет часто стертые монетки,
И, лишь остыв, мы видим напоследки,
Что светит нам не солнце, а свеча...
Объедки мысли, чувства, настроенья,
Поношенных восторгов умиленья –
Не все ль равно? Ты мог или хотел
Добиться счастья лишь такого сорта, –
Благодари скорей за свой удел
Иль ангела-хранителя, иль черта!..
Даниил Ратгауз

«Пусть мгла теперь висит вокруг...»

Пусть мгла теперь висит вокруг,
Пускай вся жизнь иная ныне,
Пускай моих напевов звук –
Глас вопиющего в пустыне.
Пускай страстей безумных шквал
Грозит нам всем девятым валом, –
Я снова в руки лиру взял
В моем скитаньи запоздалом.
И будет близок голос мой,
Моя печаль, моя тревога,
Всем чутким сердцем и душой,
Не потерявшим в жизни Бога.
«Мелькает жизнь туманами, неясными и странными...»

Мелькает жизнь туманами, неясными и странными,
Жизнь тщетного искания, страдания и зла.
Был миг далекой юности, – я жил фатаморганам,
Я верил в свет ликующий, – теперь повсюду мгла.
Во что так страстно верилось, что с прошлым было связано –
Всему было приказано угаснуть, умереть...
Как много недодумано, как много недосказано,
Как много песен начатых я не успел пропеть!
«Ранним утром ты заснула...»

Ранним утром ты заснула
И тебе приснился сон:
Много шороха и гула,
Много мглы со всех сторон.
Ты вздыхаешь, слезы льются,
Орошают бледный лик...
Но я знаю, ты проснешься,
Ты воспрянешь через миг, –
Юность вешняя с тобою,
Много солнца впереди,
Много яркой, светлой веры
В молодой твоей груди.
Мне не спится. В ночь глухую

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Не сомкну усталых глаз,
Я без сна во мгле тоскую
В этот поздний, страшный час...
Явь – мне сон, моя родная!
Старость темная со мной –
Нет уж больше пробужденья
Для души моей больной.
Мгновения в вечности

Междупланетные пространства,
И сонм неисчислимых лет,
И нашей жизни миг короткий –
Мы не живем, нас в мире нет!
Напрасны слезы и тревога,
И ужас бледного лица, –
Мы только сон минутный Бога[7],
А снам Господним нет конца!
«Зима, и вьюга, и мороз...»

Зима, и вьюга, и мороз.
Я стар, и ночи все темнее...
В твоём саду так много роз,
И в серебре блестят аллеи.
Луна. И мы с тобой одни.
Твоим словам я внемлю жадно...
Летят безоблачные дни,
Сияют ночи. Нам отрадно...
И это было лишь – вчера,
Меж тем умчались в бездну лета.
Я слышу грозное: пора!
Давно забвеньем ты одета...
Куда мой рок меня занес?
Куда ведут мои аллеи?..

Зима, и вьюга, и мороз.
Я стар, а ночи все темнее.
«Сократ, Платон иль Марк Аврелий...»

Сократ, Платон иль Марк Аврелий, –
Кому нужны вы в наши дни?..
У нас теперь иные цели,
Нам далеки небес огни.
Кругом тоска, кругом тревога,
Страстей нас охватила сеть,
Мы далеки теперь от Бога
И не умеем в даль глядеть.
И тучи темные нависли,
Вся жизнь – горючих слез река...
И мы живем не силой мысли,
А только силой кулака.
Зинаида Гиппиус

Родное

Т. И. М.
Есть целомудрие страданья
И целомудрие любви.
Пускай грешны мои молчанья –
Я этот грех ношу в крови.
Не назову родное имя,
Любовь безмолвная свята.
И чем тоска неутолимей,
Тем молчаливее уста.
декабрь 1920

Париж

Ключ

Струись,
Струись,
Холодный ключ осенний.

Молись,
Молись
И веруй неизменной.
Молись,
Молись
Молитвой неугодной.
Струись,
Струись,
Осенний ключ холодный...
Сентябрь 1921

Висбаден

Мера

Всегда чего-нибудь нет, –
Чего-нибудь слишком много...
На все как бы есть ответ –
Но без последнего слога.
Свершится ли что – не так,
Некстати, непрочно, зыбко...
И каждый не верен знак,
В решенье каждом – ошибка.
Змеится луна в воде,
Но лжет, золотясь, дорога...
Ущерб, перехлест везде.
А мера – только у Бога.
Рождение

Беги, беги, пещерная вода,
Как пенье звонкая, как пламя чистая.
Гори, гори, небесная звезда,
Многоконечная, многолучистая.
Дыши, дыши, прильни к Нему нежней,
Святая, радостная ночь безлунная...
В тебе рожденного онежь, угрей,
Солома легкая, золоторунная...
Несите вести, звездные мечи,
Туда, туда, где шевелится мга,
Где кровью черной облиты снега,
Несите вести, острые лучи,
На край земли, на самый край, туда –
Что родилась Свобода трехвенечная
И что горит восходная Звезда,
Многоочитая, многоконечная...
Стихи о луне

1. Пятно

Кривое, белое пятно
Комочком смято-мутным
Висит бесцельно и давно
Над морем неуютным.
Вздымая водные пласты,
Колеблет моря сван.
А солнце смотрит с высоты,
Блистая и скучая.
Но вот, в тот миг, когда оно
Сердито в тучу село,
Мне показалось, что пятно
Чуть-чуть порозовело.
Тревожит сердце кривизна
И розовые тени,
И жду я втайне от пятна
Волшебных превращений...

2. Стена

В полусверкании зеленом,
Как в полужизни-полусне,
Иду по крутоузким склонам,
По белоблещущей стене.

И тело легкое послушно,
Хранимо пристальной луной.
И верен шаг полувоздушный
Над осиянной пустотой.
Земля, твои оковы сняты.
Твои законы сменены.
Как немо, вольно и крылато
В высоком царствии луны!
И вьется в полусмертной тени
Мой острый путь – тропа любви..
О мать земля! моих видений
Далеким зовом – не прерви!
Ужель ты хочешь, чтоб опять я
Рабом очнулся, и в провал –
В твои ревнивые объятия –
Тяжелокаменно упал?
Горное

Освещена последняя сосна.
Под нею темный кряж пушится.
Сейчас погаснет и она.
День конченный – не повторится.
День кончился. Что было в нем?
Не знаю, пролетел, как птица.
Он был обыкновенным днем,
А все-таки – не повторится.
Все равно..

...Нет! из слабости истощающей
никуда! никуда!
Сердце мое обтекающей,
Как вода! Как вода!
Ужель написано – и кем оно?
В небесах,
Чтобы въедались в душу два демона,
Надежда и Страх?
Не спасусь, я борюсь
Так давно! Так давно!
Все равно утону, уж скорей бы ко дну..
Но где дно?..
Равнодушие

...Он пришел ко мне, а кто – не знаю,
Он плащом закрыл себе лицо.
1906
Он опять пришел, глядит презрительно,
Кто – не знаю, просто он в плаще..
1918[8]
Он приходит теперь не так.
Принимает он рабий зрак.
Изгибается весь покорно
И садится тишком в углу
Вдали от меня, на полу,
Похихикивая притворно.
шепчет: «Я ведь зашел, любя,
Просто так, взглянуть на тебя,
Мешать не буду, – не смею..
Посижу в своем уголку,
Устанешь – тебя развлеку,
Я разные штучки умею.
Хочешь в ближнего поглядеть?
Это со смеху умереть!
Назови мне только любого.
Укажи скорей, хоть кого,
И сейчас же тебя в него
Превращу я, честное слово!
На миг, не навек! – Чтоб узнать,
Чтобы в шкуре его побывать..
Как минуточку в ней побудешь –
Узнаешь, где правда, где ложь,
Все до доньшка там поймешь,

А поймешь – не скоро забудешь.
Что же ты? Поболтай со мной...
Не забавно? Постой, постой,
И другие я знаю штучки...»
Так шептал, лепетал в углу,
Жалкий, маленький, на полу,
Подгибая тонкие ручки.
Разъедал его тайный страх,
Что отвечу я? Ждал и чах,
Обещаясь мне быть послушен.
От работы и в этот раз
На него я не поднял глаз,
Неответен – и равнодушен.
Уходи – оставайся со мной,
Извивайся, – но мой покой
Не тобою будет нарушен...
И растаял он на глазах,
На глазах растворился в прах
Оттого, что я – равнодушен...
Веер

Смотрю в лицо твое знакомое,
Но милых черт не узнаю.
Тебе ли отдал я кольцо мое
И вверил тайну – не мою?
Я не спрошу назад, что вверено,
Ты не владеешь им, – ни я:
Все позабытое потеряно,
Ушло навек из бытия.
Когда-то, ради нашей малости
И ради слабых наших сил,
Господь, от нежности и жалости,
Нам вечность – веером раскрыл.
Но ты спасительного дления
Из Божьих рук не приняла
И на забвенные мгновения
Живую ткань разорвала...
С тех пор бегут они и множатся,
Пустое дление дробя...
И если веер снова сложится,
В нем отыщу ли я тебя?
«Когда-то было, меня любила...»

Когда-то было, меня любила
Его Психея, его Любовь.
Но он не ведал, что Дух поведал
Ему про это – не плоть и кровь.
Своим обманом он счел Психею,
Своею правдой – лишь плоть и кровь.
Пошел за ними, а не за нею,
Надеясь с ними найти любовь.
Но потерял он свою Психею,
И то, что было, – не будет вновь,
Ушла Психея, и вместе с нею
Я потеряла его любовь.
1943

Париж

Надежда моя

Надежда моя, не плачь.
С тобой не расстанемся мы.
Сегодня меня палач
В рассвет поведет из тюрьмы.
Бессилен слепой палач.
Зарей зеленеет твердь.
Надежда моя! Не плачь.
Мы вместе сквозь смерть – за смерть.
1921

Тройное

Тройною бездонностью мир богат.
Тройная бездонность дана поэтам.
Но разве поэты не говорят
Только об этом?
Только об этом?
Тройная правда – и тройной порог.
Поэты, этому верному верьте;
Ведь только об этом думает Бог:
О Человеке.
любви.
И смерти[9].

1927

Париж

«Я был бы рад, чтоб это было...»

В. Злобину
Я был бы рад, чтоб это было,
чтоб так оно могло и быть,
но чтоб душа у вас забыла
лишь то, что надо ей забыть.
Не отдавалась бы злословью,
могли бы вы его понять
и перестали бы любовью
томленье, сон и скуку звать.
Я ж – ничего не забываю,
томленьем вашим не живу,
я даже если сплю – то знаю:
я тот же весь, как наяву.
1944

Опущение

Армяк и лапти... да, надень, надень
на душу-мысль свою, коварно сложную,
и пусть, как странница, и ночь и день,
несет сермяжную суму дорожную.
В избе из милости под лавкой спит,
пускай наплачется, пускай намается,
слезами едкими свой хлеб солит,
пусть тяжесть земная ей открывается...
тоща опять ее прими, прими
всепобедившую, смиренно-смелую..
она, крылатая, жила с людьми,
и жизнь вернула ей одежду белую.
1930

Стихотворный вечер в «Зеленой Лампе»

Перестарки и старцы и юные
впали в те же грехи:
Берберовы, Злобины, Бунины
стали читать стихи.
Умных и средних и глупых,
Ходасевичей и Оцупов
постигла та же беда.
какой мерою печаль измерить?
О, дай мне, о, дай мне верить,
что это не навсегда!
В «Зеленую Лампу» чинную
все они, как один, –
Георгий Иванов с Ириною,
Юрочка и Цетлин,
и Гиппиус, ветхая днями,
кинулись со стихами,
бедою Зеленых Ламп.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Какой мерою поэтов мерить?
О, дай мне, о, дай мне верить
Не только в хорей и ямб.
И вот оно, вот, надвигается:
Властно встает Оцуп.
Мережковский с Ладинским сливается
В единый небесный клуб,
Словно отрок древне-еврейский,
Заплакал стихом библейским
И плачет, и плачет Кнут...
Какой мерою испуг измерить?
О, дай мне, о, дай мне верить,
Что в зале не все заснут.
«Люблю огни неугасимые...»

Люблю огни неугасимые,
Люблю заветные огни.
Для взора чуждого незримые,
Для нас божественны они.
Пускай печали неутешные,
Пусть мы лишь знаем, – я и ты, –
Что расцветут для нас нездешние,
любви бессмертные цветы.
И то, что здесь улыбкой встречено,
как будто было не дано,
Глубоко там уже отмечено
И в тайный круг заключено.
Иван Бунин

Сириус

Где ты, звезда моя заветная,
Венец небесной красоты?
Очарованье безответное
Снегов и лунной высоты?
Где молодость простая, чистая,
В кругу любимом и родном,
И старый дом, и ель смолистая
В сугробах белых под окном?
Пылай, играй стоцветной силою,
Неугасимая звезда,
Над дальнею моею могилою,
Забывтой Богом навсегда!
1922

Венеция

Колоколов средневековый
Певучий зов, печаль времен,
И счастье жизни вечно новой,
И о былом счастливый сон.
И чья-то кротость, всепрощенье
И утешенье: все пройдет!
И золотые отраженья
Дворцов в лазурном глянце вод.
И дымка млечного опала,
И солнце, смешанное с ним,
И встречный взор, и опахало,
И ожерелье из коралла
Под катафалком водяным.
1922

«В гелиотроповом свете молний летучих...»

В гелиотроповом свете молний летучих
В небесах раскрывались дымные тучи,
На косогоре далеком – призрак дубравы,
В мокром лугу перед домом – белые травы.
Молнии мраком топило, с грохотом грома
Ливень свергался на крышу полночного дома –
И металлически страшно, в дикой печали,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10
Гуси из мрака кричали.
1922

Петух на церковном кресте

Плывет, течет, бежит ладьей,
И как высоко над землей!
Назад идет весь небосвод,
А он вперед – и все поет.
Поет о том, что мы живем,
Что мы умрем, что день за днем
Идут года, текут века –
Вот как река, как облака.
Поет о том, что все обман,
Что лишь на миг судьбою дан
И отчий дом, и милый друг,
И круг детей, и внуков круг.
Что вечен только мертвых сон,
Да Божий храм, да крест, да он.
1922

Амбуаз

Встреча

Ты на плече, рукою обнаженной,
От зноя темной и худой,
Несешь кувшин из глины обожженной,
Наполненный тяжелою водой.
С нагих холмов, где стелются сухие
Седые злаки и полынь,
Глядишь в простор пустынной Кумании,
В морскую вечернюю синь.
Все та же ты, как в сказочные годы!
Все те же губы, тот же взгляд,
Исполненный и рабства и свободы,
Умерший на земле уже стократ.
Все тот же зной и дикий запах лука
В телесном запахе твоём,
И та же мучит сладостная мука, –
Бесплодное томление о нём.
Через века найду в пустой могиле
Твой крест серебряный, и вновь,
Вновь оживет мечта о древней были,
Моя неутоленная любовь,
И будет вновь в морской вечерней сини,
В ее задумчивой дали,
Все тот же зов, печаль времен, пустыни
И красота полуденной земли.
1922

«Душа навеки лишена...»

Душа навеки лишена
Былых надежд, любви и веры.
Потери нам даны без меры,
Презренье к ближнему – без дна.
Для ненависти, отвращения
К тому, кто этим ближним был,
Теперь нет даже выраженья:
Нас Бог и этого лишил.
И что мне будущее благо
России, Франции! Пускай
Любая буйная ватага
Трамвай захватывает в рай.
25 августа 1922

«Одно лишь небо, светлое, ночное...»

Одно лишь небо, светлое, ночное,
Да ясный круг луны

Глядит всю ночь в отверстие пустое,
В руину сей стены.
А по ночам тут жутко и тревожно,
Ночные корабли
Свой держат путь с молитвой осторожной
Далеко от земли.
Свежо тут дует ветер из простора
Сарматских диких мест,
И буйный шум, подобный шуму бора,
Всю ночь стоит окрест:
То Понт кипит, в песках могилы роет,
Ярится при луне –
И волосы утопленников моет,
Влача их по волне.
1923

День памяти Петра

«Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...»
О, если б узы гробовые
Хоть на единый миг земной
Поэт и Царь расторгли ныне!
Где Град Петра? И чьей рукой
Его краса, его твердыни
И алтари разорены?
Хлябь, хаос, – царство Сатаны,
Губящего слепой стихией.
И вот дохнул он над Россией,
Восстал на Божий строй и лад –
И скрыл пучиной окаянной
Великий и священный Град,
Петром и Пушкиным созданный.
И все ж придет, придет пора
И воскресенья и деянья,
Прозрения и покаянья,
Россия! Помни же Петра.
Петр значит Камень. Сын Господний
На Камени созиждет храм
И скажет: «Лишь Петру я дам
Владычество над преисподней...»
1925

«Только камни, пески, да нагие холмы...»

Только камни, пески, да нагие холмы,
Да сквозь тучи летящая в небе луна, –
Для кого эта ночь? Только ветер, да мы,
Да крутая и злая морская волна.
Но и ветер – зачем он так мечет ее?
И она – отчего столько ярости в ней?
Ты покрепче прижмись ко мне, сердце мое!
Ты мне собственной жизни милей и родней.
Я и нашей любви никогда не пойму:
Для чего и куда увела она прочь
Нас с тобой ото всех в эту буйную ночь?
Но Господь так велел – и я верю ему.
<1926>

Ne l mezzo del cammin di nostra vita

[10]

Дни близ Неаполя в апреле,
Когда так холоден и сыр,
Так сладок сердцу Божий мир..
Сады в долинах розовели,
В них голубой стоял туман,
Селенья черные молчали,
Ракиты серые торчали,
Вдыхая в полусне дурман

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Земли разрытой и навоза...
Таилась хмурая угроза
В дымящемся густом руне,
Каким в горах спускались тучи
На их синеющие кручи...
Дни, вечно памятные мне!
1947

Венки

Был праздник в честь мою, и был увенчан я
Венком лавровым, изумрудным:
Он мне студил чело, холодный, как змея,
В чертоге пирном, знойном, людном.
Жду нового венка – и помню, что сплетен
Из мирта темного он будет:
В чертоге гробовом, где вечный мрак и сон,
Он навсегда чело мое остудит.
1950(?)

Ночь

Ледяная ночь, мистраль
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только Он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю..
Холод, блеск, мистраль.
1952

Тэффи

Перед картой России

В чужой стране, в чужом старом доме
На стене повешен ее портрет,
Ее, умершей, как нищенка, на соломе,
В муках, которым имени нет.
Но здесь на портрете она вся, как прежде,
Она богата, она молода,
Она в своей пышной зеленой одежде,
В какой рисовали ее всегда.
На лик твой смотрю я, как на икону..
«Да святится имя твое, убиенная Русь!»
Одежду твою рукой тихо трону
И этой рукою перекрещусь.
«Красные верблюды – зори мои, зори...»

Красные верблюды – зори мои, зори –
По небу далекой чередой идут..
Четками мелькают в вечернем моем взоре –
За красным верблюдом красный верблюд..
Ах, недолго ждать мне с тоскою покорной,
Ждать, чтобы последний зарею потух.
Палицей огромной, чрез все небо, черной
Гонит их, торопит страшный пастух.
На небо наплыли облаки-утесы..
Близок, близок отдых. Спешите скорей!
Там, в садах Аллаха надзвездные росы,
Там каждый получит по жажде своей.
«Хочу, вечерняя аллея...»

Хочу, вечерняя аллея,
В твоих объятьях холодея,
Шаги последние пройти,

Но меж ветвей твоих сплетенных,
Нездешней силою согбенных,
Нет ни возврата, ни пути.
Уже полнеба ночь объяла,
Но чрез сквозное покрывало
Твоей игольчатой хвои
Зловеще огонь заката пышет
И ветер не благостный колышет
Вершины черные твои.
Край мой

1. «Вот завела я песенку...»

Вот завела я песенку,
А спеть ее нет сил!
Полез горбун на лесенку
И солнце погасил!..
По темным переулочкам
Ходил вчера Христос.
Он всех о ком-то спрашивал,
Кому-то что-то нес...
В окно взглянуть не смела я:
Увидят – забранят!
Я черноносых, лапчатых
Качаю горбунят...
Цветут тюльпаны синие
В лазоревом краю..
Там кто-нибудь на дудочке
Доплачет песнь мою!

2. «На острове моих воспоминаний...»

На острове моих воспоминаний
Есть серый дом. В окне цветы герани,
Ведут три каменных ступени на крыльцо..
В тяжелой двери медное кольцо.
Над дверью барельеф – меч и головка лани,
А рядом шнур, ведущий к фонарю..
На острове моих воспоминаний
Я никогда ту дверь не отворю!
Письмо в Америку

Доплыла я до тихого берега
Через черный и злой океан,
И моя голубая Америка
Лучше ваших коммерческих стран.
Вот придут ко мне Ангелы гордые
И святых осуждающий клир
И найдут, что побила рекорды я
Всех грехов, оскверняющих мир.
Я заплачу: «Не вор я, не пьяница,
Я томиться в аду не хочу».
И мохнатая лапа протянется
И погладит меня по плечу.
«Ты не бойся засилья бесовского, –
Тихо голос глухой прорычит, –
Я медведь Серафима Саровского,
Я навечный и верный твой щит.
С нами зайчик Франциска Ассизского
И святого Губерта олень,
И мы все, как родного и близкого,
Отстоим твою грешную тень.
Оттого что ты душу звериную
На святую взнесла высоту,
Что последнюю ножку куриную
Отдавала чужому коту,
Позовет тебя Мурка покойная,
Твой любимый оплаканный зверь,
И войдешь ты, раба недостойная,
Как царица, в предрайскую дверь».
Вот какие бывают истории.
Я теперь навсегда замолчу.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10
От друзей вот такой категории
Я вернуться назад не хочу.
«Когда я была ребенком...»

Когда я была ребенком,
Так, девочкой лет шести,
Я во сне подружилась с тигренком –
Он помог мне косичку плести.
И так заботился мило
Пушистый, тепленький зверь,
Что всю жизнь я его не забыла,
Вот – помню даже теперь.
А потом, усталой и хмурой, –
Было лет мне под пятьдесят, –
Любоваться тигриной шкурой
Я пошла в Зоологический сад.
И там огромный зверище,
Раскрыв зловонную пасть,
Так дохнул перегнившей пищей,
Что в обморок можно упасть.
Но я, в глаза ему глядя,
Сказала: «Мы те же теперь,
Я – все та же девочка Надя,
А вы – мне приснившийся зверь.
Все, что было и будет с нами,
Сновиденья, и жизнь, и смерть,
Слиты все золотыми звездами
В Божью вечность, в недвижимую твердь».
И ответил мне зверь не словами,
А ушами, глазами, хвостом:
«Это все мы узнаем сами
Вместе с вами. Скоро. Потом».
Лидия Бердяева

Спутник

Со ступени на ступень...
А за мною – тень,
Кто-то в сером капюшоне,
Серой надушенный...
Прыгнул, руку протянул,
По стене скользнул,
За перила вдруг упал,
В черной тьме пропал.
Со ступени на ступень,
Вот и у порога...
А за мною – тень,
На стене – два рога.
Встреча

Месяц рогатый
Над хатой горбатой
Обгорелой, осиротелой.
Воет у хаты
Пес бесприютный,
Осиротелый...
Слышит месяц рогатый:
«Встаньте, родные! Вставайте!
Сына, солдата, встречайте!
В жарком бою убитого,
В поле зарытого».
Видит месяц рогатый:
Семь мертвецов,
Один за другим,
Выходят из хаты
Встречать солдата.
Скрылся за гору
Месяц рогатый.
Воет, воет у хаты
Пес бесприютный,
Лохматый...

Сова

На дубе старом
Я ночую.
Не спится мне,
Беду я чую.
Не спится мне.
Я полечу.
Лечу, лечу,
А ветер воет.
Чу! Голос ведьмы..
– Ау, ау! Кума, сюда!
К тебе есть дельце.
За лесом знаешь старый дом?
Невеста ждет там жениха,
А он умрет! Ха-ха! Ха-ха!
Лечу, лечу.
Вот сад, вот дом
Старинный, над прудом.
К окну лечу, крылом стучу..
– Умрет, умрет, умрет, –
Кричу.
Лето в Париже

Шестиэтажный дом..
В раскрытых окнах
Плечи, руки, лица
Над улицей повисли.
Дом веселится.
Шарманка воет у ворот,
В четвертом стонет Тино Росси,
В третьем вальс Шопена
Кружится с джаз-бандом.
Визжит певица.
Дом веселится,
И лишь один, там, на шестом,
От чахлой музыки,
От пошлости людской изнемогает..
Вдруг... окно он распахнул.
Взмахнула крыльями душа,
А тело шлепнулось о мостовую.
Март 1938

«Холодно, голодно, скучно...»

Холодно, голодно, скучно..
Шлепает дождь однозвучно..
Съежились души,
Тела ослабели,
Тащится жизнь еле-еле..
Что мне холод и голод земной?
Радость моя – со мной.
Я на земном берегу
Радость мою берегу.
Декабрь 1944

Сон

Мне снилась русская зима,
Сугробы снега в переулках.
Полозьев хруст морозно-гулкий,
Москва, укутанная в снег.
И я иду и вспоминаю
Былые зимы, былые дни,
А хлопья снега заважают
Мои шаги..
Вот Кремль! Вот башни вековые,
Часовни Иверской уж нет,
Но золотом развалины сияют.

Вся в золотом снегу
Иду и вижу:
Косматая клячонка, сани,
Ванька в шапке меховой
Кнутом мне машет:
«Барыня? А, барыня!
Садись! Куда везти велишь?»
Куда? Пока – в Париж!
Сентябрь 1939

Александр Кондратьев

Из цикла «Славянские боги»

Сварог

[11]

Над небом и землей и адом властелин,
С повязкой на устах и на очах златою,
Стою в безмолвии. Не жди. Не удостою
Я прорицанием. Мне ваших десятин,
Елея, петухов – не нужно. Я один
Из сонмища богов даров не жду. Струю
Курений жреческих и тихою мольбою
Довольствуюсь. Сварог уж длинный ряд годин
Не смотрит на грехи людские. Пусть другие
Карают вас. А мне наскучило карать,
Давать вам знаменья, благословлять на рать...
Земля постыла мне. Люблю небес круги я.
В них плаваю, блажен, и не хочу взирать,
Как корчатся тела закланные нагие.
Волос

[12]

Я – Волос, бог певцов и покровитель стад.
Все мне принадлежит, что волосом одето.
В дни светло-знойные, когда богиня Лето
И Дажбог благостно земле тепло дарят,
Я вместе с тварью всей лучам небесным рад,
Целящим горести. Их ласкою согрета,
Поет свирель моя. Увы, не жду ответа
От той, что прежде мне дарила жгучий взгляд.
Я позабыт давно, но сам забыть не в силах.
Лежу на холмике, ничком, к земле припав;
Пью аромат цветов и благовонных трав;
Мечтаю в сумраке о ласках Лета милых,
И песен отзвукам русалочьих унылых
Я внемлю, от реки летящим из дубрав.
Перун

Я – князь богов, Перун. Престол мой выше туч;
Далеко молнией разит моя десница;
Грохочет по небу, сверкая, колесница,
Когда я мчусь на ней, ужасен и могуч...
Люблю листву дубов, люблю гремучий ключ;
Кабан[13] мне посвящен как зверь, орел – как птица.
Имею много жен. Из дочерей – Зарница
Моя любимая... От синеморских круч
До балтских хладных вод лежит моя держава,
От скал Биармии до царственных Карпат.
Повсюду властвую и насаждаю право;
Везде мои дубы священные шумят;
Везде приемлю дань, и, после войн, кровавый
Заколотых мне жертв впиваю аромат...
Мокошь

[14]

Я – Мокошь, Паляя, Паликопа, Моланья.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fiло

Мне служат в Пятницу. Перунова жена,
Я Матерью громов и молний названа.
Мои увенчаны короной изваянья,
Дубовою листвою расшиты одеянья,
И с мужем трон делю на небе я одна.
К своим соперницам презрения полна,
Гляжу я на Зарю и Лето без вниманья.
Смущается Земля от блеска глаз моих,
И звезды прячутся в небесные чертоги.
С почтеньем предо мной склоняются все боги.
Сам грозный мой супруг всегда со мною тих.
А люди молят нив не трогать спелых их,
С тревогой тайною на лик мой глядя строгий.
Пробуждение Ярила

[15]

Стрибожьи вороны из-за моря несут
С живой и мертвою водою два кувшина[16].
На потемневший труп Земли скорбящей сына
Посланцы вылили тот и другой сосуд.
Под влагою небес все раны зарастут.
Сон смертный отлетел от тела исполина.
Растаяли снега, и сочная ярина
Из вспаханной земли поднялась там и тут.
Ярило ожил вдруг. Его дыханья пар
В весеннем воздухе колеблется нагретом..
Очнулся юный бог. Мечтает он, как летом
Дыханьем этим он зажжет страстей пожар.
Заслышал пение... – И парнем разодетым
Вмешался в хоровод людских счастливых пар.
Светлый витязь

[17]

Белый конь по снеговым полянам
Где ни ступит, там земля видна.
Пробудить природу ото сна
Едет витязь под плащом багряным.
Всюду чтится по славянским странам
Светлый бог. Рука его сильна,
И Марену[18] копием она
Поразит, одетую туманом..
Золота червонного перчатки
Крепко держат конскую узду.
Под венцом трясутся на ходу
Жемчуга подвесок в беспорядке.
Кто ты, бог, стремящийся для схватки
По снегам и тающему льду?
Похищение весны

[19]

Кто только не желал назвать меня своей,
Кто не ловил меня, любовь мне предлагая!
Ах, не ко всем богам равно была строга я!..
Ярило и Дажбог... Не помню, кто милей.
Но счастья моего немного было дней.
Однажды с девами земными, вся нагая,
На берегу реки резвилась я. Пылая,
Большой костер горел из хвороста и пней..
В честь Солнца и Воды был праздник. Друг за другом
Скакали девушки через огонь. Подругам
Я крикнула: «Бегу! Смотрите на меня!»
И прыгнула. Но тут внезапно бог огня,
Меня схватив, унес. Очнулась я с испугом
Царицей недр земных, где глаз не знает дня.
Плач Лады

[20]

Над погибшим божичем Ярилой
Плакала тоскующая Лада:
«Ты куда ушел, моя услада?!
Оживи, вернись, мой божич милый!
Не хочу, чтоб взят ты был могилкой,
чтоб тебе была Марена рада.
Ах, очнись! Сказать мне что-то надо...
Пробудись! Услышь мой стон унылый!..
Пусть любила не одна тебя я,
Пусть тобой любимо было много,
– Все мы стонем, все у Чернобога
Просим, слезы на песок роняя,
Чтоб тебя от смертного порога
Нам вернула Мать Земля Сырая...»
Чаша Чернобога

[21]

Как туча черная, мой темен грозный лик,
Глядящий на тебя со дна священной чаши.
Ты счастлив, что теперь не могут лица наши
Иначе встретиться – под грозный бранный клик,
В кипящей кровию живых и мертвых каше.
Узнал бы ты тогда, как Чернобог велик,
какой бы ни был твой народ или язык,
Как ни были б крепки бойцы и копья ваши!
Теперь я только тень былых победных дней,
Лишь слабые черты воинственного бога
На тусклом серебре. Вина на них возлей
до вытертых краев. Зови меня и пей
Из кубка моего. И ночью у порога
Сереброусого ты узришь Чернобога.
Ретрский Радегаст

[22]

На ложе пурпурном, в доспехах золотых
И шлеме блещущем с простершей крылья птицей,
Сижу задумчиво с секирою в деснице.
Сень пестрая знамен и вражьих и своих
Колеблетсяверху. Везут отвсюду их,
чтоб поместить в моей таинственной божнице,
На славный ретрский холм у редарей в столице[23]...
Отсюда властвую, то яростен, то тих...
Щит с бычьей мордой и черной и рогатой
Мне украшает грудь – победы давней знак.
Из четырех голов лишь три унес мой враг...
С тех пор к моим ногам, в мой храм девятивратный[24],
Влекутся пленные, мне в жертву, супостаты,
и обезглавленным объемлет очи мрак.
Ругевит

[25]

От любопытных глаз в святилище укрыт
Багряно-алою завесой, семиликый,
Испачкан птицами, но грозный и великий,
С мечом, подъятым ввысь, застыл я, Ругевит.
Семь запасных мечей на поясе висит
Вокруг дубовых чресл руянского владыки.
Но мне уже давно не слышны браней клики.
Страна вкушает мир, и бог войны забыт...
Забыт, но все же бог! И, вещей думы полный,
как будто слышу там, где в берег плещут волны,
Размерный весел шум... Я знаю: час пробьет,
и, полный викингов, пристанет датский флот...
Короткий, жаркий бой... И улыбнусь безмолвно
Секире вражеской, что у колен блеснет...
Полевые боги

Нас много есть в полях. Мы сторожим межи,

В канавах прячемся, оберегаем нивы..
Кто помнит имена богини Севы, Живы,
Олены-Скирдницы, Овсяницы?.. Скажи,
Ты видел ли когда зеленчуков[26] во ржи,
По-человечески кричащих шаловливо?
А Деда житного, бредущего лениво?..
В полдневный летний зной выйди в поле и лежи
В кустах меж нивами, борясь с дремотой сонной.
И ты увидишь, как тропинкой потаенной,
Склонясь опасливо, колосьями шурша,
Пройдет полудница, так дивно хороша,
Что взор свой оторвать не сможешь ты влюбленный,
И будет тосковать по ней твоя душа.
Маковея

[27]

Ночь тиха. На землю свет бесстрастный,
Прорезая тучи, льет луна.
Мака недожатая стена
Средь полей виднеется неясно.
И над нею светлый и прекрасный
Реет призрак. В сумраке видна
Под венком тяжелым белизна
Леки вечно-юного. Напрасно
К деве той пытаться подойти
И в лицо смотреть ей. Маковея
Глаз людских не любит и, бледнея,
Расплывется в воздухе... Лети,
Дочь Земли стыдливая! Во тьме я
Пляске помешал твоей... Прости!
Баба-Яга

Вихрь хладный листья рвет с полунагих ветвей
И с воем в воздухе их кружит, развевая.
В их желтом облаке стучит ступа большая,
И едет с помелом Яга седая в ней.
Под грустный стон дерев и рев лесных зверей
Яга примчалася. Избушку заслоняя,
Вкруг частокол стоит; на нем воронья стая
И трупьи головы, одна другой страшней..
Две мертвые руки ворота отворили;
Ступа сама пошла и стала под навес.
Вот входит в дверь Яга скрипучую, и бес
Из-за печи пищит: – «Здесь, бабка, гости были».
– «Кто?» – «Мальчик с девочкой. Кота они кормили,
И тот их выпустил...» – «Где кот?!»... Но кот исчез..
Вий

[28]

диканьский дьяк солгал. я не подземный бес,
Чьи веки страшные землей покрыты черной;
Не знал я никогда породы гномов горной,
И в церковь к мертвецам ни разу я не лез.
Я – лишь залетный гость: промчался и исчез.
Но где пронесся я – посевов гибнут зерна
И не взойдут хлеба; их сжег мой вздох тлетворный.
Где крыльями махну, там юный сохнет лес,
Колодца, реки сякнут... Поднял тучей пыль я,
И над дорогами стоит она, и гнилью
От балок трупной тянет, и режут стада,
Травы не находя, сгоревшей без следа..
А я уже в степях за Каспием, куда
Меня назад несут мои бесшумно крылья.
Огненный змей

Сверкнувши по небу падучею звездой,
Он в искры мелкие рассыпался над хатой,
В трубу змеей вильнул. Заслонки и ухваты
Посыпались... Бух в пол! Вдруг огонек свечной

Погас... Зажегся вновь... И парень молодой,
Здоровый, как бугай, чернявый и усатый,
В кунтуш затянутый малиновый богатый,
Перед Солохою, от трепета немой,
Стал неожиданно. – «Что, рада аль не рада?»
Страсть в бабе вспыхнула от огненного взгляда,
И к гостю льнет она, зардевшись словно мак...
Тьма вновь. И слышится: «Ну, ждет тебя награда:
Родишь ты сына мне, и будет он ведьмак».
И спрятанный в углу дрожит от страха дьяк...
Трясавица Акилёд

[29]

Нас больше тридцати. Все – матери одной.
Простоволосые, но видом не старухи,
Нагие, жадные, крылатые, как мухи.
Едва лишь узнаем, что в доме есть больной,
К нему слетаемся. Но спорить меж собой
Не станем. Первая – Невея. Губы сухи.
Целует сонного. Трепещет он, а в ухе
Его звенят слова Трясеины: «Ты мой!»
Больной дрожит, стена, и бьется в лихорадке.
Знобей за сестрой его дыханье пьет.
Ласкают прочие. Помучить все мы падки,
И жертву каждая обнимет в свой черед.
Но вздох последний, вздох, как мед пчелиный, сладкий,
Пью только я одна, меньшая – Акилёд.
Упырь

Тоска на сердце. Тишь. Не спится. Ночь мутна.
Кто в нашу сторону идет там возле моста?
Как мой покойный Ясь. Такого ж точно роста.
Походка та ж... Ужель?!. Все ближе... У окна
Остановился... Ах, он смотрит!.. И луна,
Блеснув из туч, льет свет на белый как береста
лик страшный выходца нежданного с погоста.
И ласковая речь знакомая слышна:
– «Оксана, ясочка! Я это, отвори
Мне дверь или окно, и вместе до зари
С тобой пребудем мы!» Но, полная испуга,
Дрожа, свяченный мак берет его подруга
И сыплет вокруг себя. Не могут упыри
Достать догадливых из макового круга.
Чур

[30]

Два раза надо мной сгорал уже порог,
И третью хату вновь построили потомки.
И я лежу под ней. У пояса – обломки
меча разбитого, и пса костяк у ног.
Мне в руки хладные дан меду полный рог.
Теперь он пуст давно. Вокруг меня потемки
И грусть всегдашняя. Порой мой вздох негромкий
Заслышат правнуки и, полные тревог,
Загадывать спешат: к добру тот вздох иль к худу?
Порой мне надоест лежать, и в сора груду
Я ночью выползу, а дети скажут: «Щур
За печкой возится»; а я близ углей буду
Сидеть задумчиво, по виду мал и бур,
Как крыса старая, семейный древний чур.
Род

[31]

Мы – пращурь твои. Меж нас отец и дед
И прадеды стоят, потомок наш беспечный.
Все зорко мы следим, как путь твой скоротечный,
Приготованный, средь радостей и бед
Свершаешь ты, идя с надеждой... нам вослед.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Тот путь известен нам. Блюдя закон предвечный,
Едва родился ты, мы из щели запечной
Беззвучно выползли всем сонмом на совет
Таинственный, ничьим не зримый смертным глазом
– Судьбу твою решить и твой направить разум.
При свете трепетном пылающих лучин
Свершали мы суда полуночного чин,
С улыбкой грустной благословляя разом
Тебя на жизнь и смерть в юдоль земных кручин.
Сергей Маковский

Шарманка

Е. А. Жарновской
На темный перрон полустанка,
под утро – ни свет ни заря,
плетется хромая шарманка,
поет, надрывается вся.
Хоть голос у немощной звонок
и в ней человечья душа,
никто из вагона спросонок
в окошко не бросит гроша.
От века закон одинаков
на всех перепутьях земли.
И старенький вальс не доплакав,
умолкнет шарманка вдали.
Нищий

В городском саду за рекой,
под каштанами, день-деньской
старый нищий сидел на пне,
всякий раз попадался мне.
Всякий раз минувшей зимой,
через сад проходя домой,
десять су я совал ему
в утешительную суму.
Он был очень убог и тощ, –
на посту и в холод и в дождь,
как замороженный серый гриб,
к придорожной траве прилип.
Все о чем-то просил старик,
но в его слова я не вник;
что-то шамкал беззубый рот,
да понять я не мог весь год.
А недавно я мимо брел,
никого в саду не нашел, –
только пень торчал сиротой
над примятой слегка травой.
И с тех пор, уж не первый день,
мне мерещится этот пень,
и на сердце комом тоска.
Видно – я любил старика.
Плиты

Где-то, где-то на бугре песчаном
обреченной вымершей земли
стелется покоище: бурьяном
сплошь могилы заросли.
Ни венка, ни урны и в помине,
все сломали заступы веков.
Преданные пыльной паутине –
только плиты без крестов.
Надписей иных не разбираю:
буквы стерлись, имена – не те.
Призрачное что-то вспоминаю
от плиты брожу к плите.
Боже, как давным-давно под ними
затаилось мертвое жильё!
На одной с трудом прочел я имя
полустертое – мое.
«О, ты, которой нет...»

О, ты, которой нет
и не было на свете,
ты, вечности ответ
на зов тысячелетий!
Кто ты, над дольней тьмой
небес прообраз нежный,
владычица земной
надежды безнадежной?
Ты – чудо? или бред?
Один Господь рассудит.
О, ты, которой нет
и никогда не будет.
«В окне мелькали пустыри и пашни...»

А. С. Присмановой
В окне мелькали пустыри и пашни,
рассыпанные по лужкам стада,
высоко в скалах, неизменно с башней, –
похожие на скалы города.
Они белелись очерком туманным,
забытые в нагорной тишине.
И поезд мимо – целый день... И странным
в наставших сумерках казалось мне,
что жизнь – и там, от солнечных прибрежий
далёко, на горах, где выпал снег, –
всё та ж веками жизнь, и люди те же,
и было так и будет всё вовек.
Салерно

Гавань

Сквозь туманы город дальний снится.
Где, когда? – припомнить не могу,
но я вижу: у моря ютится
город на скалистом берегу.
Розовая гавань полукругом,
к морю, с невысокого холма,
тесные, как соты, друг над другом –
черепицей крытые дома.
На закате гавань молчалива,
рынок у причалов опустел.
Частоколом над водой залива
мачты плосконосых каравелл.
Город спит... И в зареве туманном,
замирающую вдалеке,
слышу песню на каком-то странном,
на давно забытом языке.
«После ночи темной, дикой...»

После ночи темной, дикой,
после ночи грозовой –
чую над тобой, великой,
чую день великий твой.
Брезжит утро – озарило
целины твоей простор,
с небесами породнило
глуби северных озер.
На волнистые дубравы,
на пшеничные моря
золотую чашу славы
опрокинула заря.
«Пустыня, полдень, белый зной...»

А. В. Руманову [32]
Пустыня, полдень, белый зной,
и свет и тишина без меры,
безбрежной дали дым сквозной,
как зыбь седая с желтизной –
бугры, песчаные пещеры.
И чередой плывут по ней

верблюды, призрачные челны,
куда-то в сон забытых дней
и незапамятных морей,
качавших над песками волны.
Земная вечность! Кто постиг
твое немолчное молчанье?
Бессмертный прах. За мигом миг...
Из отдаленья – львиный рык,
пустынной немоты дыханье.
Часы

Dis, qu'as tu fait, toi que voilà...[33]
Час за часом с колокольни дальней
прогудит глухим укором бой.
Слышишь ли? Он плачет все печальней
о годах, загубленных тобой.
Жизнь, – о, чаша боли, слез и света,
суженая сердцу, – где она?
А душа, как песня, недопета,
а душа пред Господом смутна.
Было ей завещано так много –
столько небом озаренных нив...
Что ты сделал, забывая Бога,
подвига любви не довершив?
«Полжизни душно-плотской яви...»

Так, ты жилище двух миров...[34]
Тютчев
Полжизни душно-плотской яви
и недостойной суеты;
полжизни – сон, и тот же ты
живешь, томясь в другой державе,
в тоске, в слезах по горней славе
тайноречивой красоты.
В тебе душа как бы двойная:
мятежной гордости полна,
грешнее грешного одна;
другая – о, совсем другая! –
все шепчет что-то, засыпая.
Проснулась... и не помнит сна.
Вакх

Sunt lacrimae retum[35]
Необитаем старый дом,
отломок времени и славы,
герб над решеткой величавый
разросшимся обвит плющом.
Потрескался лепной карниз
и наглухо забиты ставни,
и веет былью стародавней
осиротелый кипарис.
Трава и прель и сор кругом, –
иду по грудам бурелома
и на скамье, у водоема,
задумываюсь о былом.
Иссяк давным-давно родник,
его струя не плещет мерно,
прямоугольная цистерна
в сетях у цепких повилик.
Сухие прутья и стручки
устлали обнищавший мрамор,
запаутиненных карамор
свисают по углам пучки.
И тут же, в миртовых кустах,
над невысокою колонной
обломок статуи: замшенный,
изглоданный дождями Вакх.
Зияют впадины глазниц,
и скулы язвами изрыты,
весь почернел кумир забытый,
добыча мошек и мокриц.

Но меж кудрей еще цела,
еще манит гроздь винограда,
и хмель таинственной Эллады
в припухлой нежности чела.
Как не узнать тебя, жених,
веселий грозных предводитель,
хоть брошена твоя обитель,
и нет менад с тобой твоих!
О, вещей тлен, печаль хвощей,
струящихся из чаши Вакха,
журчанье Леты, слезы праха,
слепая жалоба вещей...
В аллее – призрак каждый куст,
блуждаю долго, бесприютный,
и слушаю, как шепот смутный,
своих шагов по листьям хруст.
О, грусть! Уходит в вечность день,
не помнящий о мертвом боге...
Покинут дом, и на пороге –
моя скитальческая тень.
«Бессонной тишины немые звуки...»

Бессонной тишины немые звуки
зовут в страну оплаканных теней,
и мертвые протягивают руки
из ночи невозвратных дней.
О, сколько их, за сумрачным Коцитом
навек покинутых! Издалека
о прожитом, о прошлом, о забытом
бормочет горькая река.
И сердце жалостью безмерной сжато,
и вечность о прощении молю
за то, что мало я любил когда-то,
что мертвых я сильнее люблю.
«Судить не нам, когда – как Божий суд...»

Судить не нам, когда – как Божий суд –
решает брань судьбу народов грешных,
и демоны войны в набаты бьют
среди громов и воплей безутешных.
Как примирить Закон и эти тьмы
замученных неискупимой мукой?
И кто палач, кто жертва? Разве мы –
все круговой не связаны порукой?
В ответе каждый. Но за что ответ –
кровавый рок обид и распрей кровных?
Повинны все, невиноватых нет.
И нет виновных.
Дождь

Ах, воистину чудесен
день весенний! Даже в дождь.
Лес мне дорог и без песен,
сладок запах мглистых роц.
В гнездах прячутся наседки,
плачет небо, на траву
тихо каплет с каждой ветки
сквозь намокшую листву.
Низко облака над лесом.
Грустно, сыро и темно.
Пусть! И дождевым завесам
заворачивать дано.
Лужи, грязь, вода в овраге. Дождь...
А все ж как хороша
этой животворной влаги
лес обнявшая душа!
Над озером

Озеру уснуть хотелось.
Перед сном оно оделось
в дымно-серую парчу.

И звезда зажглась... Темнея,
стала глубь еще роднее
отраженному лучу.
Долго я смотрел на воду,
что внимает небосводу,
гладью отражая высь.
Думалось: и сердце, Боже,
так на озеро похоже!
В глубину свою взглядишь...
О, пойми, ведь все на свете –
только небо, только сети
призрачных его огней,
все слова, мечты, желанья –
только нежные касанья
неба к вечности твоей,
звездный луч, тебя манящий,
голос чей-то говорящий
из неизвестной тиши, –
на земле ответный шорох,
отражения в озерах
созерцающей души.
Trinacria

А. А. Трубникову
Психеи средиземной колыбель,
страна богов, священная досель
Тринакрия[36], как стала ты близка мне!
Три моря, горы, скалы. Камни, камни...
Они живые. Помнят все. Молчат.
Чего-то ждут. В какую даль глядят?
От этих статуй и столпов оторванных
и капителей из дворцов забытых –
такая тишина... Как вздох времен –
восставший прах, окаменелый сон!
Со стен акрополей, весь день овеян
теньями приснопамятных Ахеян,
и вижу их: герои и цари,
едва причалив, строят алтари,
в горах стучат их медные секиры,
и солнце чаши золотит и лиры.
А чуть стемнело, огибает мыс –
вон там, на корабле своем, Улисс...
А чудится – насторожились стены:
у скал вдали еще поют Сирены.
Тринакрия, – о, сколько с той поры
разоров, бед! Здесь рушились миры,
в пустыню брег набегу обращали,
и гавани твои – как обнищали!
А там, в родных горах, что ныне там?
Черно везде, голо. И по тропам,
иссохлые от вековой разрухи,
горбатые на осликах старухи...
Но вот – не странно ли? – всё остров жив.
Пожалуй, весел. Беден, да счастлив.
И то сказать, его земля приветна:
и берега и горы, даже Этна,
И жизнь – что встарь... Пускай суровый крест
изгнал богов, – живут еще окрест,
верна векам наследственная вера:
Праматерь с сыном на руках, Церера[37],
всё царствует (века уберегли)...
Она, она, печальница земли,
в часовенках с лампадою бессонной,
на всех путях утешною Мадонной...
И я молился ей – непобежденной.
Таормина

«Что ж – разорву, сожгу письмо... Сгорит...»

Что ж – разорву, сожгу письмо... Сгорит,
но оттого небывшей ты не станешь.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Из сердца ложь не вытравит обид,
и правдой сердца не обманешь.
Благословлю ль, возненавижу ль рок
за каждый миг, продливший нашу встречу, –
я повторю заученный урок
и, отвечая, не отвечу.
Огарок

Погаснет электричество в квартире –
спешишь огарком заменить.
И станет в комнате и в целом мире
всё как-то по-другому быть.
Нарушен установленный порядок,
насторожилась тишина.
Предчувствий, обольщающих догадок
душа встревоженно полна.
Как маленький огарок, луч вливая
в заманивающую тьму,
она мерцает призрачно-живая,
подобная во всем ему.
Фитиль то вспыхнет, то как бы от страха
зажмурится. И вновь темно...
И громче дряхлая бормочет Пряха,
жужжит веретено.
The king's tower

М. А. Форштетеру
Стоит с двенадцатого века,
ее воздвиг нормандский воин.
Слезам, кровью человека
точатся выемы пробоин.
Еще грозна тюрьмы вчерашней
гранитнодымная порфира,
в веках неколебимы башни
на водной перекрестии мира.
Всё дымом – Рим, святая Жанна,
испанцы, Индия, тевтоны,
но так же, с алебардой, чванно
шагает брит на страже трона.
И – полудухи-полуптицы,
химеры крепостей британских –
гнездятся вороны в бойницах,
потомки воронов нормандских.
[38]

Сочельник

В эту ночь, когда волхвы бредут пустыней
за звездой, и грезятся года
невозвратные – опять из дали синей
путь указывает мне звезда.
Что это? Мечты какие посетили
сердце в ночь под наше Рождество?
Тени юности? любовь? Россия? или –
привиденья сердца моего?
Тишиной себя баюкаю заветной,
помня все, все забываю я
в этом сне без сна, в печали беспредметной,
в этом бытии небытия.
Возлюбленная тишина...

Возлюбленная тишина,
вечернее очарованье,
виденьями какого сна
овеяно твое молчанье?
Возлюбленная тишина,
преображение заката,
недостижимая страна,
покинутая мной когда-то.
Слилось грядущее с былым,
неизмеримое с ничтожным,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
и кажется пережитым
всё, что казалось невозможным.
«Увидеть, осязать нельзя...»

Увидеть, осязать нельзя,
нельзя услышать слухом, –
уводит тайная стезя
в мир, озаренный духом.
И свет не свет, и тьма не тьма,
земля, но неземная.
Небес голубизна – нема
и говорит о рае.
От светоносной немоты,
от нерожденных звуков
пьянея, сердце с высоты
внимает песне духов.
«Не спрашивай у жизни много...»

Не спрашивай у жизни много,
но бойся Божьего суда.
Жизнь – это узкая дорога
в непостижимое Туда.
О бывшем не тоскуй напрасно
и смертью вечность не зови.
Она с тобой, в тебе всевластно
нездешней правдою любви.
Любовь, к себе годами строже,
ты целью вышней назовешь.
Мир видимый – прости мне, Боже! –
он или призрак, или ложь?
Requiem

Dis manibuscum sacrum[39]
Шаги мои все ближе к вам, друзья,
и дух о вас печалится все чаще, –
все призрачней сквозят лесные чащи,
в немую даль змеится колея,
и горестней поет кастальская струя,
родник, из глуби говорящий.
Зовете ль вы, иль я зову – пора,
и мне пора уйти в страну покоя,
где грешника, святого и героя
уравнивает строгая Сестра[40], –
туда, в страну, где нет ни «завтра», ни «вчера»,
а длится время неземное.
Да, вас – о братья духу моему,
чьи образы в себе всю жизнь лелею,
друзья, которых не встречал милее, –
родных мечте моей, родных уму
и тех, кого любил, не знаю почему,
и оттого еще сильнее.
Ни людям, ни себе давно не лгу,
не обольщаю сердца ожиданьем
утешной вечности, ни упованьем
на встречу с вами вновь... Но не могу
не вспоминать. Все, все на этом берегу
мне кажется воспоминаньем.
О, спутники мои! Со мной деля
восторги грез и мысли ненасытной
и творческой гордыни беззащитной,
вы были мне как милая семья,
пока не рухнула Российская земля
в бесправья хаос первобытный.
В те годы мир, весь мир казался наш,
любуюсь им, росли мы все когда-то.
Любили мы и Русь, и Запад свято,
дворцы царей, Неву и Эрмитаж,
Петрова города блистательный мираж
уже в крови его заката.
В те годы Анненский-мудрец был жив,
учитель-друг, угасший слишком рано;

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
и Гумилев, и Блок (в те дни – не скиф:
он бурю звал, разбит, как утлый челн о риф
разъявшегoся океана)...
Забутым с той поры утерян счет,
но вас забыть, взнесенных на высоты
Парнасские, – нельзя! Во дни забот,
борений, нужд, искали вы вперед
путей нехоженных, в слова вбирая мед,
бессмертья мед, как пчелы в соты.
Но кто из вас, кто страшно не погиб,
кто спасся, отстрадав урок жестокий
войны, усобиц, безрассудной склоки, –
от пуль, застенка и тюремных дыб?
=Лишь тот, воистину, кто внял примеру рыб,
ушедших в темень вод глубоких.
О, сколько меж вас, певцов-друзей,
мне доверяли сны, обиды, муки,
и женщины.. Но нет! Одной лишь в руки
правило отдал я судьбы моей, –
одной поверив, знал, что коль изменит, с ней
и смерти не прощу разлуки.
Я Музой называл ее, с собой
влюбленно уводил в лесные чащи,
где бьет родник из глуби говорящий.
И не она ли, день и ночь со мной,
и ныне призраков ко мне сзывает рой,
так укоризненно манящий.
Но жизнь идет... Ее не победит
ни рок живых, ни вопли всех убитых,
ни перекор надежд и слов изжитых.
Пусть – ночь еще! Весенний лес шумит
над тишиной плющом обросших плит
и лаврами гробниц увитых.

1959

Монфор-Ламори

Анатолий Гейнцельман

Умиравший Серафим

В лазурь стремившееся тело,
Как камень, падает на дно,
Одно крыло обледенело,
Другое солнцем сожжено.
Загрязнены одежд перяных
Когда-то снежные края,
И из-за облаков багряных
Душа, кадилница моя,
Глядит, как обгорелой мачты
Вздымаемый волнами пень.
Но некому сказать: Не плачьте!
Могильная прияла сень
Моих соратников немногих
Задолго до того, как Тасс
Пел грезу паладинов строгих
И Дант увидел Ипостась.
Один в синеющем сугробе,
Под паутиной мертвых вай[41],
Лежу я, вспоминая в гробе
Душистый флорентийский май.
И ничему уже не веря,
Недвижим, холоден и чист,
Жду палицы народов – зверя,
Дубины Каиновой свист.
Но ты все снова на колени
Склоняешься передо мной,
И узел расправляешь звений
Моей кадилницы святой.
И снова синим фимиамом
Кадит уставшая душа,

И ты перед воскресшим храмом
Стоишь, молитвенно дыша,
И с крыльев чуть затрепетавших
Сметаешь снеговой балласт.
Тебе воздаст Господь упавших,
Творец архангелов воздаст!
Пиния

Как канделябр из красного гранита
С зелеными свечами, в гроты синие
Подъемлется в скале из сиенита
Громадная сверкающая пиния.
И снова сиракузской Афродиты
Певучие мне вспомнились линии,
И я, алтарные обнявший плиты,
И меж колонн свирепые Эринии..
В безгрезный я порвал свои оковы,
В чудовищный пророчествовал век.
Богов последних доваял Канова[42],
А я – в пустыне создающий грек,
Монах-затворник я средневековый,
Готический по думам человек!
Окаменелый дух

Материя – окаменелый дух,
Уставший от бесплодного блужданья.
Покой небытия ему как пух,
Как передышка в мире от страданья.
Но кончится окаменение вдруг,
И снова начинается создание,
И пламенный в безбережности круг,
И безнадежное самосознание.
Материя – окаменевший бюст
Отриколийского в земле Зевеса.
Вот-вот из мраморных раздастся уст
Стихийная космическая месса,
И мир не будет безнадежно пуст,
И разорвется синяя завеса!
Бес

У каждого свой Ангел есть Хранитель,
Но и презренный есть домашний бес,
И не проходит уж вблизи Спаситель,
Чтобы изгнать его в исподний лес.
А он страшней, чем древний Искуситель,
Ни власти не сулит он, ни чудес:
Он каждодневный в черепе наш житель
И баламутит образы небес.
Он сердце нам сжимает, как тисками,
И вызывает нестерпимый страх,
Он с тайн срывает дерзкими руками
Завесы все: святыни без рубах,
Мечты – как проститутки меж гробами,
Свобода – палисад кровавых плах.
Фитилек

Будь рад, что фитилек твой замигал
И скоро упадет на дно лампы:
Ты ничего во тьме не освещал
И только тлел от жизненной услады.
Вверху все тот же ангелов хорал,
Внизу все то же блеющее стадо,
За сводом храма низменный кагал
И страшное обличье маскарада.
Мой свет для освещенья древних риз
И византийских мозаичных ликов.
Глаза молящихся. Лепной карниз.
На солнце ж гул беснующихся криков,
Да пену мечущий на скалы бриз,
Да полное смешение языков.
Гибель Арго

Что остается впереди? Могила,
Сосновый, лесом пахнувший кокон,
Хоть я большая творческая сила,
Светящая из тысячи окон.
Кумейская сулила мне сивилла
Загадочный и величавый сон,
Но жизнь моя, как облако, проплыла,
И я давно покинул Геликон.
Классические все увяли мифы,
И Фидия величественный стиль.
Мятежные сыны мы Гога[43] – скифы,
Что обратили мир в золу и пыль.
Расшибся Арго, наш корабль, о рифы,
И над курганом шелестит ковыль.
На отмели

Дремлет море, тихо дремлет,
Тихо дремлет и горит.
Душу сладкий сон объемлет,
Сон объемлет и творит
Слово вещее, живое,
Слово странное в груди.
Настоящее, бывшее –
Все осталось позади!
Солнце золотой стрелю
Тело голое разит,
Солнце, как по аналою,
Золотым перстом скользит:
Все листы душевной книги,
Всё оно перевернет,
Раскаленные вериги
Переест и раскует.
И душа тоща гармоний
Несказуемых полна, –
Мысли окрыленной кони
Мчатся через царство сна.
Вечность в мимолетном миге
Кажется воплощена, –
И в Создательевой книге
Строчка каждая ясна.
1927

Змеинный остров

В Черном море остров есть песчаный,
По прозванью Остров Змей,
Где я находил покой желанный
И чешуйчатых друзей.
Жили там лишь рыбаки босые
В камышовых шалашах,
И в кустах козьявки голубые,
Жил и я, как древний шах.
С рыбаками я из Аккермана
Плыл под парусом туда
Для фантазии святой байрама[44].
Рыба вся была еда,
Да коврига хлеба, что по виду
Походил на чернозем,
Но никто там не терпел обиды,
И вокруг был Божий Дом.
Я читал морским сиренам песни,
И сползались из кустов,
В круг вблизи меня сплетаясь тесный,
Змеи всяческих родов.
Были там простые желтобрюшки,
Ужики из камышей Днестра,
Были там опасные чернушки,
Но и тех моя игра
Чаровала, как Великий Пан,
Хоть звучал простой сиринкс

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

И мне вторил грозный океан.
Да и сам я был, как Сфинкс,
Вряд ли братье островной понятен,
Внучкам райской колубрины.
Но, должно быть, голос мой приятен
Был для всей семьи звериной.
Что бы ни было, всю жизнь потом
Лучших я друзей не зрел,
И теперь последних песен том
Им я мысленно пропел.

А. Черный

Голос обывателя

В двадцать третьем году, весной,
В берлинской пивной
Сошлись русские эмигранты,
«Наемники Антанты»,
«Мелкобуржуазные предатели»
И «социал-соглашатели»...
Тема беседы была бескрайна,
Как теософская тайна:
Что такое эмиграция?
Особая ли нация?
Отбор ли лучших людей?
Или каждый эмигрант – злодей?
Кто-то даже сказал На весь зал:
«Эмигранты – сплошь обыватели!»
А ведь это страшнее, чем «социал-соглашатели»...
Прокравшийся в зал из-под пола
Наканунский лойола[45]
Предложил надеть на шею веревку
И вернуться в советскую мышеловку, –
Сам он, в силу каких-то причин,
Возлюбил буржуазный Берлин...
Спорящих было двенадцать,
Точек зрения – двадцать, –
Моя, двадцать первая, самая простая,
Такая:
Каждый может жить совершенно свободно,
Где угодно.
В прежнее время –
Ногу в стремя,
Белье в чемодан,
Заграничный паспорт в карман,
Целовал свою Пенелопу
И уезжал в Европу.
В аракчеевской красной казарме
Не так гуманны жандармы,
Кто откупался червонцем,
Кто притворялся эстонцем,
Кто, просто сорвавшись с цепи,
Бежал в леса и степи...
Тысячам тысяч не довелось;
Кое-кому удалось...
Это и есть эмиграция,
Цыганская пестрая нация.
Как в любой человеческой груди
В ней есть разные люди.
Получше – похуже,
Пошире – поуже,
Но судить нам друг друга нелепо,
И так живется, как в склепе...
Что же касается «завоеваний революции»,
О которых невнятно бормочут иные Конфуции,
То скажу, как один пожилой еврей
(Что, пожалуй, всего мудрей):
Революция – очень хорошая штука, –
Почему бы и нет?
Но первые семьдесят лет
Не жизнь, а сплошная мука.

Эмигрантское

О, если б в боковом кармане
Немного денег завелось, –
Давно б исчез в морском тумане
С российским знаменем «авось».
Давно б в Австралии далекой
Купил пустынный клочок земли.
С утра до звезд, под плеск потока,
Копался б я, как крот в пыли...
Завел бы пса. В часы досуга
Сидел бы с ним я у крыльца...
Без драк, без споров мы друг друга
Там понимали б до конца.
По вечерам в прохладе сонной
Ему б «Каштанку» я читал.
Прекрасный жребий Робинзона
Лишь Робинзон не понимал...
Потом, сняв шерсть с овец ленивых,
Купил в рассрочку б я коров...
Двум-трем друзьям (из молчаливых)
Я предложил бы хлеб и кров.
Не взял бы с них арендной платы
И оплатил бы переезд, –
Пусть лишь политикой проклятой
Не оскверняли б здешних мест!..
Но жизнь влетит, гласит анализ, –
В окно иль в дверь ее гони:
Исподтишка б мы подписались
Один на «Руль»[46], другой на «Дни»[47]...
Под мирным небом, как отравы,
Расцвел бы русский кэк-уок:
Один бы стал тянуть направо,
Другой – налево, третий – вбок.
От криков пес сбежал бы в страхе,
Поджавши хвост, в мангровый лес,
А я за ним, в одной рубахе,
Дрожа б, на дерево залез!..
К чему ж томиться по пустыне,
Чтоб в ней все снова начинать?
Ведь Робинзоном здесь, в Берлине,
Пожалуй, легче можно стать...
<1923>

Мираж

С девчонками Тосей и Инной
В сиреневый утренний час
Мы вырыли в пляже пустынном
Кривой и глубокий баркас.
Борта из песчаного крема.
На скамьях пестрели кремни.
Из ракушек гордое «Немо»
Вдоль носа белело в тени.
Мы влезли в корабль наш пузатый,
Я взял капитанскую власть.
Купальный костюм полосатый
На палке зареял, как снасть.
Так много чудес есть на свете!
Земля – неизведанный сад...
– На яву? – Но странные дети
Шепнули, склонясь: – В Петроград.
Кайма набежавшего вала
Дрожала, как зыбкий опал.
Команда сурово молчала,
И ветер косички трепал...
По гребням запрыгали баки.
Вдали над пустыней седой
Сияющей шапкой Исаакий

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

Миражем вставал над водой.
Горели прибрежные мели,
И кланялся низко камыш:
Мы долго в тревоге смотрели
На пятна синеющих крыш.
И младшая робко сказала:
– Причалим иль нет, капитан?.. –
Склонившись над кругом штурвала,
Назад повернул я в туман.
Парижское житье

1

В мансарде у самых небес,
Где с крыши в глухое окошко
Косится бездомная кошка,
Где кровля свергает отвес, –
Жил беженец, русский ботаник,
Идейный аскет,
По облику – вяземский пряник,
По прошлому – левый кадет.

2

Направо стоял рундучок
Со старым гербарием в дырках,
Налево на двух растопырках
Уютно лежал тюфячок...
Зимой в Париже прохладно,
Но все ж в уголке
Пристроился прочно и ладно
Эмалевый душ на крючке.

3

Вставал он, как зяблик, легко,
Брал душ и, румяный от стужи,
Подмахивал веничком лужи,
На лестнице пил молоко.
И мчался одним перегоном
На съемку в Сен-Клу
Играть скрипача под вагоном
И лорда на светском балу.

4

К пяти поднимался к себе.
Закат разливался так вяло...
Но бодрое сердце играло,
И голубь сидел на трубе...
Поест, к фисгармонии сядет,
И детским альтом
Затянет о рейнской наяде,
Сидящей на камне кругом.

5

Не раз появлялся вверху
Пират фильмовой и коллега:
Нос брюквой, усы печенег,а,
Пальто на стрекозьем меху.
Под мышкой – крутая гитара,
В глазах – тишина...
Нацедит в молочник вина
И трубкой затянется яро.

6

Споят украинский дуэт:
Ботаник мечтательно стонет,
Пират, спотыкаясь, трезвонит
И басом октавит в жилет...
А прачка за тонкой стеною
Мелодии в лад
Качает прической льняною
И штопает кротко халат.

7

Потом, разумеется, спор, –
Корявый, кривой, бесполезный:
«Европа – мещанка над бездной!»
«А Азия – мутный костер!..»
Пират, покраснев от досады,
Угрюмо рычит,
Что дети – единственный щит,
Что взрослые – тухлые гады...
8

Ползет холодок по ногам.
Блеснула звезда над домами...
Спор рвется крутыми скачками
К грядущим слепым берегам.
Француженке-прачке неясно:
Орут и орут!
Жизнь мчится, мгновенье прекрасно,
В бистро и тепло и уют...
9

хотя б пригласили в кино!
Но им, чудачкам, невдогадку.
Пират надевает перчатку
И в черное смотрит окно.
Двенадцать. Ночь глубже и строже,
И гостя уж нет.
Бесшумно на зыбкое ложе
Ложится ботаник-аскет.
10

За тонкой, холодной стеной
Лежит одинокая прачка.
Ворчит в коридоре собачка
И ветер гудит ледяной.
Прислушалась... Что там с соседом?
Проснулся, вскочил...
Свою фисгармонию пледом
Покрыть он забыл.
<1928>

Жилье

Сосны в пыльной пакле.
Домик вроде сакли.
Над стеной гора...
На крыльце в плетушке
Детские игрушки,
Шишки и кора.
В комнате прохладно.
Борщ ворчит так складно...
Темный лик в углу.
В жарком устье печки
Алые колечки...
Кошка на полу.
На скамейке фиги,
Ключья русской книги,
Мятый самовар.
В складках занавески
Рдеет в мутном блеске
Раскаленный шар.
Выйди, встань у входа:
Вверх до небосвода
Мертвых скал разбег.
Даль-Прованс-Европа...
Здесь во дни потопа
Русский встал ковчег.
1928

В метро

В стеклянном ящике
Случайно сбились в кучу
Сто разных душ...
Выходят-входят.
Как будто рок из рога бытия
Рукой рассеянною сыплет
Обрывки слов, улыбки, искры глаз
И детские забавные ужимки.
Негр и француз, старуха и мальчишка,
Художник с папкой и делец с блокнотом, –
И эта средняя безликая крупа,
Которая по шляпам лишь различна...
На пять минут в потоке гулком слиты,
Мы, как в ядре, летим в пространство.
Лишь вежливость, испытанная маска, –
Нас связывает общим безразличьем.
Но жажда ропщет, но глаза упорно
Всё ищут, ищут... Вздор!
Пора б, душа, тебе угомониться
И охладеть, и сжаться,
И стать солидной, европейскою душой.
В углу, в сутане тусклой,
Сидит юре, добряк круглоголовый,
Провинциал с утиными ступнями.
Зрачки сквозь нас упорными гвоздями
Лучатся вдаль, мерцают,
А губы шепчут
По черно-белым строчкам
Привычные небесные слова...
Вот так же через площадь,
Молитвенник раскрыв,
Сомнамбулою тихой
Проходит он сквозь строй автомобилей
И шепчет-молит-просит, –
Всё о своей душе,
Всё о своем спасеньи...
И ангелы, прильнув к его локтям,
Его незримо от шоферов ограждают.
О Господи, из глубины метро
Я о себе взывать к тебе не буду...
Моя душа лениво-бескорыстна,
И у тебя иных забот немало:
Там над туннелем хоровод миров,
Но стройность сложная механики небесной
Замутнена бунтующею болью
Твоей бескрылой твари...
Но если можно,
Но если ты расслышишь,
Я об одном прошу:
Здесь на земле дай хоть крупичку счастья
Вот этому мальчишке из отеля
В нелепой куцей куртке,
И старику-посыльному с картонкой,
И негру хмурому в потертом пиджаке,
И кроткому художнику – соседу,
Задумчиво сосущему пастилку,
И мне – последнему – хотя бы это лето
Беспечностью веселой озари...
Ты знаешь, – с каждым днем
Жить на твоей земле становится труднее.
<1930>

Картофельная идея

Я давно уж замечаю:
Если утром в час румяный
Вы в прохладной тихой кухне
Кротко чистите картошку
И сочувственно следите,
Как пружинистой спиралью

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fiло

Вниз сползает шелуха, –
В этот час вас посещают
Удивительные мысли...
Ритм ножа ли их приносит, –
Легкий ритм круговращения, –
Иль движения Жильберты,
добродетельной бретонки,
Трущей стекла круглым жестом
Над карнизом визави?
Мой приятель, Федор Галкин,
У стола, склонясь над чашкой,
В кофе бублик свой макает
И прозрачными глазами,
Словно ангел бородатый,
Смотрит томно на плиту...
Если б он поменьше чавкал,
Если б он поменьше хлюпал,
Как насос вбирая кофе, –
Он бы был милей мне вдвое...
Потому что эти звуки,
Обливая желчью сердце,
Оскверняют тишину.
– Федор! – вдумчиво сказал я,
Чистя крепкую картошку:
– Днем и ночью размышляя
Над разрухой мировую,
Я пришел к одной идее,
Удивительно уютной,
Удивительно простой...
Если б, друг, из разных наций
Отобрать бы всех нас, зрячих,
Добрых, честных, симпатичных
И сговорчивых людей, –
И отдать нам во владенье
Нежилой, хороший остров, –
Ах, какое государство
Взгромоздили бы мы там!
Как хрусталь оно б сияло
Над пустыней мировую...
Остальные, – гвоздь им в душу! –
Остальные, – нож им в сердце! –
Пусть их воют, как шакалы,
Пусть запутывают петли,
Пусть грызутся, но без нас...
Федор Галкин выпил кофе,
Облизал усы и губы
И ответил мне сердито,
Барабаня по столу:
– «Я с тобою не поеду...
В детстве я проделал опыт, –
В детстве все мы идиоты, –
Сотни две коровок божьих
Запихал с научной целью
Я в коробку из-под гильз.
В крышке дырки понатыкал,
Чтобы шел к ним свет и воздух,
Каждый день бросал им крошки,
Кашу манную и свеклу, –
Но в неделю все подошли...
От отсутствия ль контрастов,
От избытка ль чувств высоких
Или просто от хандры?
Не поеду!» Федор Галкин
Раздраженно скомкал шляпу
И, со мной не попрощавшись,
Хлопнул дверью и ушел.
1932

Вадим Гарднер

«Купол церкви православной...»

Купол церкви православной
Бледным золотом блистает
Над туманным финским лесом.
Тучи серые проходят.
Бродят тучи над Суоми.
Чернокрылые вороны
Пролетают над полями.
Дождь да дождь... Холодный ветер.
Время сумерек вечерних.
Где-то пес завыл, залаял.
Завывает так же ветер.
Робки в золоте осины –
Эти вечные трусихи...
Там у самой у дороги
В старой кузнице краснеет
В очаге огонь ретивый,
И пылает, и искрится.
Алым блеском озаренный,
Показался Ильмаринен[48].
1932

Закат

Вечерние краски вокруг.
Закат заалелся желанный,
Сиренево-розовый юг,
А север – зелено-шафранный.
Розовеется облачный вал,
А над ним и под ним другие.
Ты, Бог, зачаровал
Воздушные стихии.
Вся нежность любви моей –
В той облачности лиловой.
Вся страстность – в огне мечей
На столпах сосны суровой.
И в жилах огневых
На западе молчащем –
Отраженье бурь моих
В минувшем и в настоящем.
Отзвучья моей души –
Цвета и черты небоскатов,
В благоговейной тиши
Пылающих закатов.
И величественность тут
Отвагою дышащей думы,
Когда слова поют
О рассеянии мглы угрюмой.
Здесь и верность, и правда моя,
А подчас и глубокие раны.
Здесь и гроз золотых острия,
Пронзающие туманы.
1932

Ра-Аполлону

Сребристо-серых туч
Передо мной завеса.
Я жду, когда же луч
Осветит ветви леса.
Кручинюсь глубоко
О радужном поэте,
Подолгу нелегко
Без света жить на свете.
Даждьбог[49] иль Аполлон[50],
Иль Ра[51] пламенноликий,
Прославь наш небосклон,
О солнце, бог великий!
Светлы тобой весна
И зорь багряных книги.
Ра чертит письмена

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

Всех радостных религий.
Небесный фараон, –
Блесни золотой ладьею!
Всплыви! Плыви, Аммон,
Межоблачной стезею.
1933

Сафические строфы

Зелены еще у сирени листья.
Все желтей кругом, все желтей шиповник.
Серый полог туч удручает. Ветер
Клонит деревья.
Моросит подчас. Иногда бичами
Хлещет крепкий дождь. Много луж повсюду.
Уж мороз не раз покрывал их коркой.
Снег уже падал.
Старых ветел ряд у воды озерной
Все еще стоит в золотой одежде,
И не все, не все оголились окрест
В роще березы.
Неприветлив день, этот день осенний,
Тусклотой своей он тоску наводит.
Если хворь к тому ж человека мучит,
На сердце хуже.
Кто здоров теперь в пору злых побоищ,
В пору скорби, нужд, голодухи, гнева,
Разрушений... Страх за себя, за ближних
Все испытали.
Вот и дождь опять, и еще мрачнее
На душе моей. Мша над хмурым лесом,
Над речушкой той, над озерной зыбью
Снова кочует.
1942

Алкеевы строфы

Вчера шел снег вновь, мокрый да мелкий дождь,
И моросило. Сырость кругом была.
В лесу стояла мгла тумана.
Солнце лишь редко пятном блистало.
Сегодня снова вешнего неба синь
Даждьбог венчает; дивны лучи его,
Искрящие снегов покровы,
Север голубящие туманы.
Сварожич мощный, щит и оплот славян,
Рассей мрак финский, дай нам тепла, опять
Над всей округой властвуй, Светлый,
Славою нас осени победной.
1943

Дмитрий Магула

«Белеют грани мирозданья...»

Белеют грани мирозданья
В изломах Млечного Пути.
Но им причин и оправданья
В земных законах не найти.
Ума разгадкой не тревожа,
Отдай величью ночи дань.
Смотри, Вселенная похожа
На ниспадающую ткань –
Как будто кто-то там, над нами,
В пыли миров свой плащ влача,
Идет, и за Его стопами
Ложится звездная парча.
Предрешенное

Идем вдоль моря узким пляжем,
Где наши ноги жжет песок;

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

И, хоть прилив уже высок,
Мы помечтать на камни ляжем.
И нашу встречу с прошлым свяжем:
Она была предрешена
Давно – еще в те времена,
Когда песок был горным кряжем...
«Мы заблудились так давно...»

Мы заблудились так давно
Среди глухих противоречий,
Что нам, по правде, все равно,
Какими будут наши встречи.
Они с собой не принесут
Ни прежней близости, ни страсти,
Ни прежних радостных минут.
Былое порвано на части.
Они таят в себе зерно
Последней роковой минуты:
Потухли краски, все черно,
И в чаше жизни – яд цикуты.
«Бесконечность – без предела...»

Бесконечность – без предела,
Безвременность – без конца;
Призрак «я», лишенный тела,
Изначальность – без лица.
Жизнь – желание обмана,
Сны, которым нет имен,
Отраженная Нирвана
В зыбком зеркале времен.
В жизни – двойственность и смена;
Антитеза: да и нет;
Мысль, бессильная из плена
Улететь за сонм планет.
Все – иллюзия, все – тайна;
Все – лишь тень и все – лишь сон.
Цепь причинности – случайна,
Прихоть случая – закон.
Полусонет («Ты на земле – случайный житель...»)

ni1 admirari[52]

Ты на земле – случайный житель:
Смотри на жизнь, как на тюрьму,
Не удивляйся ничему,
Как равнодушно-праздный зритель,
И жди, снося спокойно гнет,
Пока премудрый Вседержитель
Тебе свободы не вернет.
Обратный полусонет

Стою в толпе в углу собора,
Крещусь дрожащею рукой,
Сквозь слезы слыша пенье хора...
А в сердце Смерть стучит клюкой,
И в славословящем напеве
Не благовещение Деве,
А «Со святыми упокой»...
Полусонет («Тяжелых мыслей череды...»)

Тяжелых мыслей череды
Не остановишь властным словом;
И душу тягостным покровом
Сковали медленные льды...
Ледник уступит переменам,
Но мыслей черные следы
Подобны каменным моренам.
Минувшее

За долгий срок от первых лет изгнанья,
Когда я был чужому солнцу рад,
Знакомы мне тревога и разлад,

Бесцельный труд, бесплодные дерзання...
Но в тайниках усталого сознания
Заботливо скопила память клад;
И я бреду, как раньше, наугад,
Храня в душе свои воспоминанья.
В часы тоски, как пьяное вино,
Я жадно пью их сладкое забвенье
И верую: так было суждено!
Минувшее – живое откровенье...
И я спешу сковать звено в звено
И каждый день, и каждое мгновенье.
Напутствие

В иной стране, столь странно необычной,
Среди чужих застигнет смерть меня...
И, одинок, я жду страстного дня,
Борясь за жизнь в толпе многоязычной.
Здесь нет любви и дружбы закадычной,
Тепла, мечты, порыва и огня;
Сковала все холодная броня,
И все спешат дорогою привычной.
И, если я когда-нибудь в бреду
В конце пути бессильно упаду,
Лишь об одном Судьбу молить я буду:
Пусть скатится на грудь мою слеза,
Когда, склонясь, чтоб я поверил чуду,
Ты взглянешь мне в усталые глаза.
Пастух

По горным пастбищам иду,
Овец послушных оберегая,
И вижу синих гор гряды...
А там, за нею, видна другая.
Вчера в горах промчался шторм:
Сухие травы омыла влага,
И стадо щиплет скудный корм
В скалистых щелях на дне оврага.
Отару посохом гоню,
Чтоб овцы на ночь могли укрыться;
Они, спеша, бегут к плетню,
И только дробно стучат копытца...
Тесней овца к овце легла
И, греясь, рада теплу ночлега;
А ночь уже звезду зажгла,
И в небе реют пушинки снега.
Ночью здесь... Я к рубежу
Людских селений, где я был молод,
Лишь поневоле подхожу,
Когда мне нечем унять свой голод;
Да каждый год, когда зимой
Приходит время суровой стуже,
Я увожу овец домой,
Где мир мой снова темней и уже.
А здесь, сметая с трав росу,
На склонах горных, крутых и строгих,
Я счастлив сердцем, что пасу
Своих питомиц четвероногих,
И радуюсь, что я не там,
Где яд сомнений был мной изведен,
Где знал любовь я, верил снам
И где был пытке когда-то предан...
Проходит все. Утихла боль,
И к прошлой жизни я безучастен:
Некоронованный король,
Над целым царством сейчас я властен!
И королем я здесь умру,
Укрытый старым своим тулупом,
А овцы рано поутру
В тревоге будут стоять над трупом...
Георгий Голохвастов

«Спеши! Пусть ждут другие ягод...»

Спеши! Пусть ждут другие ягод, –
Ты ж цвет цветов и счастья рви,
Пей хмель вина и хмель любви,
Полней живи день каждый за год.
И в гимнах радостям земли
Без капищ, алтарей и пагод
Творца и Господа хвали.
«Любовь и братство – бред людской...»

любовь и братство – бред людской,
Мираж несбыточный в пустыне:
Борьба за жизнь мрачит понине
Возмездьем крови наш покой;
И жаждать мира даже вправо ль
Мы здесь, где братскою рукой
На утре дней зарезан Абель?
«От неги сна в зыбях лагуны...»

От неги сна в зыбях лагуны,
От женских ласк на берегу,
От вин в притонах я бегу
В пустыню моря: парус шхуны
Кренится, дик валов налет,
И снасти, как тугие струны,
Могучей песней ветер рвет.
«Стремлюсь, робея, в мир желанный...»

Стремлюсь, робея, в мир желанный
Твоей души, открытой мне,
И труден в яркой новизне
Мой путь загадочный и странный.
Так правоверный, трепеща,
Чрез бездну в рай обетованный
Идет по лезвию меча.
Разрыв

Усилий тщетных провололочкой
Любви изжитой я не спас:
Ты отошла. И в поздний час
В письме последнем беглой строчкой
Я на смерть прошлое обрек...
В золе камина красной точкой
Погас дотлевший уголек.
«Мы глухи. Плоти ткань груба...»

Мы глухи. Плоти ткань груба –
В нас прежних жизнью струны немы.
А сны – веков былых поэмы:
В них веет древняя судьба,
Как аромат в заветных винах,
Давно укрытых в погреба
В тяжелых каменных кувшинах.
Примиренье

Я от людей ушел к безлюдью[53]
Цветущих радостью пустынь:
Ширь необъятна, воздух синь,
И я, вдыхая жадной грудью
Песнь в аромате пряных трав,
Вручаю Божью правосудью
Всю горечь жизненных отрав.
Разлука

Путь опустел. Чернеют шпалы
Бесстрастной лестницей утрат...
Прощай навек!.. В тоске закат
Спешит гасить свои опалы;
В полях туман ползет к стогам,
И мертвый лист свой краснопалый

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
Роняет клен к моим ногам.
Смерть

Рыданий песнь, кадил бряцанье,
Нагар мигающей свечи
И в складках гробовой парчи
Лучей печальное мерцанье –
Последний дар тоски мирской...
А в мертвом лике – созерцанье
И все постигнувший покой.
Искушенье

Душа, подобно легкой серне,
Гонимой сворой лютых псов,
Бежит от темных голосов,
Зовущих вновь к пьянящей скверне,
К влекущим радостям низов...
А ей, как тихий зов к вечерне,
Иной, нездешний слышен зов.
«Пока, упорные Сизифы...»

Пока, упорные Сизифы,
Здесь с камнем жизни бьемся мы,
Там, на скрижалях синей тьмы,
Горят светил иероглифы;
И мы, вникая в их слова,
Читаем радостные мифы
О высшей правде Божества.
«Я не комок бездушной глины...»

Я не комок бездушной глины, –
Я сам ваятель: жизнь свою
Творю я сам и создаю
Себе то радость, то кручины
Своею собственной рукой –
Хозяин полный и единый
Мне Богом данной мастерской.
«Янтарно-желтая оса...»

Янтарно-желтая оса
Над золотистой медуницей
Поет задумчивой цевницей;
И песню светлую роса,
Истаяв трепетным алмазом,
С земли уносит в небеса
О счастье радостным рассказом.
«Запад алеет сквозь рощу прозрачную...»

Запад алеет сквозь рощу прозрачную,
И розовеют поля.
Словно стыдливо готовит земля
Юному маю постель новобрачную.
Чую я светлого мая прилет:
Чувства моложе, мечты дерзновеннее.
Страстной истомы волненье весеннее
Сердце безумное пьет.
«В костре трещат сухие сучья...»

В костре трещат сухие сучья,
Багровый свет дрожит во тьме,
И ткется мысль, как ткань паучья:
Виденья странные в уме,
А в сердце странные созвучья.
Первобытность

Майский воздух так прозрачен,
Вешний мир так юн и свеж,
Точно не был встарь утрачен
Райских пажитей рубеж.
Как на утре первозданном,
Краски в радужной игре;

Весь в бреду благоуханном
Сад томится на заре.
И в лучах звезды восточной,
Чуя жизненный рассвет,
Веет страстью непорочной
яблонь чистый первоцвет.
В общей радости безлюдной
Безотчетно одинок,
Я иду в тревоге чудной
На алеющий восток.
В сердце зов тоски блаженной,
Словно зреющую новь
В нем зажгла зарей нетленной
Первозданная любовь.
Снится мне сегодня странно
В одиночестве моем
Близость светлой и желанной,
Ощутимой здесь во всем.
И с надеждой близкой встречи
На заре легко идти.
Цветом яблони мне плечи
Осыпают по пути.
Так под райские напевы
По ликующим садам
Шел в предчувствованьи Евы
Первосозданный Адам.
Троицын день

Колоколов гудящий зов
Плывет в ликующем прибое...
Как это утро голубое,
Твой взор глубок и бирюзов,
И ароматная березка
У древних темных образов –
Твоя задумчивая тезка.
«Свод листвы роскошной малахита...»

Свод листвы роскошней малахита,
Ярче бронзы светится кора,
А трава богаче перевита,
Чем узор молельного ковра.
Это – храм. В его тиши охранной –
Близ Творца творение и тварь:
Каждый странник может невозбранно
Здесь воздвигнуть свой простой алтарь.
И, забыв, как праздную тревогу,
Вечный спор о Ликах Божества,
Своему Неведомому Богу
Принести бесстрашные слова [54].
«Гамак в тени, а вокруг повсюду...»

Гамак в тени, а вокруг повсюду
И свет и блеск и полдня хмель:
Кружась, жужжит тяжелый шмель...
И, усыпляющему гуду
Без дум внемля, дремлю слегка,
Как дремлет, выйдя на запруду,
В разливе ленистом река.
Погибшая песня

Луны лукавые лучи
В душе по бархату печали
Всю ночь желанной ложью ткали
Мечты в узор цветной парчи,
И сердце пело им ответом...
Но песня канула в ночи,
А ночь растаяла с рассветом.
«Твердя, что мы, прожив наш век...»

Твердя, что мы, прожив наш век,
Уничтожаемся бесследно, –

Ты, горделивый человек,
Беднее гусеницы бедной.
Червяк пред смертью вьет кокон
Как ложе сна, и грезит жадно,
Что, пресмыкающийся, он
Проснется бабочкой нарядной.
В замке

Букеты роз цветут на пальцах,
А за окном гудит метель;
И песнь прохожий менестрель
Поет о рыцарях-скитальцах.
Все в замке спит... Трещит камин...
Иголка медлит в тонких пальцах...
А в сердце – странник-паладин.
«В угаре жизни год за годом...»

В угаре жизни год за годом
Я брал, бросал и вновь искал,
И, осушая свой бокал,
Пил горький опыт мимоходом.
Я – мудр, но ноша тяжела,
И никну я, как лишним медом
Отягощенная пчела.
«В ночи, прислушиваясь к звуку...»

В ночи, прислушиваясь к звуку
Грозы, идущей стороной,
Я нашу изживал разлуку:
Ни ты, ни я тому виной,
Что страсть, остыв, ушла навеки.
И все же, глядя в душный мрак,
Я ждал, чтоб мне он подал некий
Понятный сердцу вещей знак.
И было. Молния сверкнула,
Как росчерк властного пера,
И в книге жизни зачеркнула
Все то, что умерло вчера.
«Загадка все одна и та ж...»

Загадка все одна и та ж:
Игрушка ль мы судьбы случайной;
Иль жизни смысл окутан тайной,
Как сфинкс, песков безмолвный страж;
Иль красота и радость мира
Нам только снится, как мираж
В пустынях синего эфира?
«Рукой бесстрастной кости мечет...»

Рукой бесстрастной кости мечет
Судьба, бессменный банкومت;
Несчастье – нечет, счастье – чет,
Сегодня – чет, а завтра – нечет...
Играй! Не бойся – прост расчет:
Ведь жизнь твой проигрыш залечит,
А смерть и выигрыш возьмет.
На переломе

В душе ни ропота, ни горьких сожалений...
Мы в жизни знали все. Мечтавшийся давно
Расцвет искусств – был наш; при нас претворено
Прозрение наук – в триумф осуществлений.
Мы пили творчества, любви, труда и лени
Изысканную смесь, как тонкое вино;
И насладилась мы, последнее звено
В цепи взлелеянных веками поколений.
Нахлынул мир иной. С ним – новый человек.
Под бурным натиском наш утонченный век
В недвижной Красоте отходит в область мифов.
А мы, пред новизной не опуская век,
Глядим на пришлецов, как некогда на скифов

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10
С надменной жалостью глядел античный грек.
Свеча

Благой со строгими глазами
Темнеет Спас: благая Русь.
Я вновь в былом... Опять молюсь
Я пред родными образами,
Молитвы детские шепча...
О чем же крупными слезами
Так плачет белая свеча?
Вьюга

Всю ночь мело. Бил ветер ставней
И жутко плакал у окна...
И, одинокая, без сна
Душа томилась болью давней,
Молясь все ярче, все страстней,
Чтоб эта вьюга замела в ней
И самый след минувших дней.
«Камин пригас. Пушась, как иней...»

Камин пригас. Пушась, как иней,
Зола повила головни.
Чуть дым клубится струйкой синей.
А за окном лежит пустыней
Чужой нам мир. И мы одни.
Простой, но близкий на чужбине
Напев, все тот же искони,
Ведет сверчок. В простой кручине
Мы, как в обрядном строгом чине,
Былые воскрешаем дни.
И в созерцательном помине
До боли милы нам они:
Друг, дай мне руку!.. А в камине,
Зардев, как алый блеск в рубине,
Мерцают угольев огни.
«Всем жизнь моя была богата...»

Всем жизнь моя была богата:
Любовью, песней и вином, –
Так пусть же вечер за окном!
Полны живого аромата
Былые сны, и их красу
С собой, под грустный блеск заката,
Я в сон последний унесу.
Амари

Кровь на снегу (Стихи о декабристах)

Николай I

Как медленно течет по жилам кровь,
Как холодно-неторопливо.
Не высекала искр в душе твоей любовь:
Ты как кремень, и нет огнива!
Как вяло тянутся холодной прозой дни:
Ни слов, ни мук, ни слез, ни страсти.
Душа полна одним, знакомым искони,
Холодным сладострастьем власти.
Повсюду в зеркалах красивое лицо
И стан величественно стройный.
Упругой воли узкое кольцо
Смиряет нервов трепет беспокойный.
Но все ж порою сон медлительный души
Прорежет их внезапный скрежет,
Как будто мышь грызет, скребет в ночной тиши
Иль кто-то по стеклу визгливо режет.
В Государственном Совете

На кафедре высокий молодой человек
Громко, не подымая тяжелых век,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

Читает.

На бумагу падает бледный свет,
И вокруг Государственный Совет
Благоговейно внимает
Всей своей верной легавой душой,
Как хозяину преданный пес большой,
В слуховые трубки
И в трубочки рук
Впитывая, как губки,
Каждый звук.
Устами, глазами
Пьют слова.

Лысыми и блестящими лбами,
От краски зелеными волосами,
Порами явных и тайных морщин
Внемлют, слышат,
Дышат едва,
И громкий голос,
Благодатный ветер высочайших слов,
Еле колышет
Перезрелый колос
Старческих отяжелевших голов.

Слились все:
Лопухин в своей пышной красе,
Великолепный вельможа,
И мумия юноши, вставшая с ложа, –
Оленин[55] с мальчишеским древним лицом,
Граф Литта[56] с мальтийским крестом,
Наивный и седокудрий
Карамзин, и Сперанский мудрый,
князь Куракин[57] и кочубей,
И маленький буффа – Голицын[58].

Не разберешь, хоть убей,
Где виги, где тори –
Все лица

Слились в одно.

И оно

С блаженством во взоре
В некое светоносное море
Погружено.

«Ангелом я покойным дышу,
Пусть он мне предводительствует,
Но можем ли мы рисковать
Положением государства,
Этого обожаемого отечества?
Я исполняю свой долг.
Присягну, как первый верноподданный
Брату и моему Государю».

В ответ

На слов превыспренных ворох
С блаженной тоскою во взорах
Шептали ему верноподданно – слабое «нет!».
Бунт

Буйность воскликновений,
Звоны копыт о лед;
Гуды и гул борений,
Камней разгульный лет.
Это свободы Гений
Толпы мутит, мятет.
Всюду водовороты,
Лопнул упругий кран.
В весе полен – полеты,
В грузе бревна – таран.
Богом был царь. Но что-то
Сдвинулось. Он – тиран!
Зверь, отхлебнувший крови,
И захлебнется в ней.
Гончую ль остановишь
Свору ночных страстей?
Вихорь безумья, внове

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

Вейнем вольным вей!
Миг – и в щепках плотина,
Вал все препоны снес.
Вот ниспадет лавина,
Вот запоет хаос.
Миг... Вдруг хлыст господина!
Зверь заскулил, как пес.
Тщетно борись с волнами,
Дно нащупывай, шарь...
Ничего под ногами, –
Тонешь ты, русский царь!
Вдруг барабан и знамя
Твердо идут, как встарь.
Преображенский, первый
Близится батальон.
Царские крепнут нервы,
Выпрямляется трон.
О, воистину первый
В мире всем батальон!
Словно Урала скалы
Или Невы гранит,
Синяя сталь сверкала.
Что за волшебный вид!
Щурится зверь; оскалы
Морды; визжит; бежит.
Громче «ура», солдаты,
Слуги, друзья, рабы!
Самодержавье свято
И тяжелей судьбы.
Дружно «ура», ребята,
Шире крестите лбы.
Вам же года неволи
Ваши несут штыки.
Бунту безумной голи
Окрик, прицел, клыки!
В буйном ты, Русь, камзоле
Цепи тоски влеки.
Вашим же детям цепи
И подневольный труд.
Эх, широки вы, степи,
Буйных разгулов гуд!
Против себя же крепи
Выстрой, о русский люд!
Бегство

Бежали...
Дул сырой морской
Ветер с такой тоской...
Стреляли.
Неслась картечь,
Как порывы сырого ветра,
И пушек извергали черные недра
Смерти смерч.
Чрез полыньи и крови лужи
Вел по Неве свой нестройный взвод
Бестужев.
Ядра ломали лед.
Рылеев,
В серой толпе затерявшись, бежал,
Звал, рукой безнадежно махал:
«Смелее!..»
И Кюхельбекер, бедная Кюхля,
Рыхлая рохля, шлепал по снегу
Ногами, обутыми в слишком широкие туфли,
И еще верил в победу.
Юный Одоевский
Тоже кричал и тоже бежал.
Боже, не праздник, не светлый бал...
Где скроешься?!
На перекрестке Булатов
Думал: «Не с ними ли светлая смерть,

Близкое небо, ясная твердь,
Твердая смерть солдата?..»
И слыша, как бухают пушки,
Князь Трубецкой
С смертной тоской
Зарылся лицом в подушки.
И ежась от боли
И нервно смеясь,
Бедный Князь,
Вождь поневоле,
Как будто попавши во фраке в грязь,
Морщился, корчился, весь вяясь,
Брезгливо, бессильно и думал: «Доколе,
доколе, доколе?..»
И серые, серые,
Пошедшие вслед командирам,
Вслед офицерам,
С слепой верой
Солдаты
Бежали, как стадо,
ибо не знали,
Что делать им надо,
За что умирать.
Они, прогнавшие Наполеона,
Бежали с воем, визгом и стоном,
Русской свободы бессильная рать.
«Эй, Фадеич,
дай тебе подсоблю,
У тебя колено в крови!»
Нет, не избежать смерти иль плена...
кто там, – враги иль свои?..
Прогулка Николая I

Пристегнувши шнурками полость,
Запахнувши крепче шинель,
Он летит – и в душе веселость,
Веет ветер, крепкий, как хмель.
Иногда от быстрого бега,
Из-под легких конских копыт,
Мягко белыми комьями снега
На мгновенье глаза слепит.
Мчатся сани стрелой прямою,
А вокруг них снежинок игра,
Опушающих белой каймою
Темно-серый город Петра.
Николай, изящный, высокий,
Неподвижно прямой сидит,
И любовно царское око
Созерцает знакомый вид:
Дали ровны, улицы прямы,
И мундиры застегнуты все,
Дальней крепости панорама
В величавой стынет красе.
Дали ровны, улицы прямы...
Что страшней, прекрасней, скучней.
чем создание воли упрямой
Напряженных петровских дней?
Дали ровны, улицы прямы,
Снег блесит, простор серебря.
О какая прекрасная рама
К величавой фигуре царя!
Возвращенье

Басаргин возвращался из далекой Сибири,
Басаргин возвращался и прощался,
И мыслию к тем, кого в этом мире
Не увидит уж больше, – обращался:
«Там в Иркутске лежит Трубецкая Каташа
(Этим ласковым именем звать я
Смею Вас, утешенье и радость наша,
Мы ведь были Вам близки, как братья!),

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Сколько милой, улыбчивой, ласковой силы,
Простоты, обаяния, воли...
Бог ей не дал спокойно дойти до могилы
И взыскал испытанием боли.
Кюхельбекер, увы, не дождался славы,
А желал ее с страстной тоскою.
Снег зимою, а летом высокие травы...
Не прочтешь, кто лежит под доскою!
И читатель тебя никогда не узнает,
Бедный рыцарь словесности русской.
Только друг с улыбкой порой вспоминает
Этот профиль нелепый и узкий.
И на том же кладбище, где спит Кюхельбекер,
Тоже немец и тоже – божий,
Фердинанд Богданович Вольф, штаб-лекарь,
Бедный прах твой покоится тоже.
А ивашевы, близкие сердцу, родные,
Те в Туринске спят непробудно.
Оба милые, оба простые, земные,
Обреченные жизни трудной.
После родов в горячке скончалась Камилла,
И день в день через год мой Вася.
С ними все ушло, что мне было мило,
Холостяцкую жизнь мою крася».
Над могилами долгие, долгие ночи,
Над могилами белые зимы,
Над могилами летние зори короче,
Чем огнистые зимние дымы.
И, как птица, душа и реет, и вьется
Над гнездом, единственным в мире.
И быстрее, чем тройка на запад несется,
Мчится сердце к кладбищам Сибири.
Александр Биск

Русь

Вот Русь моя: в углу, киотом,
Две полки в книгах – вот и Русь.
Склонясь к знакомым переплетам,
Я каждый день на них молюсь.
Рублевый Пушкин; томик Блока;
Все спутники минувших дней –
Средь них не так мне одиноко
В стране чужих моих друзей.
Над ними – скромно, как лампада,
Гравюра старого Кремля,
Да ветвь из киевского сада –
Вот Русь моя.
1921

Варна

Шварц

В соседних кельях слышен только шорох
Мышей в углах и ангеловых крыл,
И братьев дух молитвенно уныл,
Но я набрал иных мечтаний ворох.
В моих ретортах, колбах и приборах,
Соблазну колдовства предав свой пыл,
Я порошок таинственный открыл,
Которому вы дали имя: порох.
И, вслед за мной, другие воскресят
Тысячекрат мой опыт Прометеев,
Пока, бесовским пламенем объят,
Не рухнет мир ханжей и добродеев.
И там, на небесах, поймут тогда,
Что в людях меньше проку, чем вреда.
1950

«Течет Гудзон – с утра, как мы, усталый...»

Течет Гудзон – с утра, как мы, усталый.
Как вереницы белых рыб, в волнах
Плывут опустошенные фиалы,
Улики встреч в запретных уголках.
Они ныряют, вытянувшись гордо
Во весь свой полный рост, как будто им
Быть надлежит частицею аккорда
С зеленым лесом, с небом голубым.
Я вижу их – холодных, полусонных
Любовников с попутных пристаней,
Играющих в согласии в влюбленных,
Чтоб позабыть тоску и злобу дней;
Принявших все запреты и препоны
И ложь любви, добытую из книг,
Чтоб обмануть соседей и законы
И обмануть себя хотя на миг.
1954

Александр Браиловский

«Пять адских рек дано узнать поэту...»

Пять адских рек дано узнать поэту:
Стикс – ненависть; терпенье – Ахерон;
Стенанье – Коцит; пламя – Флегетон,
И птяю – реку забвенья – Лету.
Четыре переплыты. Вдалеке,
Окутана безмолвием и мглою,
Струится Лета дымною волною.
Груз тяжелых дум потонет в той реке.
«Ты повторился, древний сказ...»

Ты повторился, древний сказ
О новосозданном Адаме:
Я мир увидел в первый раз
Незатемненными глазами.
Ушам раскрылся шум земной,
На дневный свет раскрылись веки,
Летели птицы надо мной,
В далекий путь струились реки,
И зверь, невиданный досель,
Скользил невиданным извивом,
И ветра гулкая свирель
Свистала гимн лесам и нивам.
Я ощутил дыханье трав
И солнца пламень светозарный
И, головой к земле припав,
Дышал и слушал, благодарный.
«Отгрохотали семь громов...»

Отгрохотали семь громов,
Семь молний полоснули твердь,
И над полками облаков
Угрюмой тенью встала смерть.
Зловещим светом озарен
Ее еще недвижный серп,
И ветер, громом оглушен,
Застыл в верхушках темных верб.
«Жизнь пробежала, как в романе...»

Жизнь пробежала, как в романе...
Проснулся. Холод. Тишина.
Деревья в снеговом тумане.
Над ними мертвая луна.
Часы нечаянно нащупал,
Блеснул холодный циферблат...
Не видно стрелок. Ближе к уху:
– Стоят...
Так, может быть, остановилось
Земное странствие души...

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10
Но сердце билось, билось, билось...
Я слышал стук его в тиши.
«Изнеженное поколение...»

Изнеженное поколение
Враздробь, врасплох, в недобрый час
Постигло кораблекрушение,
И в чашу бурь швырнуло нас.
И вот событий темных сила
Нас подхватила, понесла,
Без звезд, без смысла, без ветрила,
Без капитана, без весла.
Наш плот и тонет и не тонет,
Им потешаясь, демон вод
То в бездну черную уронит,
То вверх, взметнувши, вознесет,
То накренит над пропастями
Почти отвесною стеной,
И кажется, что гибнет с нами,
С орбиты сброшен, шар земной.
И нас, покинутых судьбою
На погибающем плоту,
Уносит гулкою волною
Поодиночке в пустоту.
Миражи

1. «Когда сплывет ночная тьма...»

Когда сплывет ночная тьма
И дымный день в окошко глянет,
Меня неудержимо тянет –
– Сойти с ума...
В ущелье зданий на веревке
По ветру треплется белье...
Гляжу на тесное жилье,
Неприспособленный, неловкий...
Уйти, укрыться... Но куда?...
Подальше от чужбин и родин!..
И вдруг, как яркая звезда,
Сверкнет благая весть: Свободен!
И унижительных забот
Сгорают ржавые оковы,
И мир из пепла восстает
Облагороженный и новый.
В нем все поет, в нем все цветет,
В нем места нет угрюмой злобе,
И скучный хлам междоусобий
Метла гигантская метет.
Какое солнце тут горит!
Все – мудрецы, и все – поэты,
И, облачаясь в новый вид,
Кивают дружески предметы.
И синей бездной я лечу
Далёко от чужбин и родин
И птицам весело кричу:
– Свободен!..

2. «Где б ни был я, куда б ни шел...»

Где б ни был я, куда б ни шел,
За мной – селеньем, лесом, полем –
Ползет, послушен и тяжел,
Мой страшный раб, мой бледный голем[59],
Неуязвимый для людей,
Слепой, безгласный и ужасный,
Он волей вспыхнувшей моей
Воспламенится в час опасный.
Но не по прихоти велит
Ему душа за мной влачиться,
И не по прихоти казнит
Его гранитная десница.
Когда душа обожжена

Негодовањем, – в хилом теле
Трепещет и зовет она:
«Ты мне покорен был доселе!»
И он, огромный и немой,
Встает – и никнет сила злая,
И крики радости волной
За нами плещут, не смолкая...
И дальше в доблестный поход
По очарованным долинам
Змеистый путь меня ведет
С моим послушным исполином.
Баллада о Черном Вороне

Безумью нашему укор,
Над Русью мертвенно-покорной
Кругами вьется Черный Вор,
Кругами вьется Ворон Черный.
Скользя по улицам ночным,
Кого-то ищут злые фары,
И всё, что дышит, перед ним
Как будто оковали чары.
В тоске притихли города,
И ни одно окно не светит,
И горе тем, кого тогда
Железным клювом он отметит.
Над кем кружится Ворон злой?
Чье нынче сердце выпить хочет?
Кого в несътый замок свой
Сегодня Черный Вор волочит?
Проснулись. Ждут. У чьих дверей
Встревожат ночь глухие стуки?
И кто в клещах стальных когтей
Исчезнет в ночь на смерть иль муки?..
Скользнув в проулок, словно тать,
Замедлит быстрый ход машина,
И не одна седая мать
Сегодня потеряет сына.
И хмурых жертв его не счесть,
И всех вороний коготь давит,
В ком Человечность или Честь
Тирана, падши, не восславит.
Безумью нашему укор,
Над Русью, мертвенно-покорной,
Кругами вьется Черный Вор,
Кругами вьется Ворон Черный.
Страна молчит, молчит народ,
Оцепенев в железах ночи,
И Черный Ворон им клюет,
Клюет еще живые очи.
Иноходец

Я был еще мальчик. Остывала
Степь от дневного зноя. Серый, вплавь
Шел иноходец по холодеющему шляху.
Ковыли кивали, и ковылем взметали
Бег и ветер и серебряную гриву.
В траве кричали, встречая вечер, цикады,
А за черным курганом, красное, садилось солнце.
Низко припадал мой конь к тропе знакомой,
Крепкой грудью ветер рассекая,
Он вольным бегом себя и хозяина тешил.
Я был еще мальчик, и моя душа
Была ясна и не отравлена презреньем.
Мой конь меня любил. Он послушно морду
Наклонял под ласкающую руку.
Издых он рано. Резвясь над оврагом,
Он споткнулся и сломал себе позвоночник.
Моего коня увезли на дрогах скорняки драть шкуру,
А седло украл и пропил работник.
Длинною с тех пор змеею годы
Проползли. За океаном, далекая и чужая,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Лежит наша степь, и новые по ней протоптаны тропы.
Иноходец, мы оба в жизни шли необычным аллюром!
И я, как конь мой, тяжело расшибался,
Только уцелел.
Лишь душа, дышавшая ветром и прохладой,
Захлебнулась горьким и страшным презреньем.
Илия Британ

«В полях изгнания горит моя звезда...»

В полях изгнания горит моя звезда;
Летят мгновения в капризно-жутком танце,
И мчатся черные большие поезда
Меж светлых призраков почти ненужных станций.
Кому поведаю тоску моей тоски?
Когда все кончится? Конца не видно прозе!..
Хохочут злобные кошмарные свистки,
Вагоны – кладбища; а кто на паровозе?
Держу бессмысленно навязанный билет:
Какая станция? увы, название стёрто..
Молиться Господу? Его как будто нет..
Куда торопимся? не все ль равно: хоть к черту!
Вся жизнь – изгнание... Мелькают фонари..
Устал от грохота, от призраков, от свиста;
Не видно месяца, не будет и зари, –
И Смерть курносая торчит за машиниста..
«Колода старых карт, знакомая до муки...»

Колода старых карт, знакомая до муки:
По ним я ворожил в плену больных минут;
Держали часто их твои родные руки, –
Давно ты умерла, они еще живут.
Вот черный мрачный туз, суливший мне потерю,
А вот девятка пик, с оторванным углом;
От Бога я ушел, но в них, как прежде, верю
В цепях своей тоски, в печали по былом.
Как свято я храню заветную колоду!
Она еще жива, а ты – давно в гробу..
Предскажет, может быть, последнюю свободу
Узор старинных карт усталому рабу.
«Тоскует колокол. Печален талый снег...»

Тоскует колокол. Печален талый снег,
Угрюмы лужицы под небом серой стали,
Бесцветны скатерти еще безмолвных рек,
Косятся домики в холодной мутной дали.
Тоскует колокол. Тяжел немой дымок,
На крыше каркает докучная ворона,
Кусты увядшие застыли у дорог,
На старом кладбище в слезах грустит икона.
Не видно солнышка; чернеют тополя,
Как тени грозные, как вражеские пики;
Томится грешная, безвольная земля..
Тоскует колокол. Сегодня Пост Великий.
«Еще, еще там стрелка передвинется...»

Еще, еще там стрелка передвинется,
Еще прибавит лжи к моим обманам..
Земля, Земля, ты – скверная гостиница,
С дешевым, грязным, скучным рестораном!
Еще, еще среда, четверг и пятница,
Еще один подарок новогодний..
Земля, Земля, ты – старая развратница,
Которой быть пора корыстной сводней!
Еще, еще тут что-то переменится,
Еще, еще Судьба затянет нити..
Земля, Земля, ты тоже в мире пленница,
И нет конца бессмысленной орбите!
«Я – раб в сырой каменоломне...»

Я – раб в сырой каменоломне

И бремя тяжкое несущу;
Года былой свободы помня,
Страдаю пленником внизу.
Летят холодные обломки,
Летят и думы, как они;
И гаснет голос мой негромкий,
И гаснут призрачные дни.
Мелькнет во тьме порой мне искра,
Мелькнет надежда, как она;
И Смерть шагает так не быстро,
Как мой хозяин, Сатана.
И долго, долго суждено мне
Терпеть за черную вину
И быть рабом в каменоломне
У самого себя в плену.
«О, буря адская! Дрожит мое весло...»

О, буря адская! Дрожит мое весло
И стрелка черная тревожного магнита;
Валы косматые клубятся тяжело,
И тьма отчаянья над безднами разлита...
А дни угрюмые, как серые века;
Но все, что прожито, исчезло тенью краткой...
О где вы, родины любимой берега,
Маяк любви моей, – мой белый крест с лампадкой?
Мелькают пристани: на них чужой мне флаг;
Плывут навстречу мне совсем чужие лица...
А впрочем, Господи, не знаю я, кто враг,
Кто друг изгнаннику... И все – как будто снится...
О где вы, спутники былых моих годин? –
Быть может, родина, и ты теперь чужда мне,
И дома буду я совсем, совсем один?
Лампады нет уже? А крест – немые камни?
О, буря адская! Дрожит мое весло,
А тучи черные – как Дьявола одежды...
Вперед без устали!.. Но как мне тяжело:
Я верю, Господи, но в сердце нет надежды...
«Прости усталому рабу...»

Прости усталому рабу
Земную преданность заботе,
Себялюбивую мольбу,
Корыстный крик души и плоти.
Я знаю путь и вижу цель,
Я сердцем чту судьбы зеркало;
Все существо мое досель
Лишь отрицанье отрицало.
Святая бедность – хороша:
Не повинуюсь игу злата,
Смиренномудрая душа
Свободной радостью богата.
На пестрый мир, на суету
Я не взираю исподлобья;
Но как принять и нищету,
Не запятнав богоподобья?
Прости усталому рабу,
Тобой казнимому не в меру,
На грани ропота мольбу
И недоверчивую веру...
2 мая 1940

София Дубнова-Эрлих

Спор с поэтом

Блажен, кто посетил сей мир... [60]
Ф. Тютчев
О нет, история страшней,
Чем нам, доверчивым, казалось,
Чем думал тот, кто древний хаос
В полночной слышал тишине.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (первая и вторая волна) В четырех книгах f10

В разрытой, выжженной степи
Почили остовы нагие:
Их тоже звали всеблагие,
Как собеседников на пир...
1945

Нью-Йорк

Гетто

Здесь когда-то трудились, плакали,
Разрывали путы тоски.
На прилавке промозглом звякали
Запотевшие медяки.
Над страдой, нищетой, плесенью
Рос огонь субботней свечи.
Бунт упрямою бился песнею
О щербатые кирпичи.
И задохлось гетто, сгорая,
В клубах дыма, в разрывах мин,
С бормотаньем: Слушай, Израиль!
С гневным возгласом: Слушай, мир!
Вот и все. А мы и не знали
Под туманом чужих дорог,
Что в горячем пепле развалин
Наших душ остался клочок,
Там, где братья предсмертным кличем
Исчерпали судьбу до дна,
Для себя избравши величье
И бессилье оставив нам...
1945

Нью-Йорк

Клятва

На могилах свежая трава,
Им забвенья нет.
Ничего не хочу забывать
В чередѣ моих лет.
И у той, что всех стран родней,
Ничего не прошу.
Непреклонную верность ей,
Словно цепи, ношу.
И она говорит со мной
Голосами стихов и степей,
И клянусь – в юдоли земной
Не сниму цепей.
А когда непробудный сон
Убаюкает плоть мою,
Вы услышите тихий звон –
Это цепи поют.
1969

Таннерсвилль

Наказ

Если хлынут к тебе виденья
Навсегда отплавших дней,
Не броди беспокойной тенью
В сером сонме теней.
И пусть сердце твое не плачет,
Что оборвана нить.
Вспоминать ушедших – не значит
Вновь и вновь хоронить.
Вспоминая, чем жизнь дарила,
Чем была хороша,
Не клади венков на могилы –
Воскрешай.
1969

Коннектикут

Мое поколение

Поколение пылких, упрямых,
В ком мечтой горела душа,
Я твоими ходила путями
И с тобою равняла шаг.
Не давала школа ответов
Нам, отвергнувшим буквари.
Мы философов и поэтов
Выбирали в поводыри.
Сцена нам открывала заново
Вдохновеньем созданный миф,
И когда раздвигался занавес,
Раздвигался пред нами мир.
Буревестников черные крылья
Раздвигали наши костры,
А любить мы у Блока учились,
Менестреля нашей поры.
Отвергая удел бесстрастных,
Присягали мы жить сполна...
Поколение несогласных,
Я осталась тебе верна.
1970

Панихида

Осень – время печали,
Догорает листва.
Так было – мы это знали –
Рядом с людьми умирали
Человечьи слова.
Ветер над мертвыми душами
Читал псалтырь,
И серых страниц задушенных
Росли пласты.
Бессильны, обречены,
Тлели на пепелище
Эти страницы, похищенные
У онемевшей страны.
Стерта с лица земли
Правда, живущая в слове...
Бабель, где ваша повесть,
которую унесли?
Веет осенним ладаном,
Тленьем дышит трава...
Заупокойным обрядом
Чту я у нас украденные,
Задушенные слова...
1971

Разговор с ветром

Бормотанье ночного ветра
В мое окно:
Неужели не все равно,
Где ты ляжешь горсточкой пепла?
Не кори меня, жесткий ветер,
Что хожу по твоей земле,
А черемуха мне милей
Всех пальм на свете.
И бывает горько порой
В уличном гаме
Тусклыми чужими словами
Говорить с детворой.
Улетела Жар-Птица прочь,
И не поймать ее...
Эмигрантка? Нет, просто дочь,
Разлученная с матерью.

Нью-Йорк

Пётр Потёмкин

Переход

1. «Опять кусты. Садись в кусты...»

Опять кусты. Садись в кусты,
Сиди, лови дыханье страха.
Поля замерзшие пусты,
Пусты, как роковая плаха.
Сегодня ночью переход...
Сверкнет ли нам звезда удачи?
Иль, может быть, топор невзгод
Решит иначе?
Поля пусты. Дрожат кусты
Под сиверком ноябрьской ночи,
И мысли, словно смерть, просты,
И думы молнии короче.
А там внизу, сапфирно-синь,
Тяжелой лентой, вольным лоном
Течет среди ночных пустынь
Днестр, нам представший Рубиконом.

2. «Тропинка тоненькой веревкой...»

Тропинка тоненькой веревкой
Мостится с кручи в глубину.
Одна ошибка – шаг неловкий –
И приведет она ко дну.
Но в ней спасенье. Иди же. Ну!
Ты впереди с ребенком нашим,
Я позади, как вьючный мул.
От горьких чаш всё к горшим чашам
Нас в эту бездну окунул
Контрабандистский караул.
Ты помнишь вишенью и камни,
И зыбкий мостик чрез ручей?
Сказала всё твоя рука мне
В тот миг кончавшихся страстей,
Где человек уже ничей.
Еще усилие – и берег,
Еще последний вздох – и лёд!
И сердце верит и не верит,
И ждет, и уж давно не ждет...
А вдруг она с ним не дойдет?
И страшно тем, что нету страха –
Все ужасом в душе сожгло.
Пусть вместо лодки будет плаха,
На ней топор, а не весло –
Ах, только бы перегребло!
И вот он, Днестр, закрытый в кручи,
Как ход огромного крота,
И первый лед, сырой, тягучий,
И ветра из-за каждого куста
Всешелестящие уста.
И лодки нет! И нет надежды,
И я один! И ты одна!
Но тихо открывает вежды
Ребенок, вспрянувший от сна...
Нет, мы перебежим, жена!

3. «Мы пришли по обмерзшей отмели...»

Мы пришли по обмерзшей отмели
В эту ночь, в последний раз,
Мы из чаши бедствий отпили
Слишком много, будет с нас.
Пусть челнок неверно выдолблен,
Пусть коварен ледоход.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fiло

Приговор судьбою вымолвлен,
Вспять река не потечет.
Облаками серебристыми
Ясный месяц запылен.
Кто наш челн причалит к пристани,
Одиссей или Харон?
4. «Шуршит ледок...»

Шуршит ледок,
А сердце бьется...
А вдруг челнок
Перевернется.
И берег нем,
А сердце бьется...
Не лучше ль тем,
Кто остается?
Ну, не смешно ль,
Как сердце бьется...
Утихла боль,
Тоска уймется.
Родная Русь,
как сердце бьется...
Когда вернусь
И все вернется?
1920

Кишинев – Прага

Двое

Он

1. «Мысленно жизнь потрогав...»

Мысленно жизнь потрогав,
Отдергиваюсь назад.
В прошлом – вапа[61] гробов,
В будущем – долгий ад.
Странное сердце бьется.
Подталкивает жить.
Значит, где-то вьется
Парками тонкая нить.
Пережитое забыто,
Сброшено с плеча,
А мой Пегас копытом
Еще не выбил ключа.
И от живого колодца
Не пил еще мой рот.
Странное сердце бьется,
Не умирает, – живет.
2. «Ну да, живу. По каплям дни...»

Ну да, живу. По каплям дни
Текут в бадью пустой надежды,
И нету праздничной одежды
Для тех, кто, как и мы, одни.
Есть солнце, но оно не наше,
Есть ветер, но не ласков он.
Один охрипший граммофон
Кудахчет, и, под хрип и стон,
Вся жизнь вокруг руками машет.
И место действия – Москва,
И время – девятьсот двадцатый.
Ах, если б о косяк проклятый
Хватиться насмерть головой!
3. «да, может быть, и грубо...»

да, может быть, и грубо
Всё есть, и есть, и есть,
Забыв, что в мире Люба
И кто-то третий есть.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (первая и вторая волна) В четырех книгах f10

да, может быть, и гадко
Бояться умереть,
И от других украдкой
Жевать сырую снедь.
Но сами ловят зубы,
Но сам хватает рот
И, пакостный и грубый,
жует, жует, жует.

4. «Скучных дней пустая суть...»

Скучных дней пустая суть
Тянется, как нить на спицах...
Лишь бы как-нибудь вздохнуть!
В небылицах иль в былицах –
Прежней жизнью отдохнуть.
Стерлась в черством сердце жалость,
К горлу хлынула комком,
Как безжалостна усталость...
Сердце только и осталось
В празднословии пустом.
Слово есть, и слова – нету.
Слава – дым, и, словно сон,
Бывших дней звенит по свету
Стертый в ходкую монету
Прежних кладов перезвон.
Она

1. «Надо! и мерзлых ведер легка вода...»

Надо! и мерзлых ведер легка вода.
Надо! и неги бедер нет и следа.
Трудно тащить из леса на гору кладь,
Трудно, разрушив Бога, его призвать.
Страшно душою тонкой оконечить.
Страшно желать ребенка и не посметь.
Сын мой, не смей родиться, не мысли быть.
Сын мой, я не жилица, а надо жить!
Нудной работой руки я извела,
Нудны глухие стуки добра и зла!
В сердце переместилось добро и зло.
Сердце когда-то билось, но умерло.

2. «И все же, муж мой...»

И все же, муж мой,
Пойми одно,
Что всё давно уж
Нам суждено.
Пою... и горю
Сжимаю рот.
Легко и строго
Мне от забот.
Когда-то пальцы
Я берегла,
Но в ливне – капель
Не счесть числа.
Столкнулись беды
В последний круг –
Но и на дыбе
Есть радость, друг.
3. «У судьбы слепой менялой...»

У судьбы слепой менялой,
Ростовщицей я была.
Поменялась царской залой
Я для темного угла.
Но, стирая руки стиркой
И картофелем гноя,
Необласканной и сирой
Для тебя не стала я.
<1923>

На леса забираюсь шажком, –
Давит плечи тяжелая ноша...
Трое нас, я, да дядя Пахом,
Да блаженный Антоша.
Вот ползем по лесам с кирпичом,
Гнутся спины у нас колесом,
Давит плечи тяжелая ноша.
По дощечкам-то зыбко ступать,
Гнутся, тяжести нашей боятся...
Эх, умеючи долго ль сорваться!
А сорвешься – костей не собрать.
Э, да нам ли о том вздыхать!
Э, да нам ли смерти бояться!
Все равно, однорядь помирать!
Ходишь, носишь до пятого поту,
Проберет – хоть в могилу ложись...
А как влезешь на самую высь,
Да как глянешь с орлиного лёту
На дымки, что к небу взвились,
На дома да на крыши без счету –
Позабудешь утому-заботу
И возьмешься опять за работу.
Больно даль-то она хороша, –
Купола, да кресты, да балконы...
Ветерок набежит, и, хоша
По лесам-то взойдешь, запыленный, –
Ясной осени воздух студень
Пьет из полной пригоршни душа –
И такой-то весь станешь ядреный.
<1923>

Эйфелева башня

Красит кисточка моя
Эйфелеву башню.
Вспомнил что-то нынче я
Родимую пашню.
Золотится в поле рожь,
Мух не оберешься.
И костей не соберешь,
Если оборвешься.
А за пашней синий лес,
А за лесом речка.
Возле Бога у небес
Крутится дощечка.
На дощечке я сижу,
Кисточкой играюсь.
Эх, кому я расскажу
И кому признаюсь.
1926

Яр

Не помню названья – уплыло,
Не помню я весь формуляр.
Да разве в названии сила?
Пускай называется: «Яр».
Ценитель развесистой клюквы,
Веселый парижский маляр,
Две странные русские буквы
На вывеске выписал: «Яр».
И может быть, думал, что это
Фамилия древних бояр,
Царивших когда-то и где-то, –
Две буквы, два символа: «Яр».
Окончил и слез со стремянки,
И с песней отправился в бар...
И тотчас досужие янки
Пришли и увидели: «Яр».

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fiло

И в новой пунцовой черкеске
Боярский потомок, швейцар,
В дверях отстранил занавески,
Чтоб янки вошли в этот «Яр».
И янки вошли и сидели,
И пили под звуки гитар,
И ярко горели и рдели
Две буквы на вывеске: «Яр».
Их грабили много и долго,
Но князь открывал им «Вайт-Стар» [62],
Но пела княгиня им «Волгу»,
И мил показался им «Яр».
Приятно всё вспомнить сначала,
В каком-нибудь там слиппинг-кар,
Как дама о муже рыдала
Расстрелянном, там, в этом «Яр».
Как, в рот запихавши кинжалы,
Как гончая, худ и поджар,
Какой-то забавнейший малый
Плясал в этом бешеном «Яр».
1926

Париж

Владислав Ходасевич

«Большие флаги над эстрадой...»

Большие флаги над эстрадой,
Сидят пожарные, трубя.
Закрой глаза и падай, падай,
Как навзничь – в самого себя.
День, раздраженный трубным ревом,
Небес раздвинутую синь
Заворожи единым словом,
Одним движеньем отодвинь.
И, закатив глаза под веки,
Движенье крови затая,
Вдохни минувший сумрак некий,
Утробный сумрак бытия.
Как всадник на горбах верблюда,
Назад в истоме откачнись,
Замри – или умри отсюда,
В давно забытое родись.
И с обновленною отрадой,
Как бы мираж в пустыне сей,
Увидишь флаги над эстрадой,
Услышишь трубы трубачей.
26 июня – 17 июля 1922

Рига – Берлин

У моря

1. «Лежу, ленивая амеба...»

Лежу, ленивая амеба,
Гляжу, прищуря левый глаз,
В эмалированное небо,
Как в опрокинувшийся таз.
Все тот же мир обыкновенный,
И утварь бедная все та ж.
Прибой размыленную пену
Взбегает на покатый пляж.
Белеют плоские купальни,
Смуглеет женское плечо.
Какой огромный умывальник!
Как солнце парит горячо!
Над раскаленными песками,
И не жива, и не мертва,
Торчит колючими пучками

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fiло

Белесоватая трава,
А по пескам, жарой измаян,
Средь здоровеющих людей
Неузнанный проходит Каин
С экземой между бровей.
15 августа 1922

2. «Сидит в табачных магазинах...»

Сидит в табачных магазинах,
Погряз в простом житье-бытье
И отражается в витринах
Широкопольым канотье.
Как муха на бумаге липкой,
Он в нашем времени дрожит
И даже вежливой улыбкой
Лицо нездешнее косит.
Он очень беден, но опрятен,
И перед выходом на пляж
Для выведенья разных пятен
Употребляет карандаш.
Он все забыл. Как мул с поклажей,
Слоняется по нашим дням,
Порой просматривает даже
Столбцы газетных телеграмм,
За кружкой пива созерцает,
Как пляшут барышни фокстрот, –
И разом вдруг ослабевает,
Как сердце в нем захолонет.
О чем? Забыл. Непостижимо,
Как можно жить в тоске такой!
Он вскакивает. Мимо, мимо,
Под ветер, на берег морской!
Кольшется его просторный
Пиджак – и, подавляя стон,
Под европейской ночью черной
Заламывает руки он.
2 сентября 1922

3. «Пустился в море с рыбаками...»

Пустился в море с рыбаками.
Весь день на палубе лежал,
Молчал – и желтыми зубами
Мундштук прокуренный кусал.
Качало. Было всё немило:
И ветер, и небес простор,
Где мачта шаткая чертила
Петлистый, правильный узор.
Под вечер буря налетела.
О, как скучал под бурей он,
Когда гремело, и свистело,
И застилало небосклон!
Увы! он слушал не впервые,
Как у изломанных снастей
Молились рыбаки Марии,
Заступнице, Звезде Морей!
И не впервые, не впервые
Он людям говорил из тьмы:
«Мария тут иль не Мария –
Не бойтесь, не потонем мы».
Под утро, дымкою повитый,
По усмирившимся волнам
Поплыл баркас полуразбитый
К родным песчаным берегам.
Встречали женщины толпою
Отцов, мужей и сыновей.
Он миновал их стороною,
Угрюмой поступью своей
Шел в гору, подставляя спину
Струям холодного дождя,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10
И на счастливую картину
Не обернулся, уходя.
9 декабря 1922 – 20 марта 1923

4. «Изломала, одолевает...»

Изломала, одолевает
Нестерпимая скука с утра.
Чью-то лодку море качает,
И кричит на песке детвора.
Примостился в кофейне где-то
И глядит на двух толстяков,
Обсуждающих за газетой
Расписание поездов.
Раскаленными брызгами брызжа,
Солнце крутится колесом.
Он хрипит сквозь зубы: «Уймись же!» –
И стучит сухим кулаком.
Опрокинул столик железный,
Опрокинул пиво свое.
Бесполезное – бесполезно:
Продолжается бытие.
Он пристал к бездомной собаке
И за ней слонялся весь день,
А под вечер в приморском мраке
Затерялся и пес, как тень.
Вот тогда-то и подхватило,
Одурманило, понесло,
Затуманило, закрутило,
Перекинуло, подняло:
Из-под ног земля убегает,
Глазам не видать ни зги –
Через горы и реки шагают
Семиверстные сапоги.
10 декабря 1922 – 19 марта 1923

«Гляжу на грубые ремесла...»

Гляжу на грубые ремесла,
Но знаю твердо: мы в раю..
Простой рыбак бросает весла
И ржавый якорь на скамью.
Потом с товарищем толкает
Ладью тяжелую с песков
И против солнца уплывает
Далеко на вечерний лов.
И там, куда смотреть нам больно,
Где плещут волны в небосклон,
Высокий парус трёхугольный
Легко разворачивает он.
Тогда встает в дали далекой
Розовоперое крыло.
Ты скажешь: ангел там высокий
Ступил на воды тяжело.
И неспешными стопами
Другие подошли к нему,
Шатая плавными крылами
Морскую дымчатую тьму.
Клубятся облака густые,
Дозором ангелы встают, –
И кто поверит, что простые
Там сети и ладьи плывут?
19–20 августа 1922

Берлинское

Что ж? От озноба и простуды –
Горячий грог или коньяк.
Здесь музыка, и звон посуды,
И лиловатый полумрак.
А там, за толстым и огромным

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

Отполированным стеклом,
Как бы в аквариуме темном,
В аквариуме голубом –
Многоочитые трамваи
Плывут между подводных лип,
Как электрические стаи
Светящихся лениво рыб.
И там, скользя в ночную гнилость,
На толще чуждого стекла
В вагонных окнах отразилась
Поверхность моего стола, –
И, проникая в жизнь чужую,
Вдруг с отвращеньем узнаю
Отрубленную, неживую,
Ночную голову мою.
14–24 сентября 1922

«Сквозь облака фабричной гари...»

Сквозь облака фабричной гари
Грозь костлявым кулаком,
Дрожит и злится пролетарий
Пред изворотливым врагом.
Толпою стражи ненадежной
Великолепье окружа,
Упрямый, но неосторожный,
Дрожит и злится буржуа.
Должно быть, не борьбою партий
В парламентах решится спор:
На европейской ветхой карте
Всё вновь перечертит раздор.
Но на растущую всечасно
Лавину небывалых бед
Невозмутимо и бесстрастно
Глядят: историк и поэт.
Людские войны и союзы,
Бывало, славили они;
Разочарованные музы
Припомнили им эти дни –
И ныне, гордые, составить
Два правила велели впредь:
Раз: победителей не славить.
Два: побежденных не жалеть.
4 октября 1922 – 11 февраля 1923

«С берлинской улицы...»

С берлинской улицы
Вверху луна видна.
В берлинских улицах
Людская тень длинна.
Дома – как демоны,
Между домами – мрак;
Шеренги демонов,
И между них – сквозняк.
Дневные помыслы,
Дневные души – прочь:
Дневные помыслы
Перешагнули в ночь.
Опустошенные,
На перекрестки тьмы,
Как ведьмы, по трое
Тогда выходим мы.
Нечеловечий дух,
Нечеловечья речь –
И песьи головы
Поверх сутулых плеч.
Зеленой точкою
Глядит луна из глаз,
Сухим неистовством
Обуревая нас.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

В асфальтном зеркале
Сухой и мутный блеск –
И электрический
Над волосами треск.
Октябрь 1922 – 24 февраля 1923

«Он не спит, он только забывает...»

Он не спит, он только забывает:
Вот какой несчастный человек.
Даже и усталость не смыкает
Этих воспаленных век.
Никогда ничто ему не снится:
На глаза всё тот же лезет мир,
Нестерпимо скучный, как больница,
Как пиджак, заношенный до дыр.
26 декабря 1922

«Жив Бог! Умен, а не заумен...»

Жив Бог! Умен, а не заумен,
Хожу среди своих стихов,
Как непоблаженный игумен
Среди смиренных чернецов.
Пасу послушливое стадо
Я процветающим жезлом.
Ключи таинственного сада
Звенят на поясе моем.
Я – чающий и говорящий.
Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий, –
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я – не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык:
Его суровую свободу,
Его извилистый закон...
О, если б мой предсмертный стон
Облечь в отчетливую оду!
4 февраля – 13 мая 1923

«Нет, не найду сегодня пищи я...»

Нет, не найду сегодня пищи я
Для утешительной мечты:
Одни шарманщики, да нищие,
Да дождь – всё с той же высоты.
Тускнеет в лужах электричество,
Нисходит предвечерний мрак
На идиотское количество
Серошестипалых собак.
Та – ткнется мордою нечистою
И, повернувшись, отбежит,
Другая лапою когтистую
Скрежет обшмыганный гранит.
Те – жиятся, присев на корточки,
Повесив на бок языки, –
А их из самой верхней форточки
Зовут хозяйские свистки.
Все высвистано, прособачено.
Вот так и шлепай по грязи,
Пока не вздрогнет сердце, схвачено
Внезапным треском жалюзи.
23 марта – 10 июня 1923

«Весенний лепет не разнежит...»

Весенний лепет не разнежит
Сурово стиснутых стихов.

Я люблю железный скрежет
Какофонических миров.
В зиянии разверстых гласных
Дышу легко и вольно я.
Мне чудится в толпе согласных –
Льдин взгроможденных толчея.
Мне мил – из оловянной тучи
Удар изломанной стрелы,
Люблю певучий и визгучий
Лязг электрической пилы.
И в этой жизни мне дороже
Всех гармонических красот –
Дрожь, побежавшая по коже,
Иль ужаса холодный пот.
Иль сон, где некогда единый, –
Взрываясь, разлетаюсь я,
Как грязь, разбрызганная шиной
По чуждым сферам бытия.
24–27 марта 1923

«Я родился в Москве. Я дыма...»

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.
России – пасынок, а Польше –
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше, –
И в них вся родина моя.
Вам – под ярмо ль подставить выю
Иль жить в изгнании, в тоске.
А я с собой свою Россию
В дорожном уношу мешке.
Вам нужен прах отчизны грубый,
А я где б ни был – шепчут мне
Арапские святые губы
О небывалой стороне.
25 апреля 1923

Дачное

Уродики, уродища, уроды
Весь день озерные мутили воды.
Теперь над озером ненастье, мрак,
В траве – лягушечий зеленый квак.
Огни на дачах гаснут понемногу,
Клубки червей полезли на дорогу,
А вдалеке, где всё затерла мгла,
Тупая граммофонная игла
Шатается по рытвинам царапин
И из трубы еще рычит Шаляпин.
На мокрый мир нисходит угомон...
Лишь кое-где, топча сырой газон,
Блудливые невесты с женихами
Слипаются, накрытые зонтами,
А к ним под юбки лазит с фонарем
Полуслепой, ширококоротый гном.
10 июня 1923 – 31 августа 1924

Под землей

Где пахнет черною карболкой
И провонявшею землей,
Стоит, склоняя профиль колкий
Пред изразцовой стеной.
Не отойдет, не обернется,
Лишь весь качается слегка,
Да как-то судорожно бьется
Потертый локоть сюртука.
Заходят школьники, солдаты,

Рабочий в блузе голубой, –
Он всё стоит, к стене прижатый
Своею дикою мечтой.
Здесь создает и разрушает
Он сладострастные миры,
А из соседней конуры
За ним старуха наблюдает.
Потом в открывшуюся дверь
Видны подушки, стулья, склянки.
Вошла – и слышатся теперь
Обрывки злобной перебранки.
Потом вонючая метла
Безумца гонит из угла.
И вот, из полутьмы глубокой
Старик сутулый, но высокий,
В таком почтенном сюртуке,
В когда-то модном котелке,
Идет по лестнице широкой,
Как тень Аида – в белый свет,
В берлинский день, в блестящий бред.
А солнце ясно, небо сине,
А сверху синяя пустыня...
И злость, и скорбь моя кипит,
И трость моя в чужой гранит
Неумолкаемо стучит.
21 сентября 1923

«Всё каменное. В каменный пролет...»

Всё каменное. В каменный пролет
Уходит ночь. В подъездах, у ворот –
Как изваянья – слипшиеся пары.
И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары.
Бренчит о камень ключ, гремит засов.
Ходи по камню до пяти часов,
Жди: резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина –
И грубый день взойдет из-за домов
Над мачехой российских городов.
23 сентября 1923

«Как совладать с судьбою-дурой?..»

Как совладать с судьбою-дурой?
Заладила свое – хоть плачь.
Сосредоточенный и хмурый,
Смычком орудует скрипач.
А скрипочка поет и свищет
Своим приятным голоском.
И сам Господь с нее не взыщет –
Ей всё на свете нипочем.
4 апреля 1924

Окна во двор

Несчастный дурак в колодце двора
Причитает сегодня с утра,
И лишнего нет у меня башмака,
Чтобы бросить его в дурака.
* * *

Кастрюли, тарелки, пьянино гремят,
Баюкают няньки крикливых ребят.
С улыбкой сидит у окошка глухой,
Зачарован своей тишиной.
* * *

Курносый актер перед пыльным трюмо
Целует портреты и пишет письмо, –
И, честно гонясь за правдивой игрой,
В шестнадцатый раз умирает герой.

* * *

Отец уж надел котелок и пальто,
Но вернулся, бледный как труп:
«Сейчас же отшлепать мальчишку за то,
Что не любит луковый суп!»
* * *

Небритый старик, отодвинув кровать,
Забивает старательно гвоздь,
Но сегодня успеет ему помешать
Идущий по лестнице гость.
* * *

Рабочий лежит на постели в цветах.
Очки на столе, медяки на глазах.
Подвязана челюсть, к ладони ладонь.
Сегодня в лед, а завтра в огонь.
* * *

Что верно, то верно! Нельзя же силком
Девчонку тащить на кровать!
Ей нужно сначала стихи почитать,
Потом угостить вином..
* * *

Вода запищала в стене глубоко:
Должно быть, по трубам бежать нелегко,
Всегда в тесноте и всегда в темноте,
В такой темноте и в такой тесноте!
... ..

16–21 мая 1924

Перед зеркалом

Nei mezzo del cammin di nostra vita.
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, –
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?
Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, –
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?
Впрочем – так и всегда на середине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины – к причине,
А глядишь – заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Вергилия нет за плечами, –
Только есть одиночество – в раме
Говорящего правду стекла.
18–23 июля 1924

«Пока душа в порыве юном...»

Пока душа в порыве юном,
Ее безгрешно обнажи,
Бесстрашно вверх болтливым струнам
Ее святые мятежи.
Будь нетерпим и ненавистен,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

Провозглашая и трубя
Завоеванья новых истин, –
Они ведь новы для тебя.
Потом, когда в своем наитье
Разочаруешься слегка,
Воспой простое чаепитье,
Пыльцу на крыльях мотылька.
Твори уверенно и стройно,
Слова послушливые гни
И мир, обдуманый спокойно,
Благослови иль прокляни.
А под конец узнай, как чудно
Всё вдруг по-новому понять,
Как упоительно и трудно,
Привыкши к слову, – замолчать.
22 августа 1924

Соррентинские фотографии

Воспоминанье прихотливо

И непослушливо. Оно –

Как узловатая олива:

Никак, ничем не стеснено.

Свои причудливые ветви

Узлами диких соответствий

Нерасторжимо заплетет –

И так живет, и так растет.

Порой фотограф-ротозей

Забудет снимкам счет и пленкам

И снимет парочку друзей,

На Капри, с беленьким козленком, –

И тут же, пленки не сменив,

Запечатлеет он залив

За пароходную кормю

И закопченную трубу

С космою дымною на лбу.

Так сделал нынешней зимою

Один приятель мой. Пред ним

Смешались воды, люди, дым

На негативе помутнелом.

Его знакомый легким телом

Полупрозрачно заслонял

Черты скалистых исполинов,

А козлик, ноги в небо вскинув,

Везувий рожками бодал...

Хоть я и не люблю козляток
(Ни итальянских пикников) –
Двух совместившихся миров
Мне полюбился отпечаток:
В себе виденья затая,
Так протекает жизнь моя.

Я вижу скалы и агавы,
А в них, сквозь них и между них –
Домишко низкий и плюгавый,
Обитель прачек и портных.
И как ни отвожу я взора,
Он всё маячит предо мной,
Как бы сползая с косогора
Над мутною Москвой-рекой.
И на зеленый, величавый
Амальфитанский перевал
Он жалкой тенью набежал,
Стопою нищенскою стал
На пласт окаменелой лавы.

Раскрыта дверь в полуподвал,
И в сокрушении глубоком
Четыре прачки, полубоком,
Выносят из сеней во двор
На полотенцах гроб дощатый,
В гробу – Савельев, полотер.
На нем – потертый, полосатый
Пиджак. Икона на груди
Под бородою рыжеватой.
«Ну, Ольга, полно. Выходи».
И Ольга, прачка, за перила
Хватаясь крепкою рукой,
Выходит. И заголосила.
И тронулись под женский вой
Неспешно со двора долой.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fi1o
И сквозь колючие агавы

Они выходят из ворот,
И полотера лоб курчавый
В лазурном воздухе плывет.
И, от мечты не отрываясь,
Я сам, в оливковом саду,
За смутным шествием иду,
О чуждый камень спотыкаясь.

Мотоциклетка стрекотнула
И сорвалась. Затрепетал
Прожектор по уступам скал,
И отзвук рокота и гула
За нами следом побежал.
Сорренто спит в сырых громадах.
Мы шумно ворвались туда
И стали. Слышно, как вода
В далеких плещет водопадах.
В страстную пятницу всегда
На глаз заметно мир пустеет,
Айдесский, древний ветер веет,
И ущербляется луна.
Сегодня в облаках она.
Тускнеют улицы сырые.
Одна ночная остерия
Огнями желтыми горит.

Ее взлохмаченный хозяин,
Облокотившись, полуспит.
А между тем уже с окраин
Глухое пение летит;
И озаряется свечами
Кривая улица вдали;
Как черный парус, меж домами
Большое знамя пронесли
С тяжеловесными кистями;
И, чтобы видеть не могли

Воочию всю ту седмицу,
Пронесят плеть и багряницу,
Терновый скорченный венок,
Гвоздей заржавленных пучок,
И лестницу, и молоток.

Но пенье ближе и слышнее.
Толпа колышется, чернея,
А над толпою лишь Она,
Кольцом огней озарена,
В шелках и розах утопая,
С недвижной благостью в лице,
В недостижимом венце,
Плывет, высокая, прямая,
Ладонь к ладони прижимая,
И держит ручкой восковой
Для слез платочек кружевной.

Но жалкою людскою дрожью
Не дрогнут ясные черты.
Не оттого ль к Ее подножью
Летят молитвы и мечты,
Любви кощунственные розы
И от великой полноты –
Сладчайшие людские слезы?
К порогу вышел своему
Седой хозяин остерии.
Он улыбается Марии.
Мария! улыбнись ему!

Но мимо: уж она в соборе
В снопах огней, в гремящем хоре.
Над поредевшей толпой
Порхает отсвет голубой.
Яснее проступают лица,
Как бы напудрены зарей.
Над островерхой горой

* * *

Мотоциклетка под скалой
Летит извилистым полетом,
И с каждым новым поворотом
Залив просторней предо мной.
Горя зарей и ветром вея,
Он всё волшебней, всё живее.
Когда несемся мы правее,
Бегут налево берега,
Мы повернем – и величаво
Их позлащенная дуга
Начнет разворачиваться вправо.
В тумане Прочида лежит,
Везувий к северу дымит.
Запятнан площадною славой,
Он всё торжествен и велик
В своей хламиде темно-ржавой,
Сто раз прожженной и дырявой.
Но вот – румяный луч проник
Сквозь отдаленные туманы.
Встает Неаполь из паров,
И заиграл огонь стеклянный
Береговых его домов.

Я вижу светлые просторы,
Плывут сады, поляны, горы,
А в них, сквозь них и между них –
Опять, как на неверном снимке,
Весь в очертаниях сквозных,
как был тогда, в студеной дымке,
В ноябрьской утренней заре,
На восьмигранном острие
Золотокрылый ангел розов
И неподвижен – а над ним
Вороньи стаи, дым морозов,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10
Давно рассеявшийся дым.

И, отражен кастеллармарской
Зеленоватою волной,
Огромный страж России царской
Вниз опрокинут головой.
Так отражался он Невой,
Зловещий, огненный и мрачный,
Таким явился предо мной –
Ошибка пленки неудачной.

Воспоминанье прихотливо.
Как сновидение – оно
Как будто вещей правдой живо,
Но так же дико и темно
И так же, вероятно, лживо..
Среди каких утрат, забот,
И после скольких эпитафий,
Теперь, воздушная, всплывет
И что закроет в свой черед
Тень соррентинских фотографий?

5 марта 1925 – 26 февраля 1926

Баллада

Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема.
Мне лиру ангел подает,
Мне мир прозрачен, как стекло, –
А он сейчас разинет рот
Пред идиотствами Шарло.
За что свой незаметный век
Влачит в неравенстве таком
Беззлбный, смирный человек
С опустошенным рукавом?
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Безрукий прочь из синема
Идет по улице домой.
Ремянный бич я достаю
С протяжным окриком тогда
И ангелов наотмашь бью,
И ангелы сквозь провода
Взлетают в городскую высь.
Так с венеетийских площадей
Пугливо голуби неслись
От ног возлюбленной моей.
Тогда, прилично шляпу сняв,
К безрукому я подхожу,
Тихонько трогаю рукав
И речь такую завожу:

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

«Pardon, monsieur, когда в аду
За жизнь надменную мою
Я казнь достойную найду,
А вы с супругою в раю
Спокойно будете витать,
Юдоль земную созерцать,
Напевы дивные внимать,
Крылами белыми сиять, –
Тогда с прохладнейших высот
Мне сбросьте перышко одно:
Пускай снежинкой упадет
На грудь спаленную оно».
Стоит безрукий предо мной
И улыбается слегка,
И удаляется с женой,
Не приподнявши котелка.
Июнь – 17 августа 1925

Из дневника

должно быть, жизнь и хороша,
Да что поймешь ты в ней, спеша
Между купелию и моргом,
Когда мытарится душа
То отвращением, то восторгом?
Непостижимостей свинец
Всё толще над мечтой понурой, –
Вот и дуреешь наконец,
Как любознательный кузнец
Над просветительной брошюрой.
Пора не быть, а пребывать,
Пора не бодрствовать, а спать,
Как спит зародыш крутолобий,
И мягкой вечностью опять
Обволокнувшись, как утробой.
1–2 сентября 1925

Звезды

Вверху – грошовый дом свиданий.
Внизу – в грошовом «Казино»
Расселись зрители. Темно.
Пора щипков и ожиданий.
Тот захихикал, тот зевнул...
Но неудачник облыселый
Высоко палочкой взмахнул.
Открылись темные пределы,
И вот – сквозь дым табачных туч –
Прожектора зеленый луч
На авансцене, в полумраке,
Раскрыв золотозубый рот,
Румяный хахаль в шапокле
О звездах песенку поет.
И под двуспальные напевы
На полинялый небосвод
Ведут сомнительные девы
Свой непотребный хоровод.
Сквозь облака, по сферам райским
(Улыбочки туда-сюда)
С каким-то веером китайским
Плывет Полярная Звезда.
За ней вприпрыжку поспешая,
Та пожирней, та похудей,
Семь звезд – Медведица Большая –
Трясут четырнадцать грудей.
И, до последнего раздета,
Горя брильянтовой косой,
Вдруг жидколягая комета
Выносится перед толпой.
Глядят солдаты и портные
На рассусаленный сумбур,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fillo

Играют сгустки жировые
На бедрах Etoile d'amour[63],
Несутся звезды в пляске, в тряске,
Звучит оркестр, поет дурак,
Летят алмазные подвязки
Из мрака в свет, из света в мрак.
И заходя в дыру всё ту же,
И восходя на небосклон, –
Так вот в какой постыдной луже
Твой День четвертый отражен!..
Не легкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.
23 сентября – 19 октября 1925

Петербург

Напастям жалким и однообразным
Там предавались до потери сил.
Один лишь я полуживым соблазном
Средь озабоченных ходил.
Смотрели на меня – и забывали
Клокочущие чайники свои;
На печках валенки сгорали;
Все слушали стихи мои.
А мне тогда в тьме гробовой, российской,
Являлась вестница в цветах,
И лад открылся музыкийский
Мне в сногшибательных ветрах.
И я безумел от видений,
Когда чрез ледяной канал,
Скользя с обломанных ступеней,
Треску зловонную таскал.
И, каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.
12 декабря 1925

Дактили

1

Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,
Бруни его обучал мягкою кистью водить.
Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись,
В летнем пальтишке зимой перебегал он Неву.
А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник,
Много он там расписал польских и русских церквей.

2

Был мой отец шестипалым. Такими рождаются счастливыцы.
Там, где груши стоят подле зеленой межи,
Там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит,
В бедной, бедной семье встретил он счастье свое.
В детстве я видел в комодке фату и туфельки мамы.
Мама! Молитва, любовь, верность и смерть – это ты!

3

Был мой отец шестипалым. Бывало, в «сороку-ворону»
Станем играть вечерком, сев на любимый диван.
Вот на отцовской руке старательно я загибаю
Пальцы один за другим – пять. А шестой – это я.
Шестеро было детей. И вправду: он тяжелой работой
Тех пятерых прокормил – только меня не успел.

4

Был мой отец шестипалым. Как маленький лишний мизинец
Прятать он ловко умел в левой зажатой руке,
Так и в душе навсегда затаил незаметно, подспудно
Страница 107

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Память о прошлом своем, скорбь о святом ремесле.

Ставши купцом по нужде – никогда ни намеком, ни словом

Не поминал, не роптал. Только любил помолчать.

5

Был мой отец шестипалым. В сухой и красивой ладони
Сколько он красок и черт спрятал, зажал, затаил?
Мир созерцает художник – и судит, и дерзкою волей,
Демонской волей творца – свой созидает, иной.
Он же очи смежил, муштабель и кисти оставил,
Не созидал, не судил... Трудный и сладкий удел!

6

Был мой отец шестипалым. А сын? Ни смиренного сердца,
Ни многодетной семьи, ни шестипалой руки
Не унаследовал он. Как игрок на неверную карту,
Ставит на слово, на звук – душу свою и судьбу...
Ныне, в январскую ночь, во хмелю, шестипалым размером
И шестипалой строфой сын поминает отца.
январь 1927 – 3 марта 1928

«Сквозь ненастный зимний денек...»

Сквозь ненастный зимний денек –
У него сундук, у нее мешок –
По паркету парижских луж
Ковыляют жена и муж.
Я за ними долго шагал,
И пришли они на вокзал.
Жена молчала, и муж молчал.
И о чем говорить, мой друг?
У нее мешок, у него сундук...
С каблуком топотал каблук.
январь 1927

Ночь

Измученные ангелы мои!
Сопутники в большом и малом!
Сквозь дождь и мрак, по дьявольским кварталам
Я загонял вас. Вот они,
Мои вертепы и трущобы!
О, я не знаю устали, когда
Схожу, никем не знаемый, сюда,
В теснины мерзости и злобы.
Когда в душе всё чистое мертво,
Здесь, где разит скотством и тленьем,
Живит меня заклятым вдохновеньем
Дыханье века моего.
Я здесь учусь ужасному веселью:
Постылый звук тех песен обретать,
Которых никогда и никакая мать
Не пропоет над колыбелью.
11 октября 1927

Памятник

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершённое так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.
В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...
28 января 1928

я

Когда меня пред Божий суд
На черных дорогах повезут,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Смутятся нищие сердца
При виде моего лица.
Оно их тайно восхитит
И страх завистливый родит.
Отстав от шествия тайком,
Воображаясь мертвецом,
Тогда пред стеклами витрин
Из вас, быть может, не один
Украдкой так же сложит рот,
И нос тихонько задерет,
И глаз полуприщурит свой,
Чтоб видеть, как закрыт другой.
Но свет (иль сумрак?) тайный тот
На чудака не снизойдет.
Не отразит румяный лик,
Чем я ужасен и велик:
Ни почивающих теней
На вещи бледности моей,
Ни беспощадного огня,
Который уж лизнул меня.
Последнюю мою приметку
Чужому не отдам лицу...
Не подражайте ж мертвецу,
Как подражаете поэту.
10–11 мая 1928

«Не ямбом ли четырехстопным...»

Не ямбом ли четырехстопным,
Заветным ямбом, допотопным?
О чем, как не о нем самом –
О благодатном ямбе том?
С высот надзвездной Музикии
К нам ангелами занесен,
Он крепче всех твердынь России,
Славнее всех ее знамен.
Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук Хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.
В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала.
С тех пор в разнообразье строгом,
Как оный славный «Водопад»,
По четырем его порогам
Стихи российские кипят.
И чем сильнее спадают с кручи,
Тем пенистой водоворот,
Тем сокровенней лад певучий
И выше светлых брызгов злет –
Тех брызгов, где, как сон, повисла,
Сияя счастьем высоты,
Играя переливом смысла, –
Живая радуга мечты.
* * *

Таинственна его природа,
В нем спит спондей, поет пэон,
Ему один закон – свобода.
В его свободе есть закон...

<1938>

Игорь Северянин

По грибы – по ягоды

Мы шли от ягоды к ягоде
И от гриба к грибу
На дальнюю мельницу,
В приветливую избу.
В лесу бежала извивная
Порожистая река.
Дрожала в руке узывная
Талантливая рука.
И чувства чуть поздноватые
В груди чертили свой знак:
И щеки продолговатые
Твои алели, как мак.
И выпуклости бронзотелые
Чуть бились под блузкой твоей.
И косы твои параллельные
Спадали вблизи ушей.
И очи твои изумрудные
Вонзали в мои свою сталь,
Скрывая за ней запрудную
Безудержную печаль.
Даря поцелуи короткие, –
Как молния их лезвиё! –
Бросала ты строки четкие
Свои – о себе, про свое...
В них было так много лирики,
Была она так резка...
Смотрел, как тают пузырьки
В ключе на опушке леска.
Смотрел, как играет с мушкой,
Выпрыгивая на мель,
Быв в то же время игрушкой
Сама для меня – форель...
Мы ели чернику черную,
Фиолевый гоноболь,
Срывали траву узорную
И сладкую знали боль...
Погода стояла дивная,
Чуть перились облака,
А рядом, как ты, узывная,
Стремглавно неслась река.
1920

Узор по канве

По отвесному берегу моря маленькой Эстии,
Вдоль рябины, нагроздившей горьковатый коралл,
Где поющие девушки нежно взор заневестили,
Чья душа целомудренней, чем берёзья кора,
По аллее, раскинутой над черной смородиной,
Чем подгорье окустено вплоть до самой воды,
Мы проходим дорогою, что не раз нами пройдена,
И всё ищем висячие кружевные сады...
И всё строим воздушные невозможные замки
И за синими птицами неустанно бежим,
Между тем как поблизости – ласточки те же самые,
Что и прошлый раз реяли, пеночки и стрижи.
Нет, на птицу на синюю не похожа ты, ласточка,
На палаццо надземное не похожа изба.
Дай рябины мне кисточку, ненаглядная Эсточка,
Ту, что ветер проказливо и шутя колебал...
Если в жизни нет девушек, кто глаза заневестили,
А бабища развратная без лица и без глаз,
Пусть возникнет огромное в этой маленькой Эстии:
Ведь у нас гениальная чудотворка – игла!
1923

Что шепчет парк...

О каждом новом свежем пне,
О ветви, сломанной бесцельно,

Тоскую я душой смертельно.
И так трагично-больно мне.
Редеет парк, редеет глушь,
Редеют ёловые кущи...
Он был когда-то леса гуще,
И в зеркалах осенних луж
Он отражался исполином...
Но вот пришли на двух ногах
Животные – и по долинам
Топор разнес свой гулкий взмах.
Я слышу, как, внимая гуду
Убийственного топора,
Парк шепчет: «Вскоре я не буду...
Но я ведь жил – была пора...»
1923

Классические розы

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
1843 г. Мятлев
В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!
Прошли лета, и всюду льются слезы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!
Но дни идут – уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!
1925

Стихи Москве

Мой взор мечтанья оросили:
Вновь – там, за башнями Кремля, –
Неподражаемой России
Незаменимая земля.
В ней и убогое богато,
Полны значенья пустычки:
Княгиня старая с Арбата
Читает фета сквозь очки...
А вот к уютной церквушке
Подъехав в щегольском «купэ»,
Кокотка оделяет кружки,
Своя в тоскующей толпе...
И ты, вечерняя прогулка
На тройке вдоль Москва-реки!
Гранитного ли переулка
Радушные особняки...
И там, в одном из них, где стайка
Мечтаний замедляет лёт,
Московским солнышком хозяйка
Растапливает «невский лед»...
Мечты! вы – странницы босые,
Идущие через поля, –
Неповергаемой России
Неизменяемая земля!
1925

Серебряная соната

Я стою у окна в серебреющее повечерье
И смотрю из него на использованные поля,
Где солома от убранной ржи ошетишила перья
И насторожилась заморозками пустая земля.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
Ничего! – ни от вас, лепестки белых яблонек детства,
Ни от вас, кружевные гондолы утонченных чувств..
Я растратил свой дар – мне врученное Богом наследство, –
Обнищал, приутих и душою расхищенной пуст..
И весь вечер – без слов, без надежд, без мечты, без желаний,
Машинально смотря, как выходит из моря луна
И блуждает мой друг по октябрьской мерзлой поляне,
Тщетно силясь в тоске мне помочь, – я стою у окна.
1925

Там у вас на Земле...

На планете Земле, – для ее населения обширной,
Но такой небольшой созерцающим Землю извне, –
Где нет места душе благородной, глубокой и мирной,
Не нашедшей улады в разврате, наживе, войне;
На планете Земле, помешавшейся от самомнения
И считающей все остальные планеты ничем,
Потому что на ней – этом призрачном перле творенья –
Если верить легенде, был создан когда-то Эдем;
Где был распят Христос, жизнь отдавший за атом вселенной,
Где любовь, налетая, скорбит на отвесной скале
В ужасе пред людьми – там, на вашей планете презренной,
Каково быть поэтом на вашей жестокой Земле?!
1926

В забыты

В белой лодке с синими бортами
В забыты чарующих озер
Я весь день наедине с мечтами,
Неуловленной строфой пронзен.
Поплавок, готовый кануть в воду,
Надо мной часами ворожит.
Ах, чего бы только я не отдал,
Чтобы так текла и дальше жизнь!
Чтобы загорались вновь и гасли
Краски неба, строфы в голове..
Говоря по совести, я счастлив,
Как изверившийся человек.
Я постиг тщету за эти годы.
Что осталось, знать желаешь ты?
Поплавок, готовый кануть в воду,
И стихи – в бездонность пустоты..
Ничего здесь никому не нужно,
Потому что ничего и нет
В жизни, перед смертью безоружной,
Протекающей как бы во сне..
1926

Все они говорят об одном

С. В. Рахманинову
Соловьи монастырского сада,
Как и все на земле соловьи,
Говорят, что одна есть отрада
И что эта отрада – в любви..
И цветы монастырского луга
С лаской, свойственной только цветам,
Говорят, что одна есть заслуга:
Прикоснуться к любимым устам..
Монастырского леса озера,
Переполненные голубым,
Говорят, нет лазурнее взора,
Как у тех, кто влюблен и любим.
1927

Таймень

Ночью выплыла из Байкала
И, поближе держась к кайме

Нижних скал (не меня ль искала?),
Ангарю пошла таймень.
К ледовитому океану
В неприснившиеся края
Увлекла (это все по плану!)
Малахитовая струя.
Перерезала путь фаланге
Лодок с рыбой, плывущих в порт,
Посетила в пути Архангельск
И в Норвежский зашла фиорд.
Только – долго ли там, коротко ль, –
Много странного пережив,
Утомленная рыба кротко
Финский выискала залив.
И в ту речку, где я весною
Постоянно, она вплыла,
И ту удочку, что со мною
Неизменно, она нашла...
Там я выудил в предвесенний
Бодрый, солнечный, тихий день
В силу высших предназначений
Мне ниспосланную таймень.
1927

Орхидея

изменить бы! Кому? Ах, не все ли равно!
Предыдущему. Каждому. Ясно.
С кем? И это не важно. На свете одно
Изменяющееся прекрасно.
Одному отдаваясь, мечтать о другом –
Неиспробованном, невкушенном,
Незнакомом вчера, кто сегодня знаком
И прикинется завтра влюбленным..
Изменить – и во что бы ни стало, да так,
Чтоб почувствовать эту измену!
В этом скверного нет. Это только пустяк.
Точно новое платье надену.
И при этом возлюбленных так обмануть,
Ревность так усыпить в них умело,
Чтобы косо они не посмели взглянуть, –
Я же прямо в глаза бы посмела!
Наглость, холод и ложь – в этом сущность моя.
На страданья ответом мой хохот.
Я красива, скользка и подла, как змея,
И бездушно суха, как эпоха.
1928

Озеро Конзо

На озере Конзо, большом и красивом,
Я в лодке врываю в расплавленный зной.
За полем вдали монастырь над обрывом,
И с берега солнечной пахнет сосной.
Безлюдье вокруг. Все объято покоем.
Болото и поле. Леса и вода.
Стрекозы лазурным проносятся строем.
И ночи – как миги, и дни – как года.
К столбам подплываю, что вбиты издревле
В песчаное, гравием крытое дно.
Привязываюсь и мечтательно внемлю
Тому, что удильщику только дано:
Громадные окуни в столбики лбами
Стучат, любопытные, лодку трясая,
И шейку от рака хватают губами:
Вот всосан кусочек, а вот уж и вся.
Прозрачна вода. Я отчетливо вижу,
Как, шейку всосав, окунь хочет уйти.
Но быстрой подсечкой, склоняясь все ниже,
Его останавливаю на пути.
И взвертится окунь большими кругами,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

Под лодку бросаюсь, весь – пыл и борьба,
Победу почувствовавшими руками
Я к борту его, и он штиль всколебал...
Он – в лодке. Он бьется. Глаза в изумленья.
Рот судорожно раскрывается: он
Все ищет воды. В золотом отдалении
Укором церковный тревожится звон...
И солнце садится. И веет прохлада.
И плещется рыбой вечерней вода.
И липы зовут монастырского сада,
Где ночи – как миги, и дни – как года...
1928

Тишь двоякая

Высокая стоит луна.
Высокие стоят морозы.
Далекие скрипят обозы.
И кажется, что нам слышна
Архангельская тишина.
Она слышна, – она видна:
В ней всхлипы клюквенной трясины,
В ней хрусты снежной парусины,
В ней тихих крыльев белизна –
Архангельская тишина...
1929

Народный суд

Я чувствую, близится судное время:
Бездушье мы духом своим победим,
И в сердце России под странами всеми
Народом народ будет грозно судим.
И спросят избранники – русские люди, –
У всех обвиняемых русских людей,
За что умертвили они в самосуде
Цвет яркой культуры отчизны своей.
Зачем православные Бога забыли,
Зачем шли на брата, рубя и разя...
И скажут они: мы обмануты были,
Мы верили в то, во что верить нельзя...
И судьбы умолкнут в печали любовной,
Проверив себя в неизбежный черед,
И спросят: «Но кто же зачинщик виновный?»
И будет ответ: «Виноват весь народ.
Он думал о счастье отчизны родимой,
Он шел на жестокость во имя любви»...
И судьи воскликнут: «Народ подсудимый!
Ты нам неподсуден. Мы братья твои!
Мы – часть твоя, пядь твоя, кровь твоя, грешный,
Наивный, стремящийся вечно вперед,
Взыскующий Бога в Европе кромешной,
Счастливый в несчастьи, великий народ!»
31 декабря 1929

Гимн вокзалу

Даже странно себе представить,
На кирпичный смотря забор,
Что, оставив плевков заставе,
Можно в черный умчаться бор.
В бор, где вереск, грибы да белки,
Воздух озера молодой
И ручьи, что чисты и мелки,
Влагой бьющие золотой.
Шеломящие мозг подводы
На бульжниках городских, –
Тишины моей антиподы, –
Боже, как я устал от них!
Город душу обрек страданью,
Город душу мою связал.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10
Потому нет прекрасней зданья
В каждом городе, чем вокзал!
1935

Грустный опыт

Я сделал опыт. Он печален.
Чужой останется чужим.
Пора домой; залив зеркален,
Идет весна к дверям моим.
Еще одна весна. Быть может,
Уже последняя. Ну что ж,
Она постичь душой поможет,
Чем дом покинутый хорош.
Имея свой, не строй другого.
Всегда довольствуйся одним.
Чужих освоить бестолково:
Чужой останется чужим.
1936

Медальоны

Вячеслав Иванов

По кормчим звездам плыл суровый бриг[64]
На поиски угаснувшей Эллады.
Во тьму вперял безжизненные взгляды
Сидевший у руля немой старик.
Ни хоры бурь, ни чаек скудный крик,
Ни стрекотанье ветреной цикады,
Ничто не принесло ему услады:
В своей мечте он навсегда поник.
В безумье тщетном обрести бывшее
Умершее, в живущем видя злое,
Препятствовавшее венчать венцом
Ему объявшие его химеры,
Бросая морю перлы в дар без меры,
Плыл рулевой, рожденный мертвецом.
1926

Гиппиус

Ее лорнет надменно-беспощаден,
Пронзительно-блестящ ее лорнет.
В ее устах равно проклятью «нет»
И «да» благословляюще, как складень.
Здесь творчество, которое не на день,
И женский здесь не дамствен кабинет...
Лью лесть ей в предназначенный сонет,
Как льют в фужер брожение виноградин
И если в лирике она слаба
(лишь издевательство – ее судьба!) –
В уменье видеть слабость нет ей равной.
Кровь скандинавская прозрачней льда,
И скован шторм на море навсегда
Ее поверхностью самодержавной.
1926

Бунин

В его стихах – веселая капель,
Откосы гор, блестящие слюдою,
И спетая березой молодую
Песнь солнышку. И вешних вод купель.
Прозрачен стих, как северный апрель.
То он бежит проточною водою,
То теплится студеною звездю,
В нем есть какой-то бодрый, трезвый хмель.
Уют усадеб в пору листопада.
Благая одиночества отрада.
Ружье. Собака. Серая Ока.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
Душа и воздух скованы в кристалле.
Камин. Вино. Перо из мягкой стали.
По отчужденной женщине тоска.
1925

Тэффи

С Иронии, презрительной звезды,
К земле слетела семенем сирени
И зацвела, фатой своих курений
Обволокнув умершие пруды.
Людские грезы, мысли и труды –
Шатучие в земном удушье тени –
Вдруг ожили в приливе дуновений
Цветов, заполонивших все сады.
О, в этом запахе инопланетном
Зачахнут в увяданье незаметном
Земная пошлость, глупость и грехи.
Сирень с Иронии, внеся расстройство
В жизнь, обнаружила благое свойство:
Отнять у жизни запах чепухи...
1925

Игорь-Северянин

Он тем хорош, что он совсем не то,
Что думает о нем толпа пустая,
Стихов принципиально не читая [65],
Раз нет в них ананасов и авто.
Фокстрот, кинематограф и лото –
Вот, вот куда людская мчится стая!
А между тем душа его простая,
Как день весны. Но это знает кто?
Благословляя мир, проклятье войнам
Он шлет в стихе, признания достойном,
Слегка скорбя, подчас слегка шутя
Над вечно первенствующей планетой..
Он – в каждой песне, им от сердца спетой, –
Иронизирующее дитя.
1926

Цветаева

Блондинка с папироскою, в зеленом,
Беспочвенных безбожников божок,
Гремит в стихах про волжский бережок,
О в персиянку Разине влюбленном.
Пред слушателем, мощью изумленным,
То барабана дробный говорок,
То друга дева, свой свершая срок,
Сопернице вручает умиленной.
То вдруг поэт, храня серьезный вид,
Таким задорным вздором удивит,
Что в даме – жар, и страха дрожь – во франте..
Какие там «свершенья» ни верши,
Мертвы стоячие часы души [66],
Не числящиеся в ее таланте..
1926

Георгий Иванов

Во дни военно-школьничьих погон
Уже он был двуликим и двуличным:
Большим льстецом и другом невеличным,
Коварный паж и верный эпигон.
Что значит бессердечному закон
Любви, пшютам несвойственный столичным,
Кому в душе казался всеприличным
Воспетый класса третьего вагон.
А если так – все ясно остальное.
Перо же, на котором вдосталь гноя,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
Обмокнута не в собственную кровь.
И жаждет чувств чужих, как рыбарь – клева;
Он выглядит «вполне под Гумилева»,
Что попадает в глаз, минуя бровь...
[67]

1926

Одоевцева

Все у нее прелестно – даже «ну»
Извозчичье, с чем несовместна прелесть...
Нежданнее, чем листопад в апреле,
Стих, в ней открывший жуткую жену...
Серпом небрежности я не сожну
Посево, что взошли на акварели...
Смущают иронические трели
Насторожившуюся вышину.
Прелестна дружба с жуткими котами[68], –
Что изредка к лицу неглупой даме, –
Кому в самом раю разрешено
Прогуливаться запросто, в побывку
Свою в раю вносящей тонкий привкус
Острот, каких эдему не дано...
1926

Владимир Ильяшенко

Обратный венок полусонетов

Посвящается Г. В. Голохвастову
и Д. А. Магула
I. «Там смерть всевластно разлита...»

Там смерть всевластно разлита,
Где чаша поздняя допита
И где не жаждут вновь уста.
Где замыкается орбита –
Обозначается черта,
И беспредельна пустота,
Где радость вешняя добита.
II. «Где радость вешняя добита...»

Где радость вешняя добита,
Очей не радуют цвета
Сапфиров и александрита...
Отважен стойкий шаг гоплита[69],
Но под ударами хлыста
И шаг раба и шаг скота
Ползет бессильно, как улита.
III. «Ползет бессильно, как улита...»

Ползет бессильно, как улита,
За ночью день – одна чета:
Так зерна падают из сита...
А что была за острота
В бескрайних грезах неопита!
Как отблеск тусклого нефрита
Теперь – последняя мечта.
IV. «Теперь последняя мечта...»

Теперь последняя мечта
Темнее тайн последних крита
И беспросветна темнота.
Верна догадка Гераклита:
Никем извечная тщета
Была еще не понята,
Как ею жизнь была повита.
V. «Как ею жизнь была повита...»

Как ею жизнь была повита,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fi1o

Как безгранична суета,
Знал Соломон, а Суламита,
Любви бездумной простота,
Пленялась блеском хризолита
И нежной гладью малахита:
Везде – такая красота!
VI. «Везде такая красота...»

Везде такая красота,
Что старцы мудрые синклита
Движенье Божьего перста
Провидят в трещине гранита:
Закреты к истине врата,
Но краска с Божьего холста
В моих полях была разлита!
VII. «В моих полях была разлита...»

В моих полях была разлита
И благодать и пестрота
Теплей отливов аксамита,
Но яркость их теперь не та:
Где жизнь, как полный день, отжита
И где не разлита амрита,
Там смерть всевластно разлита.
[70]

Магистрал

В моих полях была разлита
Везде такая красота...
Как ею жизнь была повита!
Теперь последняя мечта
Ползет бессильно, как улита:
Где радость вешняя добыта,
Там смерть всевластно разлита.
15 апреля 1945

Рио-де-Жанейро

Малороссия

Даль степная неоглядна!
На пригорке – ветряки,
У речонки сохнут рядна
И цветные рушники.
Неказиста хаты дверца.
С огородных сорван гряд,
Вон стручков зеленых перца
Под кривой застрехой ряд.
На дивчиноньке – намисто,
Тяжелы в нем дукачи.
Стол готов и прибран чисто:
«Гречаныки у печи...»
Вышиванье

Черный индийский узор,
Шорох шуршащего шелка.
Тешит внимательный взор
Черный индийский узор.
Как наяву до сих пор:
Нитки, наперсток, иголка,
Черный индийский узор,
Шорох шуршащего шелка.
Равенна

La dolce morta [71]
У этих стен, добычею вражды,
Ложились воинов несметные ряды,
И варваров нестройные орды
Сражала римская когорта.
Былых побед отмечены следы,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Но обронила их плоды
Равенна тихая – la dolce morta.
«Отцветает все, пышно цветущее...»

Отцветает все, пышно цветущее,
Угасает все, ярко горящее,
Умолкает все, громко зовущее, –
Но с тобою, провидя Грядущее,
Прозреваю я в нем Настоящее.
«Сохрани, Господь, средь лукавящих...»

Сохрани, Господь, средь лукавящих,
Всех, навек тобой обрекаемых
На позор надежд отвергаемых
Скорбный жребий свой сердцем славящих,
Слово Истины право правящих...
«Там, на Млечном Пути, нет стремленью преград...»

Там, на Млечном Пути, нет стремленью преград,
Там не надо брести шаг вперед, шаг назад:
От живых, не скорбя, приготавлиюсь уйти,
Чтобы встретить тебя там – на Млечном Пути.
У камина

Я. И. Вендзягольской
Светло: огонь от дров все выше...
Тепло здесь в старом кунтуше.
Вверху же дым скользит по крыше,
Как вихри злобы – по душе.
Уют внутри, снаружи – стужа.
Казалось: днем нет места лжи,
Но тьма пришла, нам обнаружа,
Что мы – у вражеской межи,
Что мы, как жуткий призрак дома,
Которым властвует зима,
Что нам и ненависть знакома,
И нежность райская сама!
20 июля 1945

Рио-де-Жанейро

За пределами

Переполнена чаша, склонились весы:
Жить осталось не годы, быть может – часы.
И нащупан ногой самый жуткий порог,
За которым ничто или что? Или – Бог?
В двадцать пять, в пятьдесят или в семьдесят лет
На зловещий вопрос недоступен ответ,
Но бессмертному чувству возможно найти
В безысходном к исходу живые пути,
И любви неизбывной надежным ключом
К неизвестному дверь мы с тобой отомкнем,
И в огромном саду иль на темном пруду,
Где я прежней тебя никогда не найду,
Наши тени сольются в нездешнюю плоть,
Чтобы Время с Пространством навек побороть.
1965

Валентин Горянский

Неопалимая купина

Над нашей скорбью месяц плыл,
Холодных рек следил течение,
И блеск его во мраке был
Без тайны, смысла и значенья.
Над нашей нищетой зима
Гоняла буйные метели
И ужасалась сама
Тем песням, что метели пели.

Весною шумно падал дождь,
Струистый, легкий и прохладный,
Но не для наших вольных роц,
Родных берез ватаги жадной.
Бесчувственно звучала медь
Чиновно строгого собора,
Но сердце было не согреть
Нестройностью чужого хора.
И только черные стрижи
Вопят истошно на закате
В скупые наши этажи
Об искупленьи и расплате.
О восхитительной стране,
Всегда одной, ни с чем не схожей, –
Неопалимой купине,
Откуда глас раздастся Божий.
Санкт-Петербург

А. А. Плещееву
В те дни под громы многолетий
И колокольный перезвон
Император
Александр
Третий
Оберегал российский трон.
Над Гатчиной дымилась в славе
Одна заря, другой вослед,
И уж не думал о потраве
Пренебрежительный сосед.
Струилась рожь волной медовой,
Чтоб обрести благу часть:
В Санкт-Петербурге, на Садовой,
В подвалы золотом упасть.
Скрипели петли на воротах,
Мужицкой сметкою ведом,
Царь барыши считал на счетах
И пересчитывал потом.
В угрозу хищнику и вору
Дом возвышался на холму,
И был он в радость и в опору
И в гордость роду моему.
Я помню жар печных заслонок,
Стекло оконное во льде –
Россия грелась, как ребенок,
В горячей царской бороде.
Отцы счастливые и деды, –
Чья родина, как снежный прах,
Студенческие ваши пледы
Взвивались бодро на ветрах!
Вы шли великолепным Невским,
Вступая в юношеский спор,
С Некрасовым и Достоевским
При встрече скрещивали взор.
Блится иней в хладном свете,
Вот дробный топот конских ног,
То не Кшесинская ль в карете
К Чекетти едет на урок?
Отцы счастливые и деды,
Чья седина – как снежный прах, –
Какие тягости и беды
Подстерегали вас в ветрах!
Февраль семнадцатого

В этом метельном феврале,
С каждым гаданием новым
Выходили слезы о короле,
Прекрасном, молодом, бубновом.
И уже никто не мог
Перечесть королей домашних,
Закопанных у дорог
На изрытых боями пашнях.

И опять черная масть –
Злое воронье и галки –
Продолжали червы и бубны красть
У бедной русской гадалки.
Мерли голуби на Сенной,
У рядов унылых и праздных,
Даже шелухи овсяной
Не осталось от щедрот лабазных.
У немилосердных дверей,
В очереди у пекарен
Слушая ругань пекарей,
Первый появился барин.
Рос по хвостам гул,
Бабий, рабий и темный,
И ветер февральский дул
И мотался в тоске бездомной.
Поднимал вопли и плач,
Путал в метели крылья
И раскачивал золотой калач –
Памятник изобилья.
Заметал роковой след
От Юсупова на Малой Невке,
Но уже белого с синим нет,
Только красное цветет на древке.
Старухи из храма в храм
Ходили, чуткие к катастрофе:
У них уже не было по утрам
Ни кофе, ни сливок в кофе.
Во дворцах анфилады зал
Зябли в суровой стуже,
А ветер февральский лизал
Стены – жалея вчуже.
Уже швейцар с булавой
Не красовался в шитье парадном
И на перекрестке городской
Догадывался о неладном.
Смерть Жалости

Однажды умерла Жалость.
Ее одели и положили в гроб.
Сердце у многих сжалось,
И многие перекрестили лоб.
Большинство же вздохнуло вольно,
Ощувивши новую прыть.
Слава Богу, теперь не больно,
Больше нечем жалеть и любить.
Беспокоиться уже не надо,
Будет жизнь хороша.
Наконец-то достигла лада
Человеческая душа.
Все предусмотрено законом
И карающим Уложением.
Люди теснились по балконам,
Глядя на процессию с пренебреженьем.
С веселым злорадством глядя,
Тешилась людская горилла,
Огромнейшие животы глядя,
Взгроможденные на перила.
С неба падал зловещий свет,
В окнах поблескивая запотелых.
За колесницей двигались вслед
Толпы осиротелых.
Несли венки на щите
И плакали звонко
Беременные женщины, по нищете
Не имеющие права на ребенка.
Матери шли с детьми
В хаос дождевых волокон,
И подгоняли их, как плетьюми,
Насмешки из нарядных окон.
Стаи брошенных кошек и собак

Пестрели различной мастью:
Покойница как-никак
Была им заменой счастьем.
Пренебрегши полевой игрой,
Наслышась о детской злобе,
Бабочек легкий рой
Порхал над спящей в гробе.
Довольно светлых затей
Среди цветочного изобилья.
Теперь любой из детей
Оторвет им ножки и крылья.
На балконе женщина куталась в плед.
Дрожь потрясала тело.
Холодно сердцу, в сердце нет
Ничего, что бы нежно грело.
Лавочка сверчков

Для огорченных старичков,
Для всех, кому живется скучно,
Открою лавочку сверчков
И буду продавать поштучно...
Я долго их тренировал,
Насвистывал за старой печью,
Чтоб каждый пел из них и знал,
Вникая в душу человечью.
Чтоб тонко голосом владел
И в трели приобрел искусство,
И скромный полюбил удел –
Будить померкнувшие чувства.
Воспоминанья оживлять
И, спрятанную берегами,
На заводи тревожить гладь
Вдруг просиявшими кругами.
Ах, даже соловью с сучка
Такие не певать признанья,
Каким я выучил сверчка
За зимы долгие изгнанья.
Что – соловей? Всего лишь – май,
Всего лишь краткое влюбленье,
Всегда невозвращенный рай,
Печаль, тоска и сожаленье...
А мой сверчок – он домовит;
Певец семьи, вещей и крова,
Всего, чем жив мещанский быт,
Что крепко, честно и здорово...
Сверчка купите в декабре.
Он вам споет под голос вьюги
О звонкой тройке на дворе
И возвращении подруги.
Сочельник

Пред праздниками возится Европа,
Гусей с базара в дом торжественно несет,
Пыль выколачивает из салопа
И шубы старые внимательно трясет.
В осуществление хозяйских планов
Берется яростно за воск,
Чтоб старых кресел и диванов
Восстановить первоначальный лоск.
Любуется на милый свой закуток...
Как в годы прошлые, как в прошлые века,
Отмахиваясь от безбожных шуток
Свободомыслящего пошляка.
Им грош цена, знакомы эти шутки,
Раскрыт сундук под сладкий звон ключей...
Сегодня вечером порадуются внуки
Сверканью «золота» и елочных свечей.
Там в сундуке испытанные средства
Невинной прелести... Полузабытый вкус
Далекого рождественского детства,
Стеклянных шариков и многоцветных бус.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Хлопот по горло, возится старуха,
И вот уж сумерки набрасывает мгла,
И кафедральные волнительно для слуха
Ударили колокола.
Пусть праздник встретится в довольствии и благе!
Устала, старая, кончай!
Осталось только выполоскать флаги,
Запачканные красным невзначай...
Москва

Москва – блины, Москва – калач,
На два вершка в аршине мене,
Слеза вдовы, сиротский плач,
Прикинутые на безмене.
Церквей не счесть, а все грешна,
Издревле обиход заплечный,
Немилосердная мошна,
Рассол с похмелья огуречный.
Икона тяжкая в углу,
И тут же всероссийский нищий,
Простертый в страхе на полу,
Купцовы ловит голенища.
Словцо на «ерь» – «идет», «кует» [72],
Но до куска мясного лаком,
Москвич как липку «оберет»,
Обтешет и покроет лаком.
Не счесть петель Москва-реки,
С недалгим дном, поросшим тиной,
И замкнут мертвым тупиком
Московских улиц путь змеиный.
«Царь-колокол» – и не звонит,
«Царь-пушки» спесь и рот беззубый.
С морозу девичьих ланит
Румянец яростный и грубый.
И я, и он, и мы, как вы,
Москвой обиженных имеем.
И все же матери-Москвы
Мы имя грозное лелеем.
И верим – будет некий час –
Любви и нежности рожденье –
И мир увидит ясных глаз
Родительское снисхождение.
В той стране...

За горами, за реками,
В той стране, которой нет,
Люди злыми стариками
Появляются на свет.
Из далекой жизни прошлой
В мир несут они с собой
Холод сердца, опыт пошлый,
Тлен пещеры гробовой.
Старикам ничто не мило –
Взор потуплен, шаг не скор,
Поле сельское уныло
И докучлив птичий хор.
Добрый смех у них в запрете,
Им всего милей лучи
Безнадежно на рассвете
Догорающей свечи.
Время мчится год за годом,
День за днем друг другу вслед
Жизнь идет обратным ходом
В той стране, которой нет.
Жизнь течет обратным током,
И вернуться суждено
Всем ручьям к своим истокам,
Всем плодам в свое зерно.
Старость – в зрелость, зрелость – в младость,
В несказанный светлый рай,
В бессознательную радость,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fi10

В колыбельную «бай-бай».
За горами, за реками
В той стране, которой нет,
Люди злыми стариками
Появляются на свет.
Но в движении каскадном
Встречных весен будет миг,
Улыбнется пчелам жадным
Плотью крепнувший старик.
Так начнется. Год за годом
Потекут друг другу вслед.
Жизнь идет обратным ходом
В той стране, которой нет.
К песням, к сладости объятий
И блаженству впереди
Погрузится в сон дитятей
У родимой на груди.
Мать однажды встрепенется:
Где же сын? А он тайком
За окно. И вот уж вьется
В небе вольным мотыльком.
Завороженный край

В благоухающей когда-то,
В моей возлюбленной стране
Цветут цветы без аромата
И спят ручьи в недобром сне.
Журчанье их веселым звоном
Не прозвучит среди дубрав,
В успокоительно зеленом
Пленении бесшумных трав.
И нет пернатых... Птицелюбам
Не проводить в мечтаньях дни,
Не выжидать под старым дубом
Хлопка лукавой западни.
Мужик сойдет к реке с пригорка,
Но на разрушенный паром
Не выплеснется красноперка,
Гонясь за легким комаром.
Нет жизни в водах нетекучих...
Остановились времена...
И чертит лёт мышей летучих
Погибельные письмамена.
Зеленый город

Граждане, переедем в другой уезд,
Заселим неуклонно хутор за хутором,
Разве уже не осталось мест –
С акварельными облаками ранним утром?
Или город построим, Зеленых Крыш,
Вал высокий вокруг нароем.
Запретим от лица возлюбивших тишь
В этот город входить политикам и героям.
Надоел, надоел нам шумный плакат,
Пенящий мясо шрифтов красных;
Знаменитых имен безобразный скат
Задушил обыкновенных и совершенно частных.
Отграничимся от прославленных на страницах газет
Медным кофейником и цветущим фикусом,
Да правит нами безымянный Зет
С неслышным секретарем своим господином Иксом.
Ну а если жизнь с событиями сопряжена
И захочет захватить приз в том –
У бухгалтера казначейского молодая жена
Пускай чуть-чуть не убежит с артистом.
И если все-таки пожелает рок
Яркой славы показать образчик, –
Пусть Ивану Ивановичу достанется венок,
Починившему у соседа музыкальный ящик.
Станем же кротко просить творца
Беспечальности светлой в жизни здешней

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10
И вымалывать у него судьбы скворца,
Наделенного застрахованной от огня скворешней.
Поэзия

Окончена последняя строка,
Отброшена замолкшая цевница,
И песнь моя прозрачна и легка
Взлетает ввысь, свободная, как птица.
Ни чувствами моими не полна,
Ни мысль моя ей крыл не отягчает,
Лишь для тебя возносится она
И лишь в тебе поет и отвечает.
Она пуста блаженной пустотой
Затем, чтоб ты узрел себя во внешней,
Прекрасная твоею красотой,
Весенняя твоей улыбкой вешней.
Печальная – коль скоро ты грустишь,
Любовная, когда любовь лелеешь,
Тишайшая взыскующему тишь,
Разумная, коль нечто разумеешь.
Д. Аминадо

Уездная сирень

Как рассказать минувшую весну,
Забывшую, далекую, иную,
Твое лицо, прильнувшее к окну,
И жизнь свою, и молодость былую?
Была весна, которой не вернуть...
Коричневые, голые деревья,
И полых вод особенная муть,
И радость птиц, меняющих кочевья.
Апрельский холод. Серость. Облака.
И ком земли, из-под копыт летящий.
И этот темный глаз коренника,
Испуганный, и влажный, и косящий.
О, помню, помню!.. Рывкнул паровоз.
Запахло мятой, копотью и дымом.
Тем запахом, волнующим до слез,
Единственным, родным, неповторимым,
Той свежестью набухшего зерна
И пыльною уездною сиренью,
которой пахнет русская весна,
Приученная к позднему цветению.
1917

Какой звезды сиял нам свет?
На утре дней, в истоках лет,
Больших дорог минуя стык,
Куда нас мчал лихой ямщик?..
Одним черед. Другим черед.
За взводом взвод. И – взвод, вперед!
Теплушек смрад. Махорки дым.
Черед одним. Черед другим.
Один курган. Другой курган.
А в мире ночь. Седой туман.
Протяжный вой. Курганов цепь.
Метель. Пурга. Татары. Степь.
Московские празднества

Снова отдых от труда,
Праздник счастья мирового.
Снова в мире ерунда,
А трамвая никакого.
Снова факелы чадят,
Реет флагов бумазья.
Снова маршалы стоят
На ступеньках мавзолея.
Разве выразишь пером
Этот пафос с дисциплиной,
Этот русский чернозем

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Пополам с марксистской глиной?
Лишь от радости всплакнешь,
Сладкий миг переживая,
И пешком себе пойдешь
За отсутствием трамвая.
Стоянка человека

Скажи мне, каменный обломок
Неолитических эпох!
Какие тьмы каких потемок
Хранят твой след, таят твой вздох?
О чем ты выл в безмолвьи ночи
В небытие и пустоту?
В какой простор вперяя очи,
Ты слез изведаль теплоту?
Каких ты дядей ел на тризне,
И сколько тетей свеживал?
И вообще, какой был в жизни
Твой настоящий идеал?
Когда от грустной обезьяны
Ты, так сказать, произошел, –
Куда, зачем, в какие страны
Ты дальше дерзостно пошел?!
В кого, вступая в перебранку,
Вонзал ты вилку или нож?
И почему свою стоянку
Расположил на речке Сож?
И почему стоял при этом?
И на глазах торчал бельмом?
И как стоял? Анахоретом?
Один стоял? Или вдвоем?
И вообще, куда ты скрылся?
Пропал без вести? Был в бегах?
И как ты снова появился,
И вновь на тех же берегах?
...И вот звено все той же цепи,
Неодолимое звено.
Молчит земля. Безмолвны степи.
И в мире страшно и темно.
И от порогов Приднепровья
И до Поволжья, в тьме ночной,
Все тот же глаз, налитый кровью,
И вопль, глухой и вековой.
Города и годы

Старый Лондон пахнет ромом,
Жестью, дымом и туманом,
Но и этот запах может
Стать единственно желанным.
Ослепительный Неаполь,
Весь пропитанный закатом,
Пахнет муляями и слизью,
Тухлой рыбой и канатом.
Город Гамбург пахнет снедью,
лесом, бочками и жиром,
И гнетущим, вездесущим,
Знаменитым, добрым сыром.
А Севилья пахнет кожей,
Кипарисом и вервеной,
И прекрасной чайной розой,
Несравнимой, несравненной.
Вечных запахов Парижа
Только два. Они все те же:
Запах жареных каштанов
И фиалок запах свежий.
Есть чем вспомнить в поздний вечер,
Когда мало жить осталось,
То, чем в жизни этой брэнной
Сердце жадно надыхалось!..
Но один есть в мире запах
И одна есть в мире нега:

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Это русский зимний полдень,
Это русский запах снега.
Лишь его не может вспомнить
Сердце, помнящее много.
И уже толпятся тени
У последнего порога.
Монпарнас

Тонула земля в электрическом свете.
Толпа отливала и шла как лавина.
Худая блондинка в зеленом берете
Искала глазами худого блондина.
Какие-то шведы сидели и пили
Какие-то страшные шведские гроги.
Какие-то девушки нервно бродили,
Цепляясь за длинные шведские ноги.
Какие-то люди особой породы
В нечесаных космах, и все пожилые,
Часами коптели высокие своды
И сыпали пепел в стаканы пивные.
Непризнанный гений попыхивал трубкой
И все улыбался улыбкою хамской,
И жадно следил за какою-то хрупкой,
Какою-то желтой богиней сиамской.
Поэты, бродяги, восточные принцы
В чалмах и тюрбанах, с осанкою гордой,
Какие-то типы, полуаргентинцы,
Полусутенеры с оливковой мордой,
И весь этот пестрый, чужой муравейник
Сосал свое кофе, гудел, наслаждался.
И только гарсон, проносивший кофейник,
Какой-то улыбкой кривой улыбался, –
Затем что, отведавши всех философий,
Давно для себя не считал он проблемой
Ни то, что они принимали за кофий,
Ни то, что они называли богемой.
Ave slave

[73]

Не углем краснится домик,
А совсем от пирожков.
И живет в нем русский комик,
Микаэлевич Душков.
На печи его супружка
Вяжет белый парусин.
А вокруг сидит Ванюшка,
Их законный сукин сын.
Вдруг приходят все крестьяне
И приносят чернозем,
И садятся на диване
Перед ласковым огнем.
После вежливой попойки
Каждый милый мужичок
Отправляется на тройке
В свой любезный кабачок.
И везде мелькают гривы
Темно-карих жеребков,
И плакучие мотивы
Их веселых ямщиков.
О, славянские натуры...
Нет, не можно описать
Их медведевские шкуры,
Их особенную статью.
Надо видеть, чтобы верить,
Что славянский молодец,
Надо семь разов отмерить,
Чтоб зарезать наконец!
Подражание Игорю Северянину

Не старайся постигнуть. Не отгадывай мысли.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Мысль витает в пространствах, но не может осесть.

Ананасы в шампанском окончательно скисли,
А в таком состоянии их немислимо есть.
Надо взять и откинуть, и отбросить желанья,
И понять неизбежность и событий и лет,
Ибо именно горьки ананасы изгнания,
Когда есть ананасы, а шампанского нет.
Что ж из этой поэзы, господа, вытекает?
Ананас уже выжат, а идея проста:
Из шампанского в лужу – это в жизни бывает,
А из лужи обратно – парадокс и мечта!..
Вечеринка

Артистка читала отрывок из Блока,
И левою грудью дышала уныло.
В глазах у артистки была поволока,
А платье на ней прошлогоднее было.
Потом выступал балалаечник Костя
В роскошных штанинах из черного плиса
И адски разделал «Индийского гостя»,
А «Вниз да по речке» исполнил для биса.
Потом появились бояре в кафтанах;
И хор их про Стеньку пропел, и утешил.
И это звучало тем более странно,
Что именно Стенька бояр-то и вешал.
Потом были танцы с холодным буфетом.
И вальс в облаках голубого батиста.
И женщина-бас перед самым рассветом
Рыдала в пиджак исполнителя Листа.
И что-то в тумане дрожало, рябило,
И хором бояре гудели на сцене...
И было приятно, что все это было
Не где-то в Торжке, а в Париже, на Сене.
Подражание Беранже

Не знаю как, но, вероятно, чудом
И ты, мой фрак, в изгнание попал.
Я помню день, мы вырвались Оттуда,
Нас ветер морской неистово трепал.
Но в добрый час на берега Босфора
Выходим мы, молчание храня.
Как дни летят... Как все минует скоро...
– Мой старый фрак, не покидай меня.
Шумел Стамбул. Куреньями насыщен,
Здесь был иной, какой-то чуждый мир.
Я обменять хотел тебя, дружнице,
На белый хлеб и на прозрачный сыр.
Но турки только фесками качнули,
Покроя твоего не оцеля.
В закатном солнце тополи тонули...
– Мой старый фрак, не покидай меня.
Я помню, как настойчивей и ближе
Отчаянье подкрадывалось вдруг.
И мы одни, одни во всем Париже.
Еще быстрее суживался круг.
Вот-вот судьба своей придавит крышкой.
А тут весна... фиалки... блеск огня.
И я шептал, неся тебя под мышкой:
– Мой старый фрак, не покидай меня.
Но счастье... ты – нечаянность созвучий
В упорной, непослушливой строфе!
Не знаю, счастье, чудо или случай,
Но вот, гарсон в изысканном кафе,
Во фраке, между тесными столами,
Скольжу, хрустальными бокалами звеня.
Гарсон, сюда! Гарсон, шартрезу даме!
– Мой верный фрак, не покидай меня.
А ночью, вынув номер из петлицы
И возвратясь, измученный, домой,
Я вспоминаю темные ресницы
И старый вальс... И призрак над Невою.

Ты помнишь, как, на отворот атласный
Волну кудрей тяжелых уроня,
Она, бледнея, повторяла страстно:
– Мой милый друг, не покидай меня.
Бегут, бегут стремительные годы.
Сплетаются с действительностью сны.
И скоро оба выйдем мы из моды,
И скоро оба станем не нужны.
Уже иные шествия я внемлю.
Но в час, когда, лопатами звеня,
В чужой земле меня опустят в землю..
– Мой старый фрак, не покидай меня.
Шли поезда по Казанской дороге
Прошрое. Бывшее. Тень на пороге.
Бедного сердца комок.
Шли поезда по Казанской дороге..
Таял над лесом дымок.
Летнее солнце клонилось к закату.
Ветер вечерний донес
Горечь полыни, душистую мяту,
Странную свежесть берез.
Где-то над миром, над тайным пределом,
Кротко сияла звезда.
Где-то какие-то барышни в белом
Вышли встречать поезда.
Не было? Было? А тень на пороге.
Смех раздается, зловещ:
– Шли поезда по Казанской дороге..
Экая важная вещь!
Бабье лето

Нет даже слова такого
В толстых чужих словарях.
Август. Ущерб. Увяданье.
Милый, единственный прах.
Русское лето в России.
Запахи пыльной травы.
Небо какой-то старинной,
Темной, густой синевы.
Утро. Пастушья жалейка.
Поздний и горький волчец.
Эх, если б узкоколейка
Шла из Парижа в Елец..
Амо – Amare

[74]

Довольно описывать северный снег
И петь петербургскую вьюгу..
Пора возвратиться к источнику нег,
К навеки блаженному югу.
Там первая молодость буйно прошла,
Звеня, как цыганка запястьем.
И первые слезы любовь пролила
Над быстро изведанным счастьем.
Кипит, не смолкая, работа в порту.
Скрипят корабельные цепи.
Безумные ласточки, взяв высоту,
Летят в молдаванские степи.
Играет шарманка. Цыганка поет,
Очей расточая сиянье.
А город лиловой сиренью цветет,
Как в первые дни мирозданья.
Забуть ли весну голубую твою,
Бегущие к морю ступени,
И Дюка, который поставил скамью
Под куст этой самой сирени?..
Забуть ли счастливейших дней ореол,
Когда мы спрягали в угаре
Единственный в мире латинский глагол –
Amare, amare, amare?!

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

И боги нам сами сплетали венец,
И звезды светили нам ярко,
И пел о любви итальянский певец,
Которого звали Самарко.
...Приходит волна, и уходит волна.
А сердце все медленней бьется.
И чует, и знает, что эта весна
Уже никогда не вернется.
Что ветер, который пришел из пустынь,
Сердца приучая к смирению,
Не только развеял сирень и латынь,
Но молодость вместе с сиренью.
Утешительный романс

Что жалеть? О чем жалеть?
Огонек горит, мигая...
Надо все преодолеть.
Даже возраст, дорогая.
Что есть годы? Что число?
Кто связать нас может сроком?
Лишь бы только нас несло
Нескончаемым потоком.
Сколько раз, свои сердца
Не спасая от контузий,
Мы шатались без конца
По республикам иллюзий.
Сколько тягостных колец
Все затягивалось туже!
Так уж худо, что конец.
А глядишь... на завтра – хуже.
«Возвращается ветер...»

Возвращается ветер на круги своя.
Не шумят возмущенные воды.
Повторяется все, дорогая моя,
Повинуясь законам природы.
Расцветает сирень, чтоб осыпать свой цвет.
Гибнет плод, красотой отягченный.
И любимой – поэт посвящает сонет,
Уже трижды другим посвященный.
Все есть отблеск и свет. Все есть отзвук и звук.
И, внимая речам якобинца,
Я предчувствую, как его собственный внук
Возжелает наследного принца.
Ибо все на земле, дорогая моя,
Происходит, как сказано в песне:
Возвращается ветер на круги своя,
Возвращается, дьявол! хоть тресни.
Всеволод Ник. Иванов

Ампир

Когда обманутый философами мир,
Тоскуя по богам, создал Наполеона,
Средь шатких ступеней недедовского трона
Взошел, как белый крин, изысканный Ампир.
Отзвучье слабое Гомера грубых лир,
Кинжал Гармония, кирпичная колонна,
Из лавров Корсики сплетенная корона,
И консул-Генерал, развенчанный кумир...
Верны далекому, задумчивые девы
На пестрых кошельках вторят венков напевы,
В цветистом бисере живет еще Давид [75].
Но вместо Греции, Парижа и Ваграма
Под ветром Скифии дрожит ночная рама,
И тусклая свеча как золото горит.
Царь Федор

На утре в сумерках седы святые главы;
С востока вишневым окрасил их мороз.
В сиреневых снегах, рассевшись, лает пес,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Царь с свитой идет к обедне величаво.
Царица статная в мехах, парче, как пава;
Царь посох занесет то прямо, то в обнос.
Смешливы девушки, и шелк их длинных кос
От инея блестит, как бобр пушистый, право.
Поп служит истово, обрядово, как встарь.
Горят огни лампад. Великий Государь,
На звоннице резной побрякав, уморился.
Изволит он глядеть, как за Москвой-рекой,
Над стенами Кремля, над домиков толпой
Павлиний хвост восхода распустился.
Геометрия

Канту
Когда клубами туч сияет высота
И медленно плывет полями воздух синий,
Безмерным чертежом раскинулась пустыня,
Где скрещенных дорог промчались два креста.
Пестреющих полей печалью налита,
Струится сеть определенных линий,
Покамест вдалеке горы немой твердыней
Не ограничена пространства пустота.
Бредет, затерянный, цветочным рубежом,
Как все – охваченный могучим чертежом,
И медленно растет в его душе химера:
– Ему принадлежит великий циркуль тот,
Который плоскостям ведет железный счет,
И с Разумом его согласна эта Мера.
Александр

В Париже пел веселый Беранжер,
Дел славных русских горестный свидетель,
Что смерть и кровь – казачья добродетель,
Калмыцкий крик – для россиян пример.
Но мудрые слова мадам де-Крюденер [76]
Царя спасали от сомненья петель.
Он знал, что пушками в Антихриста он метил [77],
В того, чей рост был мал и чей сюртук был сер.
Вот почему на нем мундир зелено-красный,
Лосины, шпага, шарф, а синий взор прекрасный
Цветет божественно, как в полдень небосклон.
Гремят орудия. Каре блестят штыками.
Кустом разрывы бомб. И двигает полками
Во имя Божие властительный масон [78].
Семья

Меня со всех сторон объял угрюмый быт,
Витающих теней угрюмая порода,
Хоть в поле за окном январская погода
Румяным серебром и яхонтом горит.
Изба затеряна, как некий малый скит
Под звонким куполом пустого небосвода,
И в ней одной – цветок в середине огорода,
Огонь, священный пляс, на алтаре блестит.
Он согревает нас, он кормит, и в парах,
Внушая простецам любовь, тепло и страх,
Острил Святой Отец Всевидящее Око [79].
Кишит вокруг семья – дед, внуки, дочери. Род.
Так под шатром избы криница жизни бьет,
И я гляжу в нее, взволнованный глубоко.
Арсений Несмелов

В ломбарде

В ломбарде старого ростовщика,
Нажившего почет и миллионы,
Оповестили стуком молотка
Момент открытия аукциона.
Чего здесь нет! Чего рука нужды
Не собрала на этих полках пыльных,
От генеральской Анненской звезды

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

До риз с икон и крестиков крестильных.
Былая жизнь, увы, осуждена
В осколках быта, потерявших имя...
Поблескивают тускло ордена,
И в запыленной связке их – Владимир.
Дворянства знак. Рукой ростовщика
Он брошен на лоток аукциона,
Кусок металла в два золотника,
Тень прошлого и – тема фельетона.
Потрескалась багряная эмаль –
След времени, его непостоянство.
Твоих отличий никому не жаль,
Бездарное, последнее дворянство.
Но как среди купеческих судов
Надменен тонкий очерк миноносца, –
Среди тупых чиновничьих крестов
Белеет грозный крест Победоносца.
Святой Георгий – белая эмаль,
Простой рисунок... Вспоминаешь кручи
Фортов, бросавших огненную сталь,
Бетон, звеневший в вихре пуль певучих,
И юношу, поднявшего клинок
Над пропастью бетонного колодца,
И белый – окровавленный платок
На сабле коменданта – враг сдается!
Георгий, он – в руках ростовщика!
Но не залить зарю лавиной мрака,
Не осквернит негодная рука
Его неоскверняемого знака.
Пусть пошлости неодолимой клевет
Швыряет нас в трясучий жизни кузов, –
Твой знак носил прекрасный Гумилев,
И первым кавалером был Кутузов!
Ты гордость юных – доблесть и мятеж,
Ты гимн победы под удары пушек.
Среди тупых чиновничьих утех
Ты – браунинг, забытый меж игрушек.
Не алчность, робость чувствую в глазах
Тех, кто к тебе протягивает руки,
И ухожу... И сердце все в слезах
От злобы, одиночества и муки.
На водоразделе

[80]

Воет одинокая волчиха
На мерцанье нашего костра.
Серая, не сетуй, замолчи-ка,
Мы пробудем только до утра.
Мы бежим, отбитые от стаи,
Горечь пьем из полного ковша,
И душа у нас совсем пустая,
Злая, беспощадная душа.
Всходит месяц колдовской иконой, –
Красный факел тлеющей тайги.
Вне пощады мы и вне закона, –
Злую силу дарят нам враги.
Ненавидеть нам не разучиться,
Не остыть от злобы огневой...
Воет одинокая волчица,
Слушает волчицу часовой.
Тошно сердцу от звериных жалоб,
Неизбывен горечи родник...
Не волчиха, родина, пожалуй,
Плачет о детенышах своих.
Пять рукопожатий

Ты пришел ко мне проститься. Обнял.
Заглянул в глаза, сказал: «Пора!»
В наше время в возрасте подобном
Ехали кадеты в юнкера.

Но не в Константиновское, милый,
Едешь ты. Великий океан
Тысячами простирает мили
До лесов Канады, до полян
В тех лесах, до города большого,
Где – окончен университет! –
Потеряем мальчика родного
В иностранце двадцати трех лет
Кто осудит? Вологдам и Бийскам
Верность сердца стоит ли хранить?..
Даже думать станешь по-английски,
По-чужому плакать и любить.
Мы – не то! Куда б ни выгружала
Буря волчью костромскую рать, –
Все же нас и Дурову, пожалуй,
В англичан не выдрессировать.
Пять рукопожатий за неделю,
Разлетится столько юных стай!..
...Мы – умрем, а молодняк поделят –
Франция, Америка, Китай.
Голод

Удушье смрада в памяти не смысл
Веселый запах выпавшего снега,
По улице тянулись две тесьмы,
Две колеи: проехала телега.
И из нее окоченевших рук,
Обглоданных – несъеденными – псами,
Тянулись сучья... Мыкался вокруг
Мужик с обледенелыми усами.
Американец поглядел в упор:
У мужика, под латаным тулупом,
Топорщился и оседал топор
Тяжелым обличающим уступом.
У черных изб солома снята с крыш,
Черта дороги вытянулась в нитку,
И девочка, похожая на мышь,
Скользнула, пискнув, в черную калитку.
Агония

М. Щербакову
– Сильный, державный, на страх врагам!..
Это не трубы, – по кровле ржавой
Ветер гремит, издеваясь: вам,
Самодержавнейшим, враг – держава!
Ночь. Почитав из лескова вслух,
Спит император, ребенка кротче.
Память, опять твоему веслу
Императрица отдаться хочет.
И поплывут, поплывут года,
Столь же бесшумны, как бег «Штандарта».
Где, на каком родилась беда,
Грозно поднявшая айсберг марта.
Горы былого! Тропа в тропу.
С болью надсады дорогой скользкой,
Чтоб, повторяя, проверить путь
От коронации до Тобольска.
Где же ошибка и в чем она?
Школьницу так же волнует это,
Если задача не решена,
Если решение не бьет ответа.
Враг: Милюков из газеты «Речь»,
Дума, студенты, Вильгельм усатый?
Нет, не об этом тревоги речь,
И не над этим сверло досады.
Вспомни, когда на парад ходил
Полк кирасир на дворцовом поле,
Кто-то в Женеве пиво пил,
В шахматы игрывал, думал, спорил.
Плачет царица: и кто такой!
Точка. Беглец. Истребить забыли.

Пошевелила бы хоть рукой –
И от него – ни следа, ни пыли!
Думала: так. Пошумит народ,
Вороны бунта устанут каркать,
И, отрезвев, умирать пойдет
За обожаемого монарха.
Думала: склонятся снова лбы,
Звон колокольный прогонит полночь,
Только пока разрешили бы
Мужу в Ливадии посадовничать!
Так бы и было, к тому и шло.
Трепет изменников быстро пронял бы,
Если бы нечисть не принесло,
Запломбированную в вагоне.
Вот на балконе он (из газет
Ведомы речи), калмыцки щурясь...
И потерялся к возврату след
В заклокотавшей окрепшей буре.
Враг! Не Родзянко, не Милюков
И не иная столицы челядь.
Горло сжимает – захват каков! –
Истинно волчья стальная челюсть.
Враг! Он лавиной летящей рос
И, наступая стране на сердце,
Он уничтожил, а не матрос,
Скипетр и мантию самодержца.
– Враг, ускользнувший от палача,
Я награжу тебя, зверя, змея,
Клеткой железной, как Пугача,
Пушечным выстрелом прах развею!
Скоро! Сибирь поднялась уже,
Не Ермака ли гремят доспехи?
Водит полки богатырский жезл,
К нашей тюрьме спешают чехи.
Душно царице. От синих рам
Холодно, – точно в пустыне звездной!..
Сильный, державный, на страх врагам, –
Только сегодня, назавтра – поздно.
Встреча первая

Вс. Иванову
Мы – вежливы. Вы попросили спичку
И протянули черный портсигар,
И вот огонь – условие приличья –
Из зажигалки надо высекать.
Дымок повис сиреневою ветвью,
Беседуем, сближая мирно лбы,
Но встреча та – скости десятилетье! –
Огня иного требовала бы...
Схватились бы, коль пеши, за наганы,
Срубилась бы верхами, на скаку...
Он позвонил. Китайцу: «Мне нарзану!»
Прищурился. «И рюмку коньяку...»
Вагон стучит, ковровый пол качая,
Вопит гудка басовая струна.
Я превосходно вижу: ты скучаешь,
И скука, парень, общая у нас.
Пусть мы враги, – друг другу мы не чужды,
Как чужд обоим этот сонный быт.
И непонятно, право, почему ж ты
Несешь ярмо совсем иной судьбы?
Мы вспоминаем прошлое беззлобно.
Как музыку. Запело и ожгло...
Мы не равны, – но все же мы подобны,
Как треугольники при равенстве углов.
Обоих нас качала непогода.
Обоих нас, в ночи, будил рожок...
Мы – дети восемнадцатого года,
Тридцатый год. Мы прошлое, дружок!..
Что сетовать! Всему приходят сроки,
Исчезнуть, кануть каждый обряжен.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Ты в чистку попадешь в Владивостоке,
Меня бесптичь съест за рубежом.
Склонил ресницы, как склоняют знамя,
В былых боях изодранный лоскут...
«Мне, право, жаль, что вы еще не с нами».
Не лгите: с кем? И... выпьем коньяку.
Встреча вторая

Василий Васильич Казанцев [81].
И огненно вспомнились мне
Усищев протуберансы,
Кожанка и цейс на ремне.
Ведь это же – бесповоротно,
И образ тот, время, не тронь.
Василий Васильевич – ротный:
«За мной – перебежка – огонь!»
– Василий Васильича? Прямо.
Вот, видите, стол у окна...
Над счетами (согнут упрямо
И лысина точно луна).
Почтенный бухгалтер. – Бессильно
Шагнул и мгновенно остыл...
Поручик Казанцев?.. Василий?..
Но где же твой цейс и усы?
Какая-то шутка, насмешка,
С ума посходили вы все!..
Казанцев под пулями мешкал
Со мной на ирбитском шоссе.
Нас дерзкие дни не скосили, –
Забуду ли пули ожог! –
И вдруг шевиотовый, синий,
Наполненный скукой мешок.
Грознейшей из всех революций
Мы пулей ответили: нет!
И вдруг этот куцый, кургузый,
Уже располневший субъект.
Года революции, где вы?
Кому ваш грядущий сигнал? –
Вам в счетный, так это налево...
Он тоже меня не узнал!
Смешно! Постарели и вымрем
В безлюдьи осеннем, нагом,
Но, все же, конторская мымра, –
Сам Ленин был нашим врагом!
Стихи о Харбине

I. «Под асфальт, сухой и гладкий...»

Под асфальт, сухой и гладкий,
Наледь наших лет, –
Изыскательской палатки
Канул давний след...
Флаг Российский. Коновязи.
Говор казаков.
Нет с былым и робкой связи, –
Русский рок таков.
Инженер. Расстегнут ворот.
Фляга. Карабин.
– Здесь построим русский город,
Назовем – Харбин.
Без тропы и без дороги
Шел, работе рад.
Ковылял за ним трехногий
Нивелир-снаряд.
Перед днем Российской встряски,
Через двести лет,
Не Петровской ли закваски
Запоздалый след [82]?
Не державное ли слово
Сквозь века: приказ.
Новый город зачат снова,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Но в последний раз.

II. «Как чума, тревога бродит...»

Как чума, тревога бродит, –
Гул лихих годин...
Рок черту свою проводит
Близ тебя, Харбин.
Взрывы дальние, глухие,
Алый взлет огня, –
Вот и нет тебя, Россия,
Государыня!
Мало воздуха и света,
Думаем, молчим.
На осколке мы планеты
В будущее мчим!
Скоро ль кануть иль не скоро,
Сумрак наш рассеет...
Про запас Ты, видно, город
Выстроила сей.
Сколько ждать десятилетий,
Что, кому беречь?
Позабудут скоро дети
Отческую речь.
III. «Милый город, горд и строен...»

Милый город, горд и строен,
Будет день такой,
Что не вспомнят, что построен
Русской ты рукой.
Пусть удел подобный горек, –
Не опустим глаз:
Вспомяни, старик историк,
Вспомяни о нас.
Ты забытое отыщешь,
Впишешь в скорбный лист.
Да на русское кладбище
Забегит турист.
Он возьмет с собой словарь
Надписи читать...
Так погаснет наш фонарик,
Утомясь мерцать!
В затонувшей субмарине

[83]

Облик рабский, низколобый,
Отрыгнет поэт, отринет:
Несгибаемые души
Не снижают свой полет.
Но поэтом быть попробуй
В затонувшей субмарине,
Где печать свою удушье
На уста твои кладет.
Где за стенкою железной
Тишина подводной ночи,
Где во тьме, такой бесшумной,
Ни надежд, ни слез, ни вер,
Где рыданья бесполезны,
Где дыханье все короче,
Где товарищ твой безумный
Поднимает револьвер.
Но прекрасно сердце наше,
Человеческое сердце:
Не подобие ли Бога
Повторил собой Адам?
В этот бред, в удушный кашель
(Словно водный свод разверзся)
Кто-то с ласковостью строгой
Слово силы кинет нам.
И не молния ли это
Из надводных, поднебесных,

Надохваченных рассудком
Озаряющих глубин, –
Вот рождение поэта,
И оно всегда чудесно,
И под солнцем, и во мраке
Затонувших субмарин.
Наша весна

Еще с Хингана ветер свеж,
И остро в падах пахнет прелью,
И жизнерадостный мятеж
Дрозды затеяли над елью.
Шуршит вода, и точно медь
По вечерам заката космы,
По вечерам ревет медведь,
И сонно сплетничают сосны.
А в деревнях, у детворы
Раскосой, с ленточками в косах,
Вновь по-весеннему остры
Глаза, кусающие осы.
У пожилых, степенных манз
Идет беседа о посеве,
И свиньи черные у фанз
Ложатся мордами на север.
Земля ворчит, ворчит зерно,
Набухшее в ее утробе.
Все по утрам озарено
Сухую синевою с Гоби.
И скоро бык, маньчжурский бык,
Сбирая воронье и галочь,
Опустит смоляной кадык
Над пашней, чавкающей алчно.
«Пустой начинаю строчкой...»

Пустой начинаю строчкой,
Чтоб первую сбить строфу.
На карту Китая точкой
Упал городок Чифу.
Там небо очень зеленым
Становится от зари,
И светят в глаза драконам
Зеленые фонари.
И рикша – ночная птица, –
Храпя, как больной рысак,
По улицам этим мчится
В ночной безысходный мрак.
Коль вещи не судишь строго,
Попробуй в коляску сесть:
Здесь девушек русских много
В китайских притонах есть.
У этой, что спиртом дышит,
На стенке прибит погон.
Ведь девушка знала Ижевск,
Ребенком взойдя в вагон.
Но в Омске поручик русский,
Бродяга, бандит лихой,
Все кнопки на черной блузке
Хмельной оборвал рукой.
Поручик ушел с отрядом,
Конь рухнул под пулей в грязь.
На стенке с погоном рядом –
И друг и великий князь.
Японец ли гнилозубый
И хилый, как воробей;
Моряк ли ленивый, грубый,
И знающий только: «Пей!»
Иль рыхлый, как хлеб, китаец,
Чьи губы, как терки, трут, –
Ведь каждый перелистает
Ее, как книжку, к утру.
И вот, провожая гостя,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

Который спешит удрать,
Бледнеющая от злости
Откинется на кровать.
– Уйти бы в могилу, наземь.
О, этот рассвет в окне! –
И встретилась взглядом с князем,
Пришпиленным на стене.
Высокий, худой, как мощи,
В военный одет сюртук,
Он в свете рассвета тощем
Шевелится, как паук.
И руку с эфеса шашки,
Уже становясь велик,
К измятой ее рубашке
Протягивает старик.
И плюнет она, не глядя,
И крикнет, из рук клонясь,
«Прими же плевки от бляди,
Последний великий князь!»
Он взглядом глядит орлиным,
Глазища придвинув вплоть.
А женщина с кокаином
К ноздрям поднесла щепоть.
А небо очень зеленым
Становится от зари.
И светят в глаза драконам
Бумажные фонари.
И первые искры зноя, –
Рассвета алая нить, –
Ужасны, как все земное,
Когда невозможно жить.
«С головой под одеяло...»

С головой под одеяло,
Как под ветку птаха,
Прячется ребенок малый
От, ночного страха.
Но куда, куда нам скрыться,
Если всем мы чужды?
Как цыплята под корытце,
Под крылечко уж бы!
Распластавшийся кругами
В небе рок, как коршун.
Небо синее над нами –
Сводов ночи горше!
Пушкин сетовал о няне,
Если выла вьюга:
Нету нянюшек в изгнаньи –
Ни любви, ни друга!
Письмо

Листик, вырванный из тетрадки,
В самодельном конверте сером,
Но от весточки этой краткой
Веет бодростью и весельем.
В твердых буквах, в чернилах рыжих,
По канве разлиновки детской,
Мысль свою не писал, а выжег
Мой приятель, поэт советский:
«День встает, напряжен и меток,
Жизнь напориста и резва,
Впрочем, в смысле свиных котлеток
Нас счастливыми не называть.
Все же, если и все мы тощи,
На стерляжьем пуху пальто,
Легче жилистые наши мощи
Ветру жизни носить зато!..»
Перечтешь и, с душой сверив,
Вздригнешь, как от дурного сна:
Что, коль в этом гнилом конверте,
Боже, подлинная весна?

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Что тогда? Тяжелей и горше
Не срываются с якорей.
Злая смерть, налети, как коршун,
Но скорей, скорей... Скорей!
Александр Вертинский

В степи молдаванской

Тихо тянутся сонные дроги
И, вздыхая, ползут под откос.
И печально глядит на дороги
У колодцев распятый Христос.
Что за ветер в степи молдаванской!
Как поет под ногами земля!
И легко мне с душой цыганской
Кочевать, никого не любя!
Как все эти картины мне близки,
Сколько вижу знакомых я черт!
И две ласточки, как гимназистки,
Провожают меня на концерт.
Что за ветер в степи молдаванской!
Как поет под ногами земля!
И легко мне с душой цыганской
Кочевать, никого не любя!
Звону дальнему тихо я внемлю
У Днестра на зеленом лугу.
И Российскую милую землю
Узнаю я на том берегу.
А когда засыпают березы
И поля затихают ко сну,
О, как сладко, как больно сквозь слезы
Хоть взглянуть на родную страну...
1925

Бессарабия

Пани Ирена

Ирине Н-й
Я безумно боюсь золотистого плена
Ваших медно-змеиных волос,
Я влюблен в Ваше тонкое имя «Ирена»
И в следы Ваших слез.
Я влюблен в Ваши гордые польские руки,
В эту кровь голубых королей,
В эту бледность лица, до восторга, до муки
Обожженного песней моей.
Разве можно забыть эти детские плечи,
Этот горький заплаканный рот,
И акцент Вашей польской изысканной речи,
И ресниц утомленный полет?
А крылатые брови? А лоб Беатриче?
А весна в повороте лица?..
О, как трудно любить в этом мире приличии,
О, как больно любить без конца!
И бледнеть, и терпеть, и не сметь увлекаться,
И, зажав свое сердце в руке,
Осторожно уйти, навсегда отказаться
И еще улыбаться в тоске.
Не могу, не хочу, наконец – не желаю!
И, приветствуя радостный плен,
Я со сцены Вам сердце, как мячик, бросаю.
Ну, ловите, принцесса Ирен!
Сумасшедший шарманщик

Каждый день под окошком он заводит шарманку.
Монотонно и сонно поет об одном.
Плачет старое небо, мочит дождь обезьянку,
Пожилую актрису с утомленным лицом.
Ты усталый паяц, ты смешной балаганщик
С обнаженной душой, ты не знаешь стыда.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик,
Мои песни мне надо забыть навсегда, навсегда.
Мчится бешеный шар и летит в бесконечность,
И смешные букашки облепили его,
Бьются, вьются, жужжат и с расчетом на вечность
Исчезают, как дым, не узнав ничего.
А высоко вверх Время – старый обманщик,
Как пылинки с цветов, с них сдувает года...
Замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик,
Этой песни нам лучше не знать никогда, никогда.
Мы – осенние листья, нас бурей сорвало.
Нас всё гонят и гонят ветров табуны.
Кто же нас успокоит, бесконечно усталых,
Кто укажет нам путь в это царство весны?
Будет это – пророк или просто обманщик,
И в какой только рай нас погонят тогда?
Замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик,
Эту песню мы не можем забыть никогда, никогда!
1930

Желтый ангел

В вечерних ресторанах,
В парижских балаганах,
В дешевом электрическом раю,
Всю ночь ломаю руки
От ярости и муки
И людям что-то жалобно пою.
Звенят, гудят джаз-баны,
И злые обезьяны
Мне скалят искалеченные рты.
А я, кривой и пьяный,
Зову их в океаны
И сыплю им в шампанское цветы.
А когда настанет утро, я бреду бульваром сонным,
Где в испуге даже дети убегают от меня.
Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Звенят, гудят джаз-баны,
Танцуют обезьяны
И бешено встречают Рождество,
А я, кривой и пьяный,
Заснул у фортепиано
Под этот дикий гул и торжество.
На башне бьют куранты,
Уходят музыканты,
И елка догорает до конца.
Лакеи тушат свечи,
Давно замолкли речи,
И я уж не могу поднять лица.
И тогда с потухшей елки тихо спрыгнул желтый Ангел
И сказал: «Маэстро, бедный, Вы устали, Вы больны.
Говорят, что Вы в притонах по ночам поете танго,
Даже в нашем добром небе были все удивлены».
И, закрыв лицо руками, я внимал жестокой речи,
Утирая фракком слезы, слезы боли и стыда.
А высоко – в синем небе догорали Божьи свечи
И печальный желтый Ангел тихо таял без следа.
1934

Париж

«Dancing girl» [84]

I. «Это бред. Это сон. Это снится...»

Это бред. Это сон. Это снится...
Это прошлого сладкий дурман.
Это юности Белая Птица,
Улетевшая в серый туман.
Вы в гимназии. Церковь. Суббота.

Хор так звонко-весенне поет...
Вы уже влюблены, и кого-то
Ваше сердце взволнованно ждет.
И когда золотые лампы
Кто-то гасит усталой рукой,
От высокой церковной ограды
Он один провожает домой.
И весной и любовью волнуем,
Ваши руки холодные жмет.
О как сладко отдать поцелуям
Свой застенчивый девичий рот.
А потом – у разлапистой ели,
Убежав с бокового крыльца,
С ним качаться в саду на качели
Без конца, без конца, без конца...
Это бред... Это сон... Это снится...
Это юности сладкий обман,
Это лучшая в книге страница,
Начинавшая жизни роман.
II. «дни бегут все быстрее и короче...»

дни бегут все быстрее и короче,
И уже в кабаках пятый год
С иностранцами целые ночи
Вы танцуете пьяный фокстрот.
Беспокойные жадные руки
И насмешка презрительных губ,
А оркестром раздавлены – звуки
Выползают, как змеи из труб...
В барабан свое сердце засунуть!..
Пусть его растерзает фокстрот!..
О как бешено хочется плюнуть
В этот нагло смеющийся рот!..
И под дикий напев людоедов,
С деревянную маской лица,
Вы качаетесь в ритме соседа
Без конца, без конца, без конца...
Это бред. Это сон. Это снится,
Это чей-то жестокий обман.
Это Вам подменили страницы
И испортили нежный роман.
1937

Yang-Tze-Kiang

Великая Голубая Река

китай

китай

Над желтой рекою – незрячее белое небо...
Дрожат паруса – крылья ветром расстрелянных птиц,
И коршун летит... и, наверное, думает: «Где бы
Укрыться от этого зноя, от этой тоски без границ».
Да – этой тоски неживого былого Китая,
Тоски Императоров, Мертвых Династий и сил,
Уснувших Богов, и безлюдья от края до края,
Где дремлют века у подножий Великих Могил.
А в пустых городах, – закаленные в мудром Талмуде, –
Терпеливо торгуют евреи, снуют англичане спеша,
Итальянцы и немцы и разные белые люди –
Покорители Мира, купцы и ловцы барыша.
Но в расщелинах глаз, но в покорной улыбке Китая
Дремлют тихие змеи и молнии дальних зарниц,
И когда-нибудь грянет гроза, и застонет земля, сотрясая
Вековое безмолвье Великих Священных Гробниц.
1938

Шанхай

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Вознесенный над желтой рекой полусонною,
Город – улей mosкитов, термитов и пчел,
Я судьбу его знаю, сквозь маску бетонную
Я ее, как раскрытую книгу, прочел.
Это Колосс Родосский на глиняном цоколе,
Это в зыбком болоте увязший кабан,
И великие ламы торжественно прокляли
Чужеземных богов его горький обман.
Победителей будут судить побежденные,
И замкнется возмездия круг роковой,
И об этом давно вопиют прокаженные,
Догнивая у ног его смрадной толпой.
Вот хохочут трамваи, топочут автобусы,
Голосят амбулансы, боясь умереть...
А в ночи фонарей раскаленные глобусы
Да назойливо хнычет китайская медь.
И бегут и бегут сумасшедшие роботы,
И рабы волокут в колесницах рабов,
Воят мамонты, взвив разъяренные хоботы,
Пожирая лебедками чрева судов.
А в больших ресторанах меню – как евангелия,
Повара – как епископы, джаза алтарь
И бесплотно скользящие женщины-ангелы –
В легковейные ткани одетая тварь.
Непорочные девы, зачавшие в дьяволе,
Прижимают к мужчинам усохшую грудь,
Извиваясь, взвиваясь, свиваясь и плавая,
Истекают блаженством последних минут.
А усталые тросы надорванных мускулов
Все влекут и влекут непомерную кладь...
И как будто все это знакомое, русское,
Что забыто давно и вернулось опять.
То ли это колодников гонят конвойные,
То ли это идут бечевою бурлаки...
А над ними и солнце такое же знойное,
На чужом языке – та же песня тоски!
Знаю: будет сметен этот город неоновый
С золотых плоскогорий идущей ордой,
Ибо Божеский, праведный суд Соломоновый
Нависает, как меч, над его головой.
19 сентября 1939

Шанхай

Михаил Кантор

«Не жди от утра просветленья...»

Не жди от утра просветленья,
Не жди от вечера забвенья,
Не жди от долгой ночи сна.
Не жди от молодости рвенья,
Не жди от старости смиренья –
 Пей чашу горькую до дна.
Нас стерегут везде препоны,
Неумолимые законы
И непосильные труды.
Ни раболепные поклоны,
Ни чудотворные иконы
 Не отвратят нас от беды.
Не верь словам, молитвам, думам,
Глуши вином, работой, шумом
Свой страх, готовясь умереть.
Или в молчании угрюмом,
Как бедуин перед самумом,
 Плащом накрывшись, гибель встретить.
«Мне с людьми не по дороге...»

Мне с людьми не по дороге
(Хоть признаться в том нельзя).
Волочу насилу ноги,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

И крута моя стезя.
Память, спутник мой печальный,
Я ль, скажи, тебя призвал
Разделить со мной прощальный,
Смежный с пропастью привал?
Иль без зова налетело
Тучей прошлое мое,
Как на стынущее тело
Налетает воронье?
«Как легко, уносясь в высоту...»

Как легко, уносясь в высоту
Розовеющей дымкой тумана,
Как легко позабыть на лету
Вековечный закон океана.
Охлаждаясь, не жалея
О бесплотности вчерашней:
Чем полет твой был бесстрашной,
Тем падение страшней.
Может быть, возвращаясь домой
Мелкой каплей, дрожащей от боли,
Ты уже на пороге иной,
Безымянной, но радостной доли.
«Так, не построив ничего...»

Так, не построив ничего –
Ни теоремы, ни лачуги,
Труд превративши в баловство
И промотав свои досуги,
Плетусь протоптанной тропой
И замечаю вдруг, что в чаще
Она теряется глухой,
Непроницаемой, грозящей.
«Каждый день в неведомые страны...»

Каждый день в неведомые страны
Медленно уходят корабли,
Покидая берег наш туманный,
Забывая дикий шум земли.
О, я знаю (я ведь не мечтатель,
Не поэт, меня не обмануть),
Что не царь заморский, а стяжатель
Снарядил суда в далекий путь.
Знаю, не к Аркадии блаженной
Держит курс угрюмый рулевой,
Не о чаше Грааля священной
Говорят матросы меж собой.
Так... но все же что-то обещает
Мне надрывный, трепетный гудок,
И потом слежу, как тает, тает
В бледном небе тоненький дымок.
«Непонятный пейзаж: это может быть море и дюны...»

Непонятный пейзаж: это может быть море и дюны,
Или просто зигзаги построенных наспех домов?
Непонятное время: кочуют за холмами гунны
Иль моторы несутся под рев безобразный гудков?
Стрелка компаса бьется, и кормчих растеряны взоры,
Исчезают светила, за тучами скрыться спеша.
Кто же друг и кто недруг? Рука не находит опоры,
И себя не находит в смятении всеобщем душа.
«Зачем, зачем сомнительным весам...»

Зачем, зачем сомнительным весам
Доверили мы спор, лишенный смысла?
Колелется коварно коромысло
И мир вотще взывает к небесам.
Пылают, содрогаясь, города,
И смерть в полях снопы из трупов вяжет.
Бог правду видит, да не скоро скажет,
А может быть, не скажет никогда.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
«Как и ты, я не знаю, какие нас ждут испытанья...»

Как и ты, я не знаю, какие нас ждут испытанья,
Как и ты, я блуждаю в тревожной, в отравленной тьме,
Только я не хочу ни советов, ни веры, ни знанья,
Замыкаюсь упрямо в своей добровольной тюрьме.
Жить осталось недолго – нам всем, да и нашей планете,
Право, стоит ли нам предаваться пустой ворожке?
Поздно, поздно гадать. Что б теперь ни случилось на свете,
Не откроются райские двери ни мне, ни тебе.
«Ночь мучительная длится...»

Ночь мучительная длится
И не сходится со сном...
Что случилось, что творится
За бледнеющим окном?
Это ветер, это ветер
Ускоряет свой полет,
Это ветер на рассвете
Песни дикие поет.
Все упрямей, все сердитей
Ставни, двери треплет он.
«Отворите! Отворите!
Поднимайтесь, что за сон?
Я несущу вам рокот моря,
Шорох муромских лесов,
С азиатских плоскогорий
Топот вольных табунов...»
Выйду ль ветру, как бывало,
Широко подставить грудь
Иль забьюсь под одеяло,
Чтоб не слышать и заснуть?
Михаил Струве

«В конторе душной, где стекло...»

В конторе душной, где стекло
Табачной мглой заволочло,
Писец бумаг, чего ты ждешь?
Тебе какая снится ложь?
Зачем вздымаешь ты глаза:
Зачем блеснула в них слеза?
Ужель ты думаешь, дружок,
Что взор, пройдя сквозь потолок
И перейдя за облака,
Увидит райские шелка?
Иль ты мечтаешь там найти
Венец – уставшему в пути?
Ты говоришь: там нежный зной...
Там – только ветер ледяной.
Там – ледяной и тусклый свет,
И непрерывный вой планет,
И звездам тяжело идти
В потоке Млечного пути.
А это я сказал затем
Тебе, дружок, и прочим всем,
Что долго я смотрел – туда,
И заблудился навсегда,
И оттого, что горше нет
Той жизни, что живет поэт.
Париж

Какой-то поворот случайный,
Деревьев чахлах два ряда,
Отмечены особой тайной
Порой бывают города.
Закапал дождь коротким скоком
Из малой тучи на Париж.
Что за беда? кафе – под боком.
В нем сумерки, опилки, тишь.
Стаканы с кофеом дымятся,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

И в рюмках – золотой ликер.
А капли о стекло дробятся
И говорят про милый взор,
А не о том, что век твой прожит
И у ворот стоит беда.
Что ж! Это старый мир, быть может,
Его последние года.
И мы, прошедшие по свету
Скитальцы стольких трудных лет,
Париж, мы понимаем это
И улыбаемся в ответ.
И свято чтим твои приметы:
Мороженщика в летний зной,
Каштаны на исходе лета,
Букеты ландышей весной.
* * *

Его законы соблюдая,
Быть может, погибая в нем,
Мы образ городского рая
С собой в могилу унесем.
Из парижских стихотворений

Где серый дом до неба
И улиц узок ход,
Мотор – развозчик хлеба
Летит стремглав вперед.
Рокочет голос жесткий.
Так, целый день трудясь,
Он мерит перекрестки,
Разбрасывая грязь.
Туда какая сила
Полет толкнула твой,
Где школьница спешила
С котомкою домой.
И где толпа толкалась,
Где плыл за домом дом,
Там девочка осталась
Лежать под колесом.
Но совершилось дело,
И люди отошли.
И маленькое тело
Бесследно унесли.
И длится вечер длинный,
И соблюден закон.
Струится запах винный,
И хлещет граммофон.
Стареет вечер тучный
При свете фонарей.
Не все благополучно:
Стучатся у дверей.
В дешевое веселье,
В копеечную дурь,
Несется новоселье
На крыльях снежных бурь.
И самый небывалый
Приходит переплет,
И каждый трупик малый
Запишется на счет.
Январь в Париже

Январь в окрестностях Парижа,
Сырая утренняя тьма
Мне кажутся порою ближе,
Чем наша крепкая зима.
Заброшенные огороды,
Убор дождин на стеблях роз.
Весь этот полусон природы,
Полувесна, полумороз.
Но влажный ветер с океана
Внезапно к полдню присмирел,

И в ключьях желтого тумана
Мелькнули иглы белых стрел.
Тяжелых облаков покровы
Остановили вечный бег.
Холодный, чистый и суровый
Валит на полустанок снег.
И запахом зимы и гари
Камин раскрытый задышал.
Искуснейший мираж? Сценарий?
Но как откликнулась душа!
Я снова старыми глазами
На побелевший мир гляжу
И меж французскими словами
Знакомых слов не нахожу.
Лисичка, ласточка, голубка
Переступает мой порог.
Ее заснеженная шубка,
Брусничный запах уст и щек.
И неожиданный и скорый
Из снежных звезд горит венец.
А за окошком у забора
Поет и плачет бубенец.
«День какой – нарядный и блестящий!..»

День какой – нарядный и блестящий!
Весь в цвету лежит веселый путь.
А душе встревоженной все чаще
Хочется подольше отдохнуть.
Но у неба я прошу немного:
Пусть приснится мне в его раю
Старая парижская дорога,
Все в цветущих липах авеню.
Только чтоб белел в конце дороги
Деревенский домик наш простой.
И чтоб ты сияла на пороге
Милою земною красотой.
Мать Мария

«Ввели босого и в рубахе...»

Ввели босого и в рубахе, –
Пускай он ищет, наг, один,
Простертый на полу, во прахе,
Свой ангелоподобный чин.
Там, в прошлом, страстной воли скрежет:
Был нерадивый Иоанн.
Потом власы главы обрежут,
Обет священный будет дан.
И облекут в иное платье,
И отрешат от прежних мук.
Вставай же инок, брат Игнатий,
Твою главу венчал клубук.
Новоначального помилуй
И отгони полночный страх,
Ты, чьей недремлющею силой
Вооружается монах.
А я стою перед иконой
И знаю, – скоро буду там
Босой идти, с свечой зажженной –
Пересекать затихший храм.
В рубаху белую одета...
О, внутренний мой человек.
Сейчас еще Елизавета,
А завтра буду – имя рек.
«Вольно вьется на рассвете ветер...»

Вольно вьется на рассвете ветер.
За стеклом плуги с сноповязалкой.
Сумрак. Римский дом. С ногою-палкой
Сторож бродит в бархатном берете.
На базар ослы везут капусту.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Солнце загорелось, в тучах рдея.
В сумрачных пролетах Колизея
Одиноко, мертвенно и пусто.
Вольно вьется на рассвете ветер..
Хорошо быть странником бездомным,
Странником на этом Божьем свете,
Многозвучном, мудром и огромном.
«Закрутит вдруг среди незнакомых улиц...»

Закрутит вдруг среди незнакомых улиц,
Нездешним ветром душу полоснет..
Неужто ли к земле опять свернули
Воители небесные полет?
Вот океан не поглощает сушу
И в черной тьме фонарь горит, горит.
Ты вкладываешь даже в камень душу, –
И в срок душа немая закричит.
Архангелы и ангелы, господства,
И серафимов пламеносный лик..
Что я могу?.. прими мое юродство,
Земли моей во мне звучащий крик.
Весна 1931

Ницца

«Устало дышит паровоз...»

Устало дышит паровоз,
Под крышей белый пар клубится,
И в легкий утренний мороз
Торопятся людские лица.
От города, где тихо спят
Соборы, площади и люди,
Где темный, каменный наряд
Веками был, веками будет.
Где зелена струя реки,
Где все в зеленоватом свете,
Где забрались на чердаки
Моей России милой дети,
Опять я отрываюсь в даль,
Опять душа моя нищает,
И только одного мне жаль, –
Что сердце мира не вмещает.
Осень 1931

Безансон

«Охраняющий сев, не дремли...»

Охраняющий сев, не дремли,
Данный мне навсегда провожатый.
Посмотри – я сегодня оратай
Средь Господней зеленой земли.
Не дремли, охраняющий сев,
Чтобы некто не сеял среди ночи
Плевел черных на пажити Отчей,
Чтоб не сеял унынье и гнев.
Охраняющий душу мою,
Ангел Божий великой печали,
Здесь, на поле, я все лишь в начале,
Пот и кровь бороздам отдаю.
Серп Твой светлый тяжел и остер.
Ты спокоен, мой друг огнелицкий.
В закрома собираешь пшеницу,
Вражьи плевелы только в костер.
7 августа 1934

«И в этот вольный, безразличный город...»

И в этот вольный, безразличный город
Сошла пристрастья и неволи тень,

И северных сияний пышный ворох,
И Соловецкий безрассветный день.
При всякой власти, при любых законах,
Палач ли в куртке кожаной придет
Или ревнитель колокольных звонов
Создаст такой же Соловецкий гнет.
Один тюрьму на острове поставил
Во имя равенства, придет другой
Во имя мертвых, отвлеченных правил
На грудь наступит тяжкою стопой.
Нет, ничего я здесь не выбирала,
Меня позвал Ты, как же мне молчать?
Любви Твоей вонзилось в сердце жало,
И на челе избрания печать.
22 июня 1937

«Я знаю, зажгутся костры...»

Я знаю, зажгутся костры
Спокойной рукою сестры,
А братья пойдут за дровами,
И даже добрейший из всех
Про путь мой, который лишь грех,
Недобрыми скажет словами.
И будет гореть мой костер
Под песнопенье сестер,
Под сладостный звон колокольный,
На месте на Лобном, в Кремле,
Иль здесь, на чужой мне земле,
Везде, где есть люд богомольный.
От хвороста тянет дымок,
Огонь показался у ног,
И громче напев погребальный.
И мгла не мертва, не пуста,
И в ней начертанье креста –
Конец мой, конец огнепальный.
«Парижские приму я Соловки...»

Парижские приму я Соловки,
Прообраз будущей полярной ночи.
Надменных укротителей кивки,
Гнушенье, сухость, мертвость и плевки –
Здесь, на свободе, о тюрьме пророчат.
При всякой власти отошлет канон
(Какой ни будь!) на этот мертвый остров,
Где в северном сиянии небосклон,
Где множество поруганных икон,
Где в кельях-тюрьмах хлеб дается черствый.
Повелевавший мне крест поднять,
Сама, в борьбу свободу претворяя,
О, взявши плуг, не поверну я вспять,
В любой стране, в любой тюрьме опять
На дар Твой кинусь, плача и взывая.
В любые кандалы пусть закуют,
Лишь был бы лик Твой ясен и раскован.
И Соловки приму я, как приют,
В котором Ангелы всегда поют, –
Мне каждый край Тобою обетован.
Чтоб только в человеческих руках
Твоя любовь живая не черствела,
Чтоб Твой огонь не вызвал рабий страх,
Чтоб в наших нищих и слепых сердцах
Всегда пылающая кровь горела.
22 июня 1937

«Присмотришься – и сердце узнает...»

Присмотришься – и сердце узнает,
Кто Ветхого, кто Нового Завета,
Кто в бытии, и кто вступил в исход,
И кто уже созрел в Господне лето.

Последних строк грядущие дела
Стоят под знаком женщины родящей,
Жены с крылами горного орла,
В пустыню мира Сына уносящей.
О, чую шелест этих дивных крыл
Над родиной, над снеговой равниной.
В снегах нетающих Рожденный был
Спасен крылами Женщины орлиной.
«Обряд земли – питать родные зерна...»

Обряд земли – питать родные зерна,
А осенью, под ветром, умирать, –
Я приняла любовно и покорно,
Я научилась ничего не знать.
Есть в мире два Божественных искусства –
Начальное, – все, что познал, хранить,
Питать себя наукою стоустой,
От каждой веры мудрости испить.
И есть искусство. Как назвать – не знаю,
Символ его, – все зачеркнувший крест,
Обрыв путей, ведущих сердце к раю,
Блуждание среди пустынных мест.
Искусство от любимого отречься
И в осень жизни в ветре холодеть,
Чтоб захотело сердце человечье
Безропотно под ветром умереть.
Лишь этот путь душе моей потребен,
Вот рассыпаю храмину мою
И Господу суровому молебен
С землей и ветром осенью пою.
«Не голодная рысит волчиха...»

Не голодная рысит волчиха,
Не бродягу поглотил туман, –
Господи, не ясно и не тихо
Средь Твоих оголодавших стран.
Над морозными и льдистыми реками
Реки ветра шумные гудят.
Иль мерещится мне только между нами
Вестников иных тревожный ряд?
Долгий путь ведет нас всех к покою
(Где уж там, на родине, покой?),
Лучше по-звериному завою –
И раздастся отовсюду вой.
Посмотрите – разметала вьюга
Космы дикие свои в простор.
В сердце нет ни боли, ни испуга, –
И приюта нет среди изб и нор.
Нашей правды будем мы достойны,
Правду в смерть мы пронесем, как щит...
Господи, неясно, неспокойно
Солнце над землей твоей горит.
«О, всё предчувствие, преддверье срока...»

О, всё предчувствие, преддверье срока,
О, всё подготовительный восторг.
На торжищах земли закончим торг,
Проснемся, крикнем и вздохнем глубоко.
Ты, солнце вечности, восход багров
И предрассветный холод сердце душит.
Минула ночь. Уже проснулись души
От утренних, туманно-теплых слов.
И сны бегут, и правда обнажилась.
Простая. Перекладина креста.
Последний знак последнего листа, –
И книга жизни в вечности закрылась.
Владимир Корвин-Пиотровский

Воздушный змей

Змей уходил под облака

(Так в высоте душа летала),
Нить гнулась, дергала слегка
(как бы звала издалека),
Воздушной жизнью трепетала.
Я небо осязал рукой,
Его упругое течение, –
Постиг лазури назначение,
Ее двусмысленный покой.
Вдруг что-то лопнуло. Беда
Открылась разуму не сразу –
Еще бумажная звезда,
Катясь, взлетала иногда –
Лгала неопытному глазу.
Змей падал, падал – меж домов,
Меж разных вычурных строений, –
Нравоучение без слов
Для праздных городских умов,
Для внеслужебных настроений.
Я горестно смотрел туда,
Привычно строил наблюденья,
И вся воздушная среда
Как бы ждала его паденья.
Не закрепленный бечевой,
Он странным телом инородным
(Каким-то пьяницей свободным)
Скитался в синеве живой, –
Быть может, ангелом безродным
Летел по ломаной кривой.
«Зверь обростает шерстью для тепла...»

Зверь обростает шерстью для тепла,
А человек – любовным заблуждением, –
Лишь ты, душа, как мохом поросла
Насильственным и беглым наслаждением.
Меня томит мой неизбежный день,
Ни счастья в нем, ни даже возмущенья –
Есть голода высокая ступень,
Похожая на муки пресыщенья.
«Дырявый зонт перекосялся ниже...»

Дырявый зонт перекосялся ниже,
Плащ отсырел, намокли башмаки.
Бурлит фонтан. Весенний дождь в Париже, –
И девушке не избежать руки
Еще чужой, еще немного страшной, –
Она грустит и отступает прочь, –
И с лесенкой фонарщик бесшабашный
Их обогнал, и наступила ночь.
Сгущая мрак над улочкой старинной,
Бесцветные, как рыбы пузыри,
Висят цепочкой тонкой и недлинной
Ненужные влюбленным фонари.
Всю ночь шумят деревья в Тюльери[85],
Всю ночь вздыхают где-то на Неглинной.
«Заря уже над кровлями взошла. Пора...»

Заря уже над кровлями взошла. Пора.
Пестрит узорами страница.
И синева усталости ложится
На влажный блеск оконного стекла.
Но жаль уснуть. Смущенная душа
Так непривычно вдруг помолодела,
Так просто рифма легкая задела
Медлительный клинок карандаша.
Я не творю. С улыбкой, в полусне,
Набрасываю на бумагу строки,
И свежий ветер трогает мне щеки
Сквозь занавес, раздутый на окне.
Как я люблю непрочный этот час
Полусознания, полудремоты, –
Как пуст мой дом. Как дружелюбно кто-то

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Касается моих усталых глаз.
О, это ты, последняя отрада, –
В квадратном небе зреет синева,
Чуть-чуть шуршит незримая листва,
И никого, и никого не надо.
1931

«Играл оркестр в общественном саду...»

Анне Присмановой
Играл оркестр в общественном саду,
Рвалась ракета с треском и горела,
И девушка с цветком в руке смотрела
Поверх меня на первую звезду.
Из глубины взволнованного сада
На освещенный фонарями круг
Ночь темной бабочкой спустилась вдруг,
И медленно нахлынула прохлада.
Что помнишь ты, о сердце, в полной мере
Из тех годов, из тех высоких лет?
Любовный плач о выдуманной Мэри,
Два-три стиха и тайный пистолет.
Шумит земля в размерах уменьшенных,
Как вырос я для зла и для добра, –
Предчувствий светлых робкая пора
Сменилась бурей чувств опустошенных.
Сухой грозы невыносимый треск,
Бесплодных туч гремучее движенье,
Но нет дождя. Лишь молния и блеск,
Один огонь, одно самосожженье.
1943

«Решеткой сдавлено окно...»

Решеткой сдавлено окно
(Так душат жертву ночью черной),
В стене угрюмой и упорной
Полупрозрачное пятно.
Там жметсЯ мир белесоватый,
Одетый в сумерки и мшу.
В нем солнце желто-бурой ватой
Прилипло к мутному стеклу.
Деревья, облака и поле,
Все, что шумит в свободном сне,
Обезьязычено в неволе
В замазанном моем окне.
Но, рабством длительным наскуча,
Я углем на стене тайком
Рисую море, лес и тучу,
Ладью на берегу морском.
Я долго дую в парус белый,
И вот – бежит моя ладья, –
Счастливый путь, кораблик смелый,
За счастьем отправляюсь я.
И снова мир прозрачный дышит
В текучих водах и песках,
И ветер радугу колышет
В живых, гремучих облаках.
Морской лазурью воздух тронут,
Кипит веселая корма,
И в белой пене тонут, тонут
Окно, решетка и тюрьма.
1944

Тюрьма Френ

«Нас трое в камере одной...»

Нас трое в камере одной,
Враждующих в пространстве малом;
С рассвета говор площадной

Уже трещит в мозгу усталом.
А по соседству, через дверь,
Четыре смертных приговора, –
Быть может и для нас теперь,
Не в эту ночь, но скоро, скоро –
И вдруг, на некий краткий час,
Душа в молчанье окунулась,
Закрылась от холодных глаз,
В глубокий сон как бы проснулась.
И внемлет медленным громам,
Их зарожденью, нарастанью,
И тайным учится словам,
Еще не связанным гортанью –
Лишь шелест трав, лишь грохот вод,
Лесов ночное колыханье, –
В застенках всех земных широт
Свободы легкое дыханье.
1944

Двойник

Весенний ливень неумелый,
От частых молний днем темно,
И облака сирени белой
Влетают с грохотом в окно.
Земля расколота снаружи,
Сосредоточена внутри, –
Танцуют в темно-синей луже
И лопаются пузыри.
И вдруг, законы нарушая,
Один из них растет, растет,
И аркой радуга большая
Внутри его уже цветет.
Освобождаясь понемногу
От вязкой почвы и воды,
Он выплывает на дорогу,
Плывет в бурлящие сады.
И на корме его высокой
Под флагом трепетным возник
Виденьем светлым иль морокой
Мой неопознанный двойник.
Я рвусь к нему, но он не слышит,
Что я вослед ему кричу, –
Над ним сирень как море дышит,
В своих волнах его колышет
И влажно хлещет по плечу.
1944

«На склоне городского дня...»

На склоне городского дня
Шаги и глуше и небрежней, –
Вновь осень трогает меня
Очарованьем грусти прежней.
Я почерневшую скамью
В саду пустынном занимаю,
Я шляпу влажную мою
Движеньем медленным снимаю, –
И слушаю, как шелестят
Верхушки легкие над садом,
Как листья желтые летят
И падают со мною рядом.
Я тонкой тростью обвожу
Их по краям и протыкаю,
Я молча в прошлое гляжу,
В нем слабой тенью возникаю.
И возвращаюсь не спеша
В мою привычную заботу, –
В тумане сучьями шурша,
Весь город (или вся душа)
Уже готовится к отлету.

«Мой вечер тих. Невидимых ветвей...»

Мой вечер тих. Невидимых ветвей
Невнятный шорох следует за мною,
Воспоминанья робкий соловей
Вполголоса томится за спиною.
Я не вздохну. Неосторожный жест
Нарушит, может быть, очарованье, –
Офелия, как много в мире мест,
Где назначают призраку свиданье.
Меж двух домов беззвездная река,
В ней грозный факел отражен тревожно,
А ты плывешь, как облако легка,
Как водоросль слаба и невозможна.
О, ты плывешь, в бессмертье заперта,
За четыремь замками иль веками, –
Лишь с фонарей венчальная фата
Летит в лицо туманными клоками.
Поет тростник на темном берегу,
Дает сигнал к отплытию, и скоро
Я дымную звезду мою зажгу
Над рухнувшей твердыней Эльсинора –
И вот сосед, мечтательно жуя,
Проветриться выходит после чаю.
– Да, это ночь, – он говорит, и я
– Да, это ночь, – как эхо отвечаю.
1953

Десятый круг

– И я сошел безмолвно и угрюмо
В десятый круг. Там не было огней,
Был воздух чист. Лишь где-то меж камней
Мертво блуждали шорохи и шумы.
Вотще смотрел я напряженным взором
По сторонам, – ни крючьев, ни смолы
Я не нашел в прохладном царстве мглы.
Здесь ад казался просто коридором.
Под сводами готическими строго
Клубился мрак. Искусная резьба
Венчала медь граненого столба,
Давившего в железный брус порога.
Но, отойдя подальше в глубину,
Заметил я во впадинах гранита
Квадратные окованные плиты.
То были двери, – я нажал одну.
Учтивый бес помог мне неохотно,
Робел ли он? Не знаю. Тяжело
Плита осела. Бледное стекло
Высокий вход затягивало плотно.
Как в зеркале предстали предо мной
Две плоскости, – паркет оледенелый
И потолок, однообразно белый, –
Два зеркала с потухшей глубиной.
В потоке жидком неживого света
Там чья-то тень, похожая на сон,
Брела понуро. – Тише, это он, –
Шепнул мне бес, и я узнал Поэта.
Затерянный в жестокой тишине,
Он бредил вслух божественным размером,
Но на челе его, как пепел сером,
Жар музыки чумой казался мне.
Порой как будто рядом проплывала
Другая тень. Тогда его рука
Вздыхалась бурно, нежная строка
Звенела четким голосом металла.
Но нет, но нет. Невидимые стены
На горизонте замыкали круг,
Здесь умирал без эха каждый звук,

И были все созвучия – мгновенны.
Его стихи струились в пустоту,
Легко скользят по чертежу паркета, –
Когда же грань насквозь была пропета,
Она молчаньем жалила пята.
Так он бродил, без цели и отрады,
Не услаждая слуха ничьего,
И распадалось творчество его
На ребусы немые и шарады.
И понял я. И тайно содрогнулся,
Прижался к бесу в страхе и тоске.
Он запечатал скважину в замке,
Поморщился и криво улыбнулся.
«Налево, направо – шагай без разбора...»

Налево, направо – шагай без разбора,
Столетия считай на ходу, –
Сирень наступает на башни Самбора[86],
Ночь музыкой бродит в саду.
Ты призраком бредишь, ты именем болен,
Парчой откидных рукавов,
Серебряной шпорой и тем, что не волен
Бежать от любви и стихов.
Как дробь барабана на гулком паркете
В камнях самоцветных каблук, –
Мазурка до хрипа, до смерти, и эти
Признанья летающих рук...
Не надо, не надо, – я знаю заранее –
Измена в аллее пустой, –
Струя иль змея в говорливом фонтане
Блестит чешуей золотой.
Ночь музыкой душит, – и флейты и трубы,
В две скрипки поют соловьи,
Дай сердце, Марина, дай жаркие губы,
Дай легкие руки твои.
Сад гибелью дышит, – недаром мне снится
Под бархатной маской змея, –
Марина, Марина, Марина, царица,
Марина, царица моя.
«Замостье и Збараж, и Краков вельможный...»

Замостье и Збараж, и Краков вельможный
Сегодня в шелку и парче, –
На ели хрустальной закат невозможный,
Как роза на юном плече.
О, польское счастье под месяцем узким,
Дорога скрипит и хрустит, –
Невеста Марина с царевичем русским
По снежному полю летит.
Сквозь звезды и ветер летит и томится,
Ласкает щекой соболя, –
Расшит жемчугом на ее рукавице
Орел двоеглавый Кремля.
Ты смотришь на звезды, зарытые в иней,
Ты слушаешь верезг саней, –
Серебряный месяц над белой пустыней,
Серебряный пар от коней.
Вся ночь в серебро переплавится скоро,
Весь пламень в дыханье твоём, –
Звенит на морозе венгерская шпора,
Поет ледяным соловьем.
О, польская гибель в заносах сирени,
В глубоком вишневом цветке, –
Горячее сердце и снег по колени,
И цокот копыт на лету.
Все музыкой будет, – вечерней гитарой,
Мазуркой в уездной глуши,
Журчаньем фонтана на площади старой,
Нечаянным вздохом души.
«Не от свинца, не от огня...»

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Не от свинца, не от огня
Судьба мне смерть судила, –
Шрапнель веселая меня
Во всех боях щадила.
И сталь граненая штыка
Не раз щадила тоже, –
Меня легчайшая рука
Убьет в застенке ложи.
В жилете снежной белизны
И в черном фраке модном,
С небрежной прядью седины
На черепе холодном
Скрипач, улыбку затая,
Помедлит над струною,
И я узнаю, – смерть моя
Пришла уже за мною.
И будет музыка дика,
Не шевельнутся в зале,
И только молния смычка
Падет во тьму рояля.
Перчатку узкую сорву
(А сердце захлебнется),
И с треском шелковым по шву
Перчатка разорвется.
Я молча навзничь упаду,
По правилам сраженья,
Суровый доктор на ходу
Отдаст распоряженья.
И, усмиряя пыл зевак,
Чиновник с грудью впалой
Заметит сдержанно, что так
Не прочь и он, пожалуй.
«Для последнего парада...»

Для последнего парада [87]
Накренья высокий борт,
Резвый крейсер из Кронштадта
Входит в молчаливый порт.
И, с чужой землей прощаясь,
К дальним странствиям готов,
Легкий гроб плывет, качаясь,
Меж опущенных голов.
Правы были иль не правы –
Флаг приспущен за кормой, –
С малой горстью русской славы
Крейсер повернул домой.
Брызжет радостная пена, –
Высота и глубина, –
Лишь прощальная сирена
В синем воздухе слышна.
Час желанного возврата
(Сколько звезд и сколько стран), –
В узком горле Каттегата
Северный залег туман.
И до Финского залива,
Сквозь балтийский дождь и тьму,
Бьет волна неторопливо
В молчаливую корму.
И встают, проходят мимо
В беглой вспышке маяка
Берега и пятна дыма,
Острова и облака.
Николай Евсеев

«Все одно и то же бездорожье...»

Все одно и то же бездорожье,
Как у дедов, прадедов, отцов.
Разговор о благодати Божьей
И один конец в конце концов.
Умереть и горько и обидно.

Жить хочу, хочу, как никогда.
Ничего и ничего не видно,
Черная шумит, шумит вода.
И глаза я в страхе закрываю.
Силюсь я молитву прочитать.
Господи, я, как всегда, не знаю,
Смерть моя, быть может, благодать.
Расставанье

Хотел бы я оставить внукам
Своей любви какой-то след –
Мой след хождения по мукам
На протяженьи долгих лет.
Я расстанусь... Но не разлука,
А расставанье без конца.
Такая сладостная мука –
«Черты любимого лица».
Ее лицо – поля, просторы,
Луга, озера, облака,
В степи туманы, косогоры,
Моя песчаная река.
О если б расставанью длиться!
Ведь в нем такая благодать.
Хотя бы раз еще родиться
Иль никогда не умирать.
Конь

Лето. Горлинки турчанье.
У пруда вальками бьют.
На конюшне слышно ржанье,
И тебя поить ведут.
Ты идешь на недоуздке
Весь блестящий и гнедой.
Припадешь к колоде узкой
Розоватую губой.
Ты напьешься и потянешь
Епифана за собой.
На минуту диким станешь,
А потом пойдешь домой –
В свой денник, где пахнет четко
И тобою и твоим,
Где сквозь крепкую решетку
Небо смотрит голубым.
Ты мой конь – ты брат мой милый,
Было нам немного лет,
Но они с такою силой
Вновь лучат чудесный свет –
Голубой, почти небесный,
Полный тайны бытия.
Я с тобою, с бестелесным.
Брат гнедой – любовь моя.
«Помню войну, что шумела когда-то...»

Помню войну, что шумела когда-то.
Шли за Россию полки умирать.
Рава, Гумбинен, Варшава, Карпаты.
После далёко пришлось отступить.
Тяжкое помню прощание с Крымом,
Все расставанье с родною землей,
И пароходов тяжелые дымы
Над голубой черноморской водой.
Константинополь... Завод под Парижем.
Время махнуло мне быстрым крылом.
Сильные плечи склоняются ниже...
Может быть, лучше молчать о своем.
Что же сказать? И кому это нужно.
Нечем хвалиться пред вами, друзья.
Все ж драгоценною нитью жемчужной
Жизнь протянулась куда-то моя.
«Иноходец был резвый, горячий...»

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Иноходец был резвый, горячий.
Пристяжная еще горячей.
Жизнь казалась одною удачей
Средь осенних бегущих полей.
И поля за полями мелькали,
Будто счастье летело со мной
В голубые зовущие дали,
В белый дом за песчаной рекой.
Был тогда я еще малолеткой,
Бесшабашным сорвиголовой,
И не знал, как огромною клеткой
Встанет мир над казачьей душой.
А душа, словно стрепет влюбленный,
Тот, что бьется в калмыцкой петле,
Перепуганный и возмущенный,
На апрельской цветущей земле.
«Не сплю, не сплю и вижу...»

Е. К. Девлет-Килдеевой
Не сплю, не сплю и вижу
Во сне, как наяву,
Что я не под Парижем,
А на бахче живу.
И что не май цветущий,
Но август золотой –
Мой месяц самый лучший
На полосе степной.
Лежат горой арбузы
В соломе золотой.
И вдруг приходит Муза
Поговорить со мной.
Она пришла босая,
С пучком травы в руках,
Простая и родная,
С улыбкой на губах.
Наш разговор недолог,
В моих руках трава,
Над нами неба полог,
И слышатся слова,
Мои слова глухие,
Как счастлив жребий мой,
Что Музой Россия
Была во сне со мной.
На Хопре

Дениз Евсеевой
Варили кашу с салом
На берегу крутом.
Закат разливом алым
Простерся над Хопром.
И звезды так несмело
Взглянули с высоты,
И утка пролетела
В закат из темноты.
Как светляки, горели
Костры в ночном у стад.
И где-то близко пели
Про белый-белый сад.
Душа была готова
Весь этот мир обнять...
О если бы ей снова
Все пережить опять!
Май 1954

Георгий Адамович

«Твоих озер, Норвегия, твоих лесов...»

Твоих озер, Норвегия, твоих лесов...
И оборвалась речь сама собою.
На камне женщина поет без слов.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Над нею небо льдисто-голубое.
О верности, о горе, о любви,
О сбившихся с дороги и усталых
– я здесь! Я близко! Вспомни... назови! –
Сияет снег на озаренных скалах.
Сияют сосны красные в снегу,
Сон недоснившийся, неясный, о котором
Иначе рассказать я не могу
Твоим лесам, Норвегия, твоим озерам.
«За все, за все спасибо. За войну...»

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнание.
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существование».
Нет доли сладостней – все потерять.
Нет радостней судьбы – скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,
Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже...
«Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный, когда?..»

Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный[88], когда? –
Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем...
Больница. Когда мы в Россию... колышется счастье в бреду,
Как будто «Коль славен» играют в каком-то приморском саду,
Как будто сквозь белые стены, в морозной предутренней мгле
Кольшутся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.
Когда мы... довольно, довольно. Он болен, измучен и наг.
Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг,
И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернемся... но снегом ее замело.
Пора собираться. Светает. Пора бы и двигаться в путь.
Две медных монеты на веки. Скрещенные руки на грудь.
«Что там было? Ширь закатов блеклых...»

Что там было? Ширь закатов блеклых,
Золоченых спилей легкий взлет,
Ледяные розаны на стеклах,
Лед на улицах и в душах лед.
Разговоры будто бы в могилах,
Тишина, которой не смутить...
Десять лет прошло, и мы не в силах
Этого ни вспомнить, ни забыть.
Тысяча пройдет, не повторится,
Не вернется это никогда.
На земле была одна столица,
Все другое – просто города.
«Один сказал: "Нам этой жизни мало"...»

Один сказал: «Нам этой жизни мало»,
Другой сказал: «Недостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.
И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали – каждый раз нежней –
Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.
«Ночь... и к чему говорить о любви?..»

Ночь... и к чему говорить о любви?
Кончены розы и соловьи,
Звезды не светят, леса не шумят,
Непоправимое... пятьдесят.
С розами, значит, или без роз,
Ночь, – и «о жизни покончен вопрос».

...И оттого еще более ночь,
Друг, не способный любить и помочь,
Друг моих снов, моего забытья,
Счастье мое, безнадежность моя,
Розовый идол, персидский фазан
Птица, зарница... ну что же, я пьян,
Друг мой, ну что же, так сходят с ума,
И оттого еще более тьма,
И оттого еще глуше в ночи,
Что от немеркнувшей, вечной Свечи,
– Если сознание, то в глубине,
Если душа, то на самом дне, –
Луч беспощадный врезается в тьму:
Жить, умирать – все равно одному.
«Ну, вот и кончено теперь. Конец...»

Ну, вот и кончено теперь. Конец.
Легко и просто, грубо и уныло.
А ведь из человеческих сердец
Таких, мне кажется, не много было.
Но что ему мерещилось? О чем
Он вспоминал, поверя сну пустому?
Как на большой дороге, под дождем,
Под леденящим ветром... к дому, к дому.
Ну, вот и дома. Узнаешь? Конец.
Все ясно. Остановка. Окончанье.
А ведь из человеческих сердец...
И это обманувшее сиянье!
«Патрон за стойкою глядит привычно, сонно...»

Патрон за стойкою глядит привычно, сонно,
Гарсон у столика подводит блюдцам счет.
Настойчиво, назойливо, неугомонно
Одно с другим – огонь и дым – борьбу ведет.
Не для любви любить, не от вина быть пьяным.
Что знает человек, который сам не свой?
Он усмехается над допитым стаканом,
Он что-то говорит, качая головой.
За все, что не сбылось. За тридцать лет разлуки,
За вечер у огня, за руки на плече.
Еще, за ангела... и те, иные звуки...
Летел, полуночью[89]... за небо, вообще!
Он проиграл игру, он за нее ответил.
Пора и по домам. Надежды никакой.
– И беспощадно бел, неумолимо светел,
День занимается в полоске ледяной.
«Безлунным вечером, в гостинице, вдвоем...»

Безлунным вечером, в гостинице, вдвоем,
На грубых простынях привычно засыпая...
Мечтатель, где твой мир? Скиталец, где твой дом?
Не поздно ли искать искусственного рая?
Осенний крупный дождь стучится у окна,
Обои движутся под неподвижным взглядом.
Кто эта женщина? Зачем молчит она?
Зачем лежит она сейчас со мною радом?
Осенним вечером, Бог знает где, вдвоем,
В удушии духов, над облаками дыма...
О том, что мы умрем. О том, что мы живем.
О том, как страшно все. И как непоправимо.
«Слушай – и в смутных догадках не лги...»

Слушай – и в смутных догадках не лги.
Ночь настает, и какая! Ни зги.
Надо безропотно встретить ее,
Как ни сжималось бы сердце твое.
Слушай себя, но не слушай людей.
Музыка мира все глуше, бедней.
Космос, полеты, восторги, война, –
Жизнь, говорят, измениться должна.
(Да, это так... но не поняли вы:

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
«Тише воды, ниже травы».)
«Ни музыки, ни мысли... Ничего...»

Ни музыки, ни мысли... Ничего.
Тебе давно чистописанья мало,
Тебе давно игрой постылой стало,
Что для других и путь и торжество.
Но навсегда вплелся в напев твой сонный, –
Ты знаешь сам, – вошел в слова твои,
Бог весть откуда, голос приглушенный,
Быть может, смерти, может быть, любви.
«Ночью он плакал. О чем, все равно...»

Ночью он плакал. О чем, все равно.
Многое спутано, затаено.
Ночью он плакал, и тихо над ним
Жизни сгоревшей развеялся дым.
Утром другие приходят слова,
Перебираю, что помню едва.
Ночью он плакал. И брезжил в ответ
Слабый, далекий, а все-таки свет.
«Ты здесь, опять... Неверная, что надо...»

Ты здесь, опять... Неверная, что надо
Тебе от человека в забытьи?
Скажи на милость, велика отрада –
Улыбки, взгляды, шалости твои!
О, как давно тебе я знаю цену,
Повадки знаю и притворный пыл.
Я не простил... скорей забыл измену,
Да и ночные рассказы забыл.
Что пять минут отравленного счастья?
Что сладости в лирическом чаду?
Иной, иной «с восторгом сладострастья»
Я тридцать лет тебя напрасно жду.
Пройдемся, что ж... То плача, то играя,
То будто отрываясь от земли,
Чтоб с берегов искусственного рая
Вернуться нищими, как и пришли.
И мы выходим. Небо? Небо то же,
Снег, рестораны, фонари, дома.
Как холодно и тихо. Как похоже...
Нет, я не болен, не схожу с ума,
Нет, я не обольщаюсь: нет измены.
Чуть кружится, как прежде, голова,
С каким-то невским ветерком от Сены
Летят, как встарь, послушные слова,
День настает почти нездешне яркий,
Расходится предутренняя мгла,
Взвивается над Елисейской Аркой
Адмиралтейства вечная игла.
И в высоте немислимо морозной,
В сияющей, слепящей вышине
Лик неизменный, милосердный, грозный,
В младенчестве склонявшийся ко мне...
* * *

Спасибо, друг. Не оставляй так скоро,
А малодушие ты мне прости.
Не мало человек болтает вздора,
Как говорят, «на жизненном пути».
Не забывай. Случайно, мимоходом,
На огонек, – скажи, придешь?
«Был вечер на пятой неделе...»

Был вечер на пятой неделе
Поста. Было больно в груди.
Все жилы тянулись, болели,
Предчувствуя жизнь впереди.
Был зов золотых колоколен,
Был в воздухе звон, а с Невы

Был ветер весенен и волен
И шляпу срывал с головы.
И вот, на глухом перекрестке
Был незабываемый взгляд,
Короткий, как молния, жесткий,
Сухой, будто кольта разряд,
Огромный, как небо, и синий,
Как небо... Вот, кажется, всё.
Ни красок, ни зданий, ни линий,
Но мертвое сердце мое.
Мне было шестнадцать, едва ли
Семнадцать... Вот, кажется, всё.
Ни оторопи, ни печали,
Но мертвое сердце мое.
Есть память, есть доля скитальцев,
Есть книги, стихи, суета,
А жизнь... жизнь прошла между пальцев
На пятой неделе поста.
Пять восьмистиший

(1. «Ночь... в первый раз сказал же кто-то – ночь!..»

Ночь... в первый раз сказал же кто-то – ночь!
Ночь, камень, снег... как первобытный гений.
Тебе, последыш, это уж невмочь.
Ты раб картинности и украшений.
Найти слова, которых в мире нет,
Быть безразличным к образу и краске,
Чтоб вспыхнул белый безначальный свет,
А не фонарик на грошовом масле.

(2. «Нет, в юности не все ты разгадал...»

Нет, в юности не все ты разгадал,
Шла за главой глава, за фразой фраза,
И книгу жизни ты перелистал,
Чуть-чуть дивясь бессмыслице рассказа.
Благословенны ж будьте вечера,
Когда с последними строками чтенья
Все, все твердит – «пора, мой друг, пора»,
Но втайне обещает продолженье.
(3. «Окно, рассвет... Едва видны, как тени...»

Окно, рассвет... Едва видны, как тени,
Два стула, книги, полка на стене...
Проснулся ль я? Иль неземной сирени
Мне свежесть чудится еще во сне?
Иль это сквозь могильную разлуку,
Сквозь тускло-дымчатые облака,
Мне тень твоя протягивает руку
И улыбается издали?
(4. «Что за жизнь! Никчемные затеи...»

Что за жизнь! Никчемные затеи,
Скука споров, скука вечеров.
Только по ночам, и все яснее,
Тихий, вкрадчивый, блаженный зов.
Не ищи другого новоселья.
Там найдешь ты истину и дом,
Где пусто, где тоскует келья
О забывчивом жильце своем.
5. «"Понять-простить". Есть недоступность чуда...»

«Понять-простить». Есть недоступность чуда,
Есть мука, есть сомнение в ответ.
Ночь, шепот, факел, поцелуй... Иуда.
Нет имени темней. Прощенья нет.
Но может быть, в тоске о человеке,
В смятении, в спешке все договорить
Он миру завещал в ту ночь навеки
Последний свой закон: «понять-простить».
«Поговорить бы хоть теперь, Марина!..»

Памяти М. Ц.
Поговорить бы хоть теперь, Марина!
При жизни не пришлось. Теперь вас нет.
Но слышится мне голос лебединый,
Как вестник торжества и вестник бед.
При жизни не пришлось. Не я виною.
Литература – приглашение в ад,
Куда я радостно входил, не скрою,
Откуда никому – путей назад.
Не я виной. Как много в мире боли.
Но ведь и вас я не виню ни в чем.
Всё – по случайности, всё – по неволе.
Как чудно жить. Как плохо мы живем.
Марина Цветаева

«Есть час на те слова...»

Есть час на те слова,
Из слуховых глушизн
Высокие права
Выстукивает жизнь.
Быть может – от плеча,
Протиснутого лбом.
Быть может – от луча,
Невидимого днем.
В напрасную струну
Прах – взмах на простыню.
Дань страху своему
И праху своему.
Жарких самоуправств
Час – и тишайших просьб.
Час безземельных братств.
Час мировых сиротств.
11 июня 1922

Хвала богатым

И засим, упредив заране,
Что меж мной и тобою – мили!
Что себя причисляю к рвани,
Что честно мое место в мире:
Под колесами всех излишеств:
Стол уродов, калек, горбатых...
И засим, с колокольной крыши
Объявляю: люблю богатых!
За их корень, гнилой и шаткий,
С колыбели растящий рану,
За растерянную повадку
Из кармана и вновь к карману.
За тишайшую просьбу уст их,
Исполняемую как окрик,
И за то, что их в рай не впустят,
И за то, что в глаза не смотрят.
За их тайны – всегда с нарочным!
За их страсти – всегда с рассыльным!
За навязанные им ночи
(И целуют и пьют насильно!)
И за то, что в учетах, в скуках,
В позолотах, в зевотах, в ватах,
Вот меня, наглеца, не купят, –
Подтверждаю: люблю богатых!
А еще, несмотря на бритость,
Сытость, питость (моргну – и трачу!),
За какую-то – вдруг – побитость,
За какой-то их взгляд собачий,
Сомневающийся...
– не стержень
ли к нулям? Не шалют ли гири?
И за то, что меж всех отверженств
Нет – такого сиротства в мире!

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fiло

Есть такая дурная басня:
Как верблюды в иглу пролезли.
...За их взгляд, изумленный насмерть,
Извиняющийся в болезни,
Как в банкротстве... «Ссудил бы... Рад бы –
Да...»

За тихое, с уст зажатых:
«По каратам считал, я – брат был...»
– Присягаю: люблю богатых!
30 сентября 1922

Эмигрант

Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами,
Дамами, Думами,
Не слюбившись с вами, не сбившись с вами,
Неким –
Шуманом пронося под полой весну:
Выше! из виду!
Соловьиным тремоло на весу –
Некий – избранный.
Боязливейший, ибо, взяв на дыб –
Ноги лижете!
Заблудившийся между грыж и глыб
Бог в блудилище.
Лишний! Вышний! Выходец! Вызов! Ввысь
Не отвыкший... Виселиц
Не принявший. В рвани валют и виз
Веги – выходец.
9 февраля 1923

Поэты

1. «Поэт – издалека заводит речь...»

Поэт – издалека заводит речь.
Поэта – далеко заводит речь.
Планетами, приметам, окольных
Притч рытвинами... Между да и нет
Он, даже размахнувшись с колокольни,
Крюк выморочит... Ибо путь комет –
Поэтов путь. Развеянные звенья
Причинности! – вот связь его! Кверх лбом –
Отчаяться! Поэтовы затмения
Не предугаданы календарем.
Он тот, кто смешивает карты,
Обманывает вес и счет,
Он тот, кто спрашивает с парты,
Кто канта наголову бьет,
Кто в каменном гробу Бастилий
Как дерево в своей красе.
Тот, чьи следы – всегда простыли,
Тот поезд, на который все
Опаздывают...
– ибо путь комет
Поэтов путь: жжя, а не согревая,
Рвя, а не взращивая – взрыв и взлом –
Твоя стезя, гривастая кривая,
Не предугадана календарем!
8 апреля 1923

2. «Есть в мире лишние, добавочные...»

Есть в мире лишние, добавочные,
Не вписанные в окоём.
(Не числящимся в ваших справочниках,
Им свалочная яма – дом.)
Есть в мире полые, затолканные,
Немотствующие – навоз,
Гвоздь – вашему подолу шелковому!
Грязь брезгует из-под колес!

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Есть в мире мнимые, невидимые:
(Знак: лепрозариумов крап!)
Есть в мире Иовы, что Иову
Завидовали бы – когда б:
Поэты мы – и в рифму с париями,
Но, выступив из берегов,
Мы бога у богинь оспариваем
И девственницу у богов!
22 апреля 1923

3. «Что же мне делать, слепцу и пасынку...»

Что же мне делать, слепцу и пасынку,
В мире, где каждый и отч и зряч,
Где по анафемам, как по насыпям –
Страсти! где насморком
Назван – плач!
Что же мне делать, ребром и промыслом
Певчей! – как провод! загар! Сибирь!
По наважденьям своим – как по мосту!
С их невесомостью
В мире гирь.
Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший – сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?!
22 апреля 1923

Прокрасться...

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем –
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах...
Может быть – отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив скал.
А может – лучшая потеха
Перстом Севастиана Баха
Органного не тронуть эха?
Распасться, не оставив праха
На урну...
Может быть – обманом
Взять? Выписаться из широт?
Так: Временем как океаном
Прокрасться, не встревожив вод...
14 мая 1923

Мореплаватель

Закачай меня, звездный челн!
Голова устала от волн!
Слишком долго причалить тщусь, –
Голова устала от чувств:
Гимнов – лавров – героев – гидр, –
Голова устала от игр!
Положите меж трав и хвой, –
Голова устала от войн...
12 июня 1923

Минута

Минута: минущая: минешь!
Так мимо же, и страсть и друг!
Да будет выброшено ныне ж –
Что завтра б – вырвано из рук!
Минута: мерящая! Малость
Обмеривающая, слышь:

То никогда не начиналось,
Что кончилось. Так лги ж, так льсти ж
Другим, десятиричной кори
Подверженным еще, из дел
Не выросшим. Кто ты, чтоб море
Разменивать? Водораздел
Души живой? О, мель! О, мелочь!
У славного Царя Щедрот
Славнее царства не имелось,
Чем надпись: «И сие пройдет» –
На перстне... На путях обратных
Кем не измерена тщета
Твоих Аравий циферблатных
И маятников маята?
Минута: мающая! Мнимость
Вскачь – медлящая! В прах и в хлам
Нас мелющая! Ты, что минешь:
Минута: милостыня псам!
О как я рвусь тот мир оставить,
Где маятники душу рвут,
Где вечностью моею правит
Разминовение минут.
12 августа 1923

Приметы

Точно гору несла в подоле –
Всего тела боль!
Я любовь узнаю по боли
Всего тела вдоль.
Точно поле во мне разъяли
Для любой грозы.
Я любовь узнаю по дали
Всех и вся вблизи.
Точно нору во мне прорыли
До основ, где смоль.
Я любовь узнаю по жиле,
Всего тела вдоль
Стонущей. Сквозняком как гривой
Овеваясь, гунн:
Я любовь узнаю по срыву
Самых верных струн
Горловых, – горловых ущелий
Ржавь, живая соль.
Я любовь узнаю по щели,
Нет! – по трели
Всего тела вдоль!
29 ноября 1924

«Кто – мы? Потонул в медведях...»

Кто – мы? Потонул в медведях
Тот край, потонул в полозьях.
Кто – мы? Не из тех, что ездят, –
Вот – мы! А из тех, что возят:
Возницы. В раненьях жгучих
В грязь вбитые – за везучесть.
Везло! Через Дон – так голым
Льдом. Хватъ – так всегда патроном
Последним. Привар – несолон.
Хлеб – вышел. Уж как везло нам!
Всю Русь в наведенных дулах
Несли на плечах сутулых.
Не вывезли! Пешим драл ом –
В ночь, выхаркнуты народом!
Кто мы? да по всем вокзалам!
Кто мы? да по всем заводам!
По всем гнойникам гаремным[90] –
Мы, вставшие за деревню,
За – дерево...
С шестерней, как с бабой, сладившие –

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Это мы – белоподкладочники?
С Моховой князя да с Бронной-то –
Мы-то – золотопогонники!
Гробокопы, клопологи –
Подошло! подошло!
Это мы пустили слово:
Хорошо! хорошо!
Судомои, крысотравы,
Дом – верша, гром – глуша,
Это мы пустили славу:
– Хороша! хороша –
Русь!
Маляры-то в поднебесьице –
Это мы-то с жиру бесимся?
Баррикады в Пятом строили
Мы, ребятами.
– История.
Баррикады, а нынче – троны.
Но всё тот же мозольный лоск.
И сейчас уже Шарантоны
Не вмещают российских тоск.
Мрем от них. Под шинелью драной –
Мрем, наган наставляя в бред...
Перестраивайте Бедламы:
Все – малы для российских бед!
Бредит шпорой костыль – острите! –
Пулеметом – пустой обшлаг.
В сердце, явственном после вскрытья, –
Ледяного похода знак.
Всеми пытками не исторгли!
И да будет известно – там:
Доктора узнают нас в морге
По не в меру большим сердцам.
Апрель 1926

Маяковскому

1

Чтобы край земной не вымер
Без отчаянных дядей,
Будь, младенец, Володимир:
Целым миром володей!

2

Литературная – не в ней
Суть, а вот – кровь пролейте!
Выходит каждые семь дней.
Ушедший – раз в столетье
Приходит. Сбит передовой
Боец. Каких, столица,
Еще вестей тебе, какой
Еще – передовицы?
Ведь это, милые, у нас
Черновец – милюковцу:
«Владимир Маяковский? Да-с,
Бас, говорят, и в кофе
Ходил...»

Эх, кровь-твоя-кровца!
Как с новью примириться,
Раз первого ее бойца
Кровь – на второй странице
(Известий).

3

«В гробу, в обыкновенном темном костюме,
в устойчивых, грубых ботинках, подбитых
железом, лежит величайший поэт революции».

В сапогах, подкованных железом,
В сапогах, в которых гору брал –
Никаким обходом ни объездом
Не доставшийся бы перевал –
Израсходованных до сиянья
За двадцатилетний перегон.
Гору пролетарского Синая,
На котором праводатель – он.
В сапогах – двустопная жилплощадь,
Чтоб не вмешивался жилотдел –
В сапогах, в которых, понаморщась,
Гору нес – и брал – и клял – и пел –
В сапогах и до и без отказа
По невспаханностям Октября,
В сапогах почти что водолаза:
Пехотинца, чище ж говоря:
В сапогах великого похода,
На донбассовских, небось, гвоздях.
Гору горя[91] своего народа
Стапятидесяти (Госиздат)
Миллионного...[92] – В котором роде
Своего, когда который год:
«Ничего-де своего в заводе!»
Всех народов горя гору – вот.
Так вот в этих – про его Рольс-Ройсы
Говорок еще не приутих –
Мертвый пионерам крикнул: Стройся!
В сапогах – свидетельствующих.
4

любовная лодка разбилась о быт.[93]

И полушки не поставишь
На такого главаря.
Лодка-то твоя, товарищ,
Из какого словаря?
В лодке да еще в любовной
Запрокинуться – скандал!
Разин – чем тебе не ровня? –
Лучше с бытом совпадал.
Эко новшество – лекарство,
Хлещущее, что твой кран!
Парень, не по-пролетарски
Действуешь – а что твой пан!
Стоило ж в богов и в матку
Нас, чтоб – кровь, а не рассвет! –
Класса белую подкладку
Выворотить напослед.
Вроде юнкера, на «Тоске»
Выстрелившего – с тоски!
Парень! не по-маяковски
Действуешь: по-шаховски.
Фуражечку б на бровишки
И – прощай, моя джаным!
Правнуком своим проживши,
Кончил – прадедом своим.
То-то же как на поверку
Выйдет – стыд тебя заест:
Совето-российский Вертер.
Дворяно-российский жест.
Только раньше – в околодок,
Нынче ж...
– Враг ты мой родной!
Никаких любовных лодок
Новых – нету под луной.
5

Выстрел – в самую душу,
Как только что по врагам.

Богоборцем разрушен
Сегодня последний храм.
Еще раз не осекся
И, в точку попав – усоп.
Было, стало быть, сердце,
Коль выстрелу следом – стоп.
(Зарубежье, встречаясь:
«Ну, казус! Каков фугас!
Значит – тоже сердца есть?
И с той же, что и у нас?»)
Выстрел – в самую точку,
Как в ярмарочную цель.
(Часто – левую мочку
Отбривши – с женой в постель.)
Молодец! Не прошибся!
А женщины ради – что ж!
И Елену паршивкой
– Подумавши – назовешь.
Лишь одним, зато знатно,
Нас лефовец удивил:
Только вправо и знавший
Палить-то, а тут – слевил.
Кабы в правую – свёрк бы
Ланцетик – и здрав ваш шеф.
Выстрел в левую створку:
Ну в самый-те Центропев!
б

Зёрна огненного цвета

Брошу на ладонь,

чтоб предстал он в бездне света

Красный как огонь.

Советским вельможей,
При полном синоде...
– Здорово, Сережа!
– Здорово, Володя!
Умаялся? – Малость.
– По общим? – По личным.
– Стрелялось? – Привычно.
– Горелось? – Отлично.
– Так стало быть пожил?
– Пасс в нек'тором роде.
...Негоже, Сережа!
...Негоже, Володя!
А помнишь, как матом
Во весь свой эстрадный
Басище – меня-то
Обкладывал? – Ладно
Уж... – Вот-те и шлюпка
Любовная лодка!
Ужель из-за юбки?
– Хужей из-за водки.
Опухшая рожа.
С тех пор и на взводе?
Негоже, Сережа.
– Негоже, Володя.
А впрочем – не бритва –
Сработано чисто.
Так стало быть бита
Картишка? – Сочится.
– Приложь подорожник.
– Хорош и коллодий.
Приложим, Сережа.
– Приложим, Володя.
А что на Рассее –
На матушке? – То есть
Где? – В Эсэсэсэре

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fіlo

Что нового? – Строят.
Родители – родят,
Вредители – точут,
Издатели – водят,
Писатели – строчут.
Мост новый заложен,
Да сбит половодьем.
Все то же, Сережа!
– Все то же, Володя.
А певчая стая?
– Народ, знаешь, тертый!
Нам лавры сплетая,
У нас, как у мертвых,
Прут. Старую Росту
Да завтрашним лаком.
Да не обойдешься
С одним Пастернаком.
Хошь, руку приложим
На ихнем безводье?
Приложим, Сережа?
– Приложим, Володя!
Еще тебе кланяется...
– А что добрый
Наш Льсан Алексаныч[94]?
– Вон – ангелом! – Федор
Кузьмич[95]? – На канале:
По красные щеки
Пошел. – Гумилев Николай?
– На Востоке.
(В кровавой рогоже,
На полной подводе...)
– Все то же, Сережа.
– Все то же, Володя.
А коли все то же,
Володя, мил-друг мой,
Вновь руки наложим,
Володя, хоть рук – и –
Нет.
– Хоть и нету,
Сережа, мил-брат мой,
Под царство и это
Подложим гранату!
И на растворенном
Нами Восходе –
Заложим, Сережа!
– Заложим, Володя!
7

Много храмов разрушил,
А этот – ценней всего.
Упокой, Господи, душу
Усопшего врага твоего.
Август 1930

«– Не нужен твой стих...»

– Не нужен твой стих –
Как бабушкин сон.
– А мы для иных
Сновидим времен.
– Докучен твой стих –
Как дедушкин вздох.
– А мы для иных
Дозорим эпох.
– В пять лет – целый свет –
Вот сон наш каков!
– Ваш – на пять лишь лет,
Мой – на пять веков.
– Иди, куда дни!
– Дни мимо идут.
– Иди, куда мы.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

– Слепые ведут.
А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси.
17 сентября 1931

Медон

Бузина

Бузина цельный сад залила!
Бузина зелена, зелена!
Зеленее, чем плесень на чане,
Зелена – значит, лето в начале!
Синева – до скончания дней!
Бузина моих глаз зеленей!
А потом – через ночь – костром
Ростопчинским[96]! – в очах красно
От бузинной пузырчатой трели.
Красней кори на собственном теле
По всем порам твоим, лазорь,
Рассыпающаяся корь
Бузины – до зимы, до зимы!
Что за краски разведены
В мелкой ягоде, слаще яда!
Кумача, сургуча и ада –
Смесь коралловых мелких бус –
Блеск, запекшейся крови – вкус!
Бузина казнена, казнена!
Бузина – цельный сад залила
Кровью юных и кровью чистых,
Кровью веточек огнекистых –
Веселейшей из всех кровей:
Кровью сердца – твоей, моей...
А потом – водопад зерна,
А потом – бузина черна,
С чем-то сливовым, с чем-то липким.
Над калиткой, стонавшей скрипкой
Возле дома, который пуст, –
Одинокий бузинный куст.
Бузина, без ума, без ума
Я от бус твоих, бузина!
Степь – хунхузу, Кавказ – грузину,
Мне – мой куст под окном бузинный
Дайте. Вместо дворцов Искусств
Только этот бузинный куст...
Новосёлы моей страны!
Из-за ягоды бузины,
Детской жажды моей багровой,
Из-за древа и из-за слова:
Бузина (по сей день – ночью...),
Яда – всосанного очьми...
Бузина багрова, багрова!
Бузина – цельный край забрала
В лапы: детство мое у власти.
Нечто вроде преступной страсти,
Бузина, меж тобой и мной.
Я бы века болезнь – бузиной
Назвала...
11 сентября 1931 – 21 мая 1935

Страна

С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет.
Той страны на карте –
Нет, в пространстве – нет.
Выпита как с блюдца:
Доньшко блеснит!
Можно ли вернуться

В дом, который – срыт?
Заново родися!
В новую страну!
Ну-ка, воротися
На спину коню
Сбросившему! (Кости
Целы-то – хотя?)
Эдакому гостю
Булочник – ломтя
Ломаного, плотник –
Гроба не продаст!
Той ее – несчетных
Верст, небесных царств,
Той, где на монетах –
Молодость моя,
Той России – нету.
Как и той меня.
1931

«Никуда не уехали – ты да я...»

Никуда не уехали – ты да я –
Обернулись прорехами – все моря!
Совладельцам пятерки рваной –
Океаны не по карману!
Нищеты вековечная сухомять!
Снова лето, как корку, всухую мять!
Обернулось нам море – мелью:
Наше лето – другие съели!
С жиру лопающиеся: жир – их «лоск»,
Что не только что масло едят, а мозг
Наш – в поэмах, в сонатах, в сводах:
Людоеды в парижских модах!
Нами – лакомящиеся: франк – за вход.
О, урод, как водой туалетной – рот
Сполоснувший – бессмертной песней!
Будьте прокляты вы – за весь мой
Стыд: вам руку жать, когда зуд в горсти, –
Пятью пальцами – да от всех пяти
Чувств – на память о чувствах добрых –
Через всё вам лицо – автограф!
1932 – лето 1935

«Тоска по родине! Давно...»

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно –
Где совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что – мой,
Как госпиталь или казарма.
Мне всё равно, каких среди
Лиц ошестиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной – непременно –
В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины
Где не ужиться (и не тцусь!),
Где унижаться – мне едино.
Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично, на каком
Не понимаемой быть встречным!
(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен...)
Двадцатого столетья – он,
А я – до всякого столетья!
Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,

Мне все – равны, мне всё – равно
И, может быть, всего равнее –
Роднее бывшее – всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты – как рукой сняло:
Душа, родившаяся – где-то.
Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей – поперек!
Родимого пятна не сыщет!
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё – равно, и всё – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина...
1934

«Уединение: уйди...»

Уединение: уйди
В себя, как прадеды в феоды.
Уединение: в груди
Ищи и находи свободу.
Чтоб ни души, чтоб ни ноги –
На свете нет такого сада
Уединению. В груди
Ищи и находи прохладу.
Кто победил на площади –
Про то не думай и не ведай.
В уединении груди –
Справляй и погребай победу.
Уединение в груди.
Уединение: уйди,
Жизнь!
Сентябрь 1934

«Уж если кораллы на шее...»

Уж если кораллы на шее –
Нагрузка, так что же – страна?
Тишаю, дичаю, волчею,
Как мне все – равны, всем – равна.
И если в сердечной пустыне,
Пустынной до краю очей,
Чего-нибудь жалко – так сына, –
Волчонка – еще поволчей!
9 января 1935

Отцам

1. «В мире, ревущем...»

В мире, ревущем:
– Слава грядущим!
Что во мне шепчет:
– Слава прошедшим!
Вам, проходящим,
В счет не идушим,
Чад не родящим,
Мне – предыдущим.
С клавишем, с кистью ль
Спорили, с дестью ль
Писчею – чисто
Прожили, с честью.
Белые – краше
Снега сокровищ! –
Волосы – вашей
Совести – повесть.
14–15 сентября 1935

2. «Поколенью с сиренью...»

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

Поколенью с сиренью
И с Пасхой в Кремле,
Мой привет поколенью –
По колено в земле,
А сединами – в звездах!
Вам, слышной камыша,
– Чуть зазыблется воздух –
Говорящим: ду-ша!
Только душу и спасшим
Из фамильных богатств,
– Современникам старшим –
Вам, без равенств и братств –
Руку веры и дружбы
– Как кавказец – кувшин
С виноградным! – врагу же –
Две протягивавшим!
Не сиреной – сиренью
Заключенное в грот,
Поколение – с пареньем!
С тяготением – от
Земли, над землей, прочь от
И червя и зерна!
Поколение – без почвы,
Но с такою – до дна,
Днища – узренной бездной,
Что из впалых орбит
Ликом девы любезной –
Как живая глядит.
Поколение, где краше
Был – кто жарче страдал!
Поколение! Я – ваша! –
Продолжение зеркал.
Ваша – сутью и статью,
И почтением к уму,
И презрением к платью
Плоти – временному!
Вы, ребенку – поэтом
Обреченному быть,
Кроме звонкой монеты
Всё – внушившие – чтить:
Кроме бога ВААЛА!
Всех богов – всех времен – и племен...
Поколенью – с провалом –
Мой бессмертный поклон.
Вам, в одном небывалом
Умудрившимся – быть,
Вам, среди шумного бала
Так умевшим – любить!
До последнего часа
Обращенным к звезде –
Уходящая раса,
Спасибо тебе!
16 октября 1935

«Двух станов не боец, а – если гость случайный...»

Двух станов не боец, а только гость
случайный...
Двух станов не боец, а – если гость случайный –
То гость – как в глотке кость, гость – как в подметке гвоздь.
Была мне голова дана – по ней стучали
В два молота: гнилых – корысть и гневных – злость.
Вы с этой головы – к создателю чуду
Терпения – мое, рабочее, прибавь –
Вы с этой головы – что требовали? Блуда.
Дивясь на ответ упорный – обезглавь!
Вы с этой головы, уравненной – как гряды
Гор, вписанной в вершин божественный чертеж,
Вы с этой головы – что требовали? – Ряда.
Дивясь на ответ безмолвный: обезножь!
Вы с этой головы, настроенной – как лира:

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

На самый высший лад: лирический...

— Нет, стой!

Два строя: Домострой – и Днепрострой – на выбор!

Дивясь на ответ безумный: – лиры – строй.

Вы с этой головы, с лба – серого гранита,

Вы требовали: нас – люби, тех – ненавидь!

Не всё ли ей равно – с какого боку битой,

С какого профиля души – тушимой быть?

Бывают времена, когда голов – не надо.

Но слово низводить – до свеклы кормовой –

Честнее с головой Орфеевой – менады!

Иродиада с Иоанна головой!

– Ты царь: живи один... Но у царей – наложниц

Минута. Бог – один. Тот – в пустоте небес.

Двух станом не боец: судья – истец – заложник –

Двух – противубоец! Дух – противубоец.

25 октября 1935

Читатели газет

Ползет подземный змей,

Ползет, везет людей.

И каждый – со своей

Газетой (со своей

Экземой!). Жвачный тик,

Газетный костоед.

Жеватели мастик,

Читатели газет.

Кто – чтец? Старик? Атлет?

Солдат? Ни черт, ни лиц,

Ни лет. Скелет – раз нет

Лица: газетный лист!

Которым – весь Париж

С лба до пупа одет.

Брось, девушка!

Родишь –

Читателя газет.

Кача- «живет с сестрой»,

ются – «убил отца!» –

Качаются – тцетой

Накачиваются.

Что для таких господ –

Закат или рассвет?

Глотатели пустот,

Читатели газет!

Газет: читай: клевет,

Газет: читай: растрат,

Что ни столбец – навет,

Что ни абзац – отврат...

О, с чем на Страшный Суд

Предстанете: на свет!

Хвататели минут,

Читатели газет!

– Пошел! Пропал! Исчез!

Стар материнский страх.

Мать! Гуттенбергов пресс

Страшней, чем Шварцев прах

Уж лучше на погост –

Чем в гнойный лазарет

Чесателей корост,

Читателей газет!

Кто наших сыновей

Гноит во цвете лет?

Смесители кровей,

Писатели газет!

Вот, друга, – и куда

Сильней, чем в сих строках! –

Что думаю, когда

С рукописью в руках

Стою перед лицом

– Пустее места – нет! –

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Так значит – нелицом
Редактора газет –
ной нечисти.
1–15 ноября 1935

Ванв

Douce France!

Adieu, France!
Adieu, France!
Adieu, France!
Marie Stuart[97]
[98]

Мне Францией – нету
Нежнее страны –
На долгую память
Два перла даны.
Они на ресницах
Недвижно стоят.
Дано мне отплыть
Марии Стюарт.
5 июня 1939

Анна Присманова

Сирена

В. Корвин-Пиотровскому
Старались мы сказать на сей земле
о жажде и ее неутоление,
о крике скорби, рвущем нас во мгле
и остановленном в своем стремление.
Но нам навстречу тянется в тиши
влекущий нас, призывный и прощальный,
крик парохода, крик его души,
уже плывущей в сумрак изначальный.
Вбираемый нутром и головой,
просачивающийся даже в ноги,
сей выпревший и допотопный вой –
слияние покоя и тревоги.
Во мглу и в ночь уходит пароход.
Но стон сирены как бы замер в оном.
Так рыцари в крестовый шли поход,
напутствуемые церковным звоном.
И мы, душа моя, вот так, точь-в-точь,
утратив до конца остаток спеси,
уйдем – вдвигаясь неотступно в ночь,
не много взяв и ничего не взвесив.
Сирена ждет нас на конце земли,
и знаю я – томление в ней какое:
ей хочется и чтоб за нею шли,
и чтоб ее оставили в покое...
Так воет пароход, и воет тьма.
Противодействовать такому вою
не в силах я. Я, может быть, сама
в трубе такого парохода вою.
«На канте мира муза Кантемира...»

На канте мира муза Кантемира
петровский желчью защищала бот.
И желтый сыр, вися над
Чудью сирой, рябил черновики ее работ.
Ни Кант, неотразимый головастик,
ни даже голенастый Галилей
не в силах были желтый контур застять
извилинами мозговых лилей.
Ордой к баллону на поклон, герои!
Он, путешествуя в кругу небес,
дрожит на заступе. И роят рои

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
сырье, и пнями истекает лес.
Ему лишь ветер препонит, забияка.
Но он, отменно цепеня эфир,
без смены мерит знаки зодиака,
и в знак того – звенит внизу цифирь.
1928

Осенняя почта

Мгла, ливень, листья. Лаковые крыши.
О, где же для деревни дождевик?
В мансардах только мыши письма пишут,
а души спят, зарывшись в пуховик.
И день как ночь (лишь сны мои в расходе) –
в трясине день, в высоких сапогах.
Вновь толстый сумрак тихо в дом заходит,
как рыбный страж с резиной на ногах.
А яблоня, как мать, стоит живая.
Ее ключицы клонит бремя дней.
Пускай подаст рука ее кривая
тому, кто всех в селеньи голодней.
Как башня, жадный пес про полдень знает.
Бредет сума с порога на порог.
Почтарь страду вторую начинает,
и месяц кажет золоченый рог.
Качаются почтовые подводы,
над войлочной дорогой льют дожди.
Стоят лишь в городах громоотводы.
Ах, муза, непогоду пережди.
Селеньям в осень впору умереть.
Слетают листья желтыми слезами.
Две колеи уходят за возами.
Но нашим листьям некуда лететь!
1933

Пламя

До пашни – дождевые облака,
до нас – дошли слова издалека:
«речь – серебро, а золото – молчанье».
Но вставши от ночного столбняка,
производительница молока –
корова издает свое мычанье.
И озирая бедный свой надел,
лесной ручей – о благостный удел! –
в тиши журчит по мелкому песочку.
Рука моя скудеет не у дел:
уж верхний слой воды заолодел,
но нижний пробивает оболочку.
Бьют влагой в пламя. В доме слышен плач.
Дрожит фитиль. И опытнейший врач
к отчаянному прибегает средству.
Конец. Уже над дерном ходит грач.
Но, как твое занятие, палач,
огонь передается по наследству.
1933

Карандаш

Марине Цветаевой
След истлевших древесных сил –
карандаш мой точку в ночи.
Нож с боков стеарин скосил
деревянной моей свечи.
Жизнь сказала: да будет так! –
заострила графитный взор.
Ты спустилась ко мне в кулак,
стружка, с окаменелых гор.
Передашь ли тех волн аккорд,
мох и эхо свинцовых скал,
лес, лазоревый злой фиорд,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
ветр, что парусом челн таскал?
Чудо – горенья плод во мгле,
претворенные в пласт суки...
бескорыстнейший на земле
друг, не оставь моей руки!
1934

«С ночных высот они не сводят глаз...»

Памяти Бориса Поплавского
С ночных высот они не сводят глаз,
под красным солнцем крадутся, как воры,
они во сне сопровождают нас –
его воркующие разговоры.
Чудесно колебались, что ни миг,
две чаши сердца: нежность и измена.
Ему друзьями черви были книг,
забор и звезды, пение и пена.
Любил он снежный падающий цвет,
ночное завыванье парохода...
Он видел то, чего на свете нет.
Он стал добро: прими его, природа.
Верни его зерном для голубей,
сырой сиреню, сонным сердцем мака...
Ты помнишь, как с узлом своих скорбей
влезал он в экипаж, покрытый лаком,
как в лес носил видения небес
он с бедными котлетами из риса...
Ты листьями верни, о желтый лес,
оставшимся – сияние Бориса.
1935

«Жаждет влаги обугленный бор...»

Жаждет влаги обугленный бор.
Изогнулись дерев поясницы.
Гробовой беспросветный укор
в кругляках остывающей птицы.
О, в жаровне над жаром оса!
Столкновение зари с палачами!
Сиротинушки, чьи волоса
только солнце ласкает лучами.
Белый воздух, который висит
поутру над сырым листопадом.
Белый лекарь, который косит,
чтоб с предсмертным не встретиться взглядом...
Что дороже нам: розы иль рожь?
Днем – глаза мы за пазуху прячем.
(Теснота. Слепление. Ложь.)
Ночь. И что ж? Мы от зрячести плачем.
1935

«Разве помнит садовник, откинувший окна к весне...»

Владиславу Ходасевичу
Разве помнит садовник, откинувший окна к весне,
как всю зиму блистали в них белые стебли мороза?
Разве видит слепой от рожденья, хотя бы во сне,
как, пылая над стеблем, весной красуется роза?
Проза в полночь стиху полагает нижайший поклон.
Слезы служат ему, как сапожнику в деле колодка.
На такой высоте замерзает воздушный баллон,
на такой глубине умирает подводная лодка.
Нас сквозь толщу воды не услышат: кричи – не кричи.
Не для зверя рожок, что трубит на осенней ловитве.
Ведь и храм не услышит, как падает тело свечи,
отдававшей по капле себя на съеденье молитве.
1936

Листья

Мне снился сон. Нам к счастью снятся сны.
Во сне без трости ходит и безглазый.
Он днем во тьме, но сны его ясны,
как фонари, в которых водолазы.
Явился мне осенний день во сне.
Он догорал, как юноша в чахотке.
Цвета его готовились к весне,
но смерть уже была в его походе.
Внизу, сияя, двигалась река.
Широкий луг спускался к ней полого,
и с дерева, дрожавшего слегка,
слетало в воду желтых листьев много.
Все было просто, будто наяву.
Белье отца висело на веревке,
и капельку, стекавшую в траву,
усердно пили божи коровки.
Но сам отец навек ушел в песок,
не ощутив минуты погруженья,
оставив нам высокий свой висок,
страсть к странствию и к «Ниве» приложенья.
Внизу текла в сиянии река.
Погост, с холма, спускался к ней полого.
Закат заметно красил облака,
и было в дерне желтых листьев много.
Четыре шишки рдели на сосне –
из них случайно крест образовался.
Отца с тех пор я видела во сне –
но мой отец уже не разувался:
шесть лет он держит кости в башмаках.
Уже не ходят школьники к нам в гости.
И мы уже не виснем в гамаках,
давно не увеличиваясь в росте.
Летите, листья! Вам пора лететь.
Ваш золотой уход мы почитаем,
и мы уйдем – лишь стоит захотеть.
Но все-таки мы жить предпочитаем.
1939

Земля

Невольно ослабляя напряженье
распластанного в воздухе крыла,
подвластна птица силе притяженья,
как в косном этом мире все тела.
Но хрупкий ком, садящийся на кровы,
на разные поющий голоса,
сбирающий крупичицы у подковы,
опять уносится под небеса.
И перьями приподнятая птица
без трепета висит на высоте,
откуда человеческие лица
чуть видимы, как гвозди на кресте.
А человек, уставший от полета,
от содроганий вечного пера,
обычно ищет теплого оплота
гораздо ниже горного ребра,
гораздо ближе к чавкающим недрам
гостеприимной низменной земли –
защитницы незыблемой и щедрой,
которой в горе жаждут корабли.
Бабушка

Изъяны предков достаются детям,
и внучка болью бабушки больна.
Любовью звали бабушку, и этим
моя судьба predetermined.
О бабушка, жила ты в желтом доме,
где рукава сходились на спине.
Остался желтый облик твой в альбоме,
а рукава – ты завещала мне.
Как два пути с единым назначеньем,

живут во мне раздельно кровь и кость.
Стремится кровь к тебе своим теченьем,
но кость моя – тебе незванный гость.
Лишь только ночь подходит к изголовью,
два дерева меня на части рвут.
Быть может, и меня зовут Любовью,
но я не знаю, как меня зовут.
Раковина

Вадиму Андрееву
За годом год ступеньку не одну,
вздыхаясь, отнимаем мы у века,
и все ж не в вышину, а в глубину
прыжок – есть назначенье человека.
Лишь непрестанно думая о дне
всеобщего духовного слиянья,
на низшей, на подводной глубине
он видит перлы высшего сиянья.
Сияет перл меж двух кривых частей
глубоководной раковины южной.
Составленный из сердца и костей,
ее изучит человек недужный:
застыла в виде извести она,
хранит она гудение пучины
и пустотой насыщенной полна,
как череп музыканта пред кончиной.
Рука

Когда рука, строптивая вначале,
склоняется во сне к другой подчас –
сон состоит из счастья и печали...
но явь дает ей лишь вторую часть.
От этой части днем душа худеет,
оставив сладость пищи на потом.
Действительно – рукою чародея
ей сновиденье вносит пищу в дом.
Знакомьтесь, не спеша, с душой такою,
которая, от голода дрожа,
во сне – вас гладит гладкою рукою,
а наяву – пугливее ежа.
Никто сказать душе такой не вправе,
что сон ее построен на песке.
Бывает сон, что явственнее яви,
и слово, что висит на волоске.
У слов таких возвышена основа.
Они – не для бумаги и чернил...
И Осип Мандельштам такое слово
с тяжелым камнем некогда сравнил.
Прости

Когда надумает расстаться
мое дыхание со мной,
я не смогу уже остаться
на затверделости земной.
Когда в лампаде мало масла,
когда у свечки сала нет...
Но прежде, чем она погасла,
она дает высокий свет.
Прости меня, что не блистала
я в полдень полной красотой,
зато полуночью листала
я листья книги золотой,
той самой, что рассталась с глиной,
и всю меня несет туда,
откуда кажутся равниной
ущелия и города.
Желтый дом

Лоснился щебень. Бились воробьи
над крошками разрушенного хлеба.
Тяжелый флот скользил вдоль моря и

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10
флот облачный – по временам – вдоль неба.
Весенний сквер был по-балтийски чист.
Гудела детвора вокруг эстрады..
Одно дитя, как виноградный лист,
упорно липло к столбикам ограды..
* * *

Через дорогу, в дюнах, над песком,
у грядок с будущими огурцами,
стоял в уединенье длинный дом
с довольно необычными жильцами.
Он сделан был из желтых кирпичей,
и все вокруг весной дышало, кроме
смирительных рубашек и ключей,
для тех, кто проживали в желтом доме.
Они гуляли парами порой,
но двигался иной и в одиночку..
Я помню гравий, солнце над горой
и их глаза, направленные в точку.
Они срывали тонкую траву
невозмутимым выпревшим движеньем.
Движенья их, заснувших наяву,
других миров казались отраженьем.
А между ними поливал газон
веселый молодой садовник. С лейкой,
в лучах заката направлялся он
к насосу, что плескался за скамейкой.
Здесь мелкие лазурные цветы,
имея блеск небесного оттенка,
казались капельками высоты,
упавшими к подножию застенка..
* * *

Ребенок с ярким яблочным лицом
на солнышке, пять лет ему знакомом,
нередко наслаждался леденцом
перед этим необыкновенным домом.
К садовнику он подойти не смел,
зато, в сияющее время года,
следуя за ходом огородных дел,
подобно тумбе застывал у входа.
При нем – новорожденная гряда
от полной лейки набиралась силы.
Пел ящичек скворешного гнезда,
входили в яму корневые жилы.
За дюнами кричали петухи –
будильники рыбацкого поселка,
и прославляла хвойные духи
упавшая сосновая иголка..
Дитя стояло у больших ворот
так неподвижно, как цветок двуногий.
Брели безумные, раскрывши рот,
ловя руками собственные ноги..
Садовник пел, не замечая их.
Подрагивая яркими боками,
взлетал к лазури шар. Закат был тих.
Вдали – чернели барки с рыбаками.
Садовника землистая рука
сама, в тени, землей казалась бурой.
Над черным завитком от корешка
он думал о невесте белокурой.
У западной границы городка
качались пароходные каюты..
И грустью, что весной для всех сладка,
туманилась душа его Анюты.
Садовник взял анютины глаза
и посадил их в солнечное место.
Любил весну он за цветы и за
те чувства, что дала ему невеста..
* * *

Но беспощадно сыплется песок,
что назван был песочными часами.
Сомнения вонзаются в висок,
судьба полна немymi голосами...
И девочка, смотревшая на дом
– с тем зданием боясь теперь свиданий –
растерянно готовит третий том
своих восторгов и своих страданий,
со страстностью соединив тоску,
прибавив к этому надежду даже,
но посыпая каждую строку
той солью, коей не найти в продаже.
Сестры

1. «Когда, скрипя, стирается белье...»

Когда, скрипя, стирается белье
иль с хрустом происходит чистка меди,
вы все, конечно, видели ее –
не у себя, так у своих соседей.
В пальтишке узком, с кончиком лисы,
в крылатом фартуке, обычно в клетку,
она в дома приходит на часы,
как птица, что сама влетает в клетку.
С глубокими солонками ключиц,
с глазами, как две чашки с синевою,
с работою горчее всех горчиц,
она живет почти что неживою...
Слова ее бесцветны, как вода,
сама она порой худее кошки.
В чулках ее – зиянья иногда,
как слуховые круглые окошки.
С лицом сухим и серым, как ковыль,
вооружившись выскобленным стулом,
она с больших шкапов стирает пыль,
поднявши руки вверх, как перед дулом.
Не основавши собственной семьи,
покорная обычному заводу,
стараясь, от семи и до семи,
для всех, кто ей давал огонь и воду –
как друг, она трудилась для других.
И с серой тряпкой, с сором, без привала,
среди вещей – чужих, но дорогих –
сама, как тряпка серая, сновала.
Без отдыха, без облика, без лет,
скользила тень, равно для всех чужая,
за несколько безжалостных монет
любой очаг усердьем окружая.
Усталый мозг, засушенный в борьбе,
лишенный духа, как цветок осенний,
лишь раз в неделю думал о себе –
и это было в утро воскресенья.
Она была умыта и чиста,
и шкаф – не до конца ее обидел:
на ней была сорочка из холста...
Но в эти дни – никто ее не видел.
Однажды утром, вставши после сна,
прочтя в газете: «отравилась газом...» –
я вам скажу: то, может быть, она
ушла из жизни, не моргнувши глазом.
Она погрязла в прахе бытия.
Быть может, Марфой в прошлом воплощеньи
была она... Возьмут ли «жития»
ее к себе – за силу всепрощенья?

2. «Когда счастливой матерью семьи...»

Когда счастливой матерью семьи
становится ленивая Мария,
лишь к вечеру, не ранее семи,
плита ее бушует, как стихия,
и дети, сев вдоль кухонной скамьи,

кладут на доски рученьки сухие.
Мария варит суп из топора
и моет пол в лазоревом уборе.
Весной она уходит со двора
с высокими зарницами во взоре...
Ее запущенная детвора
сидит в худых штанишках на заборе.
В ее квартире зарево и гам.
Дожди и снег идут в ее квартире...
На страх соседям (и на страх врагам)
она ложится в три или в четыре.
Шлет зайчиков луна к ее ногам:
она играет при луне на лире.
И к ней (сидящей с зайцами у ног
и в то же время – с музыкой у чрева)
приходит муза северных дорог
с большим крылом направо и налево.
Так – некогда – к Марии на порог
могла являться Пресвятая Дева...
Гнездо, Мария, со стараньем вей:
ты от хулы должна оборониться.
Рассветный воздух сделался живей,
и месяц начал к западу клониться,
а ты... ты все не спишь. Ты – ночи птица:
сова? едва ль! скорее соловей...
Увы, родная Марфина сестра,
непрочная опора для семейства:
она не носит дойного ведра
и в полдень сонные свершает действия...
Пусть днем она не делает добра,
но ночь ее – во власти чародейства.
Днем спит она, сжимая в кулаке
свой первый палец. Странную картину
являет ночь: совместно в котелке
Мария варит и грибы и тину.
Четыре паука на потолке
плетут одну и ту же паутину.
Пока пчелоподобная жена
часы полезным отдает работам,
Мария застывает у окна,
подняв лицо к божественным высотам.
Она сродни лунатикам – она
тревожит лиру по нездешним нотам...
Но упрекнуть придется мне ее
за то, что люлька у детей сырая,
что у нее не глажено белье,
что грабли зацветают средь сарая,
что стало мхом вязание ее
и что игре ее – не видно края,
еще – за обвалившийся плетень,
за всё в саду погибшее богатство,
за каждый без труда убитый день,
за вечное с мечтою панибратство,
за праздность, за лирическую лень,
короче – за земное тунеядство.
Мария в узах брачного кольца
кой-как свое свершает бабье дело.
Она готовит душу для конца.
Но будет ли душа сильнее тела,
и свет ее посмертного лица
таким живым, каким она б хотела?..
Церковные стекла

По лужайкам Нормандии яблонь идет чередою,
по витражам – сиянье, страданье небесных послов.
В сердце яблочек заложено семя нежданной звездой,
в нашем сердце заложено бремя несказанных слов.
Долго сердцу немислимо в собственном соке вариться,
скоро, сердце, тобою совсем переполнится лоб.
Это, может быть, в первом изгнанье о нас говорится,
это, может быть, первое яблоко гонит нас в гроб.

Вот качается плод, называемый белым наливом,
вот срывается он и пленительно падает вниз
на карниз, где Адам и жена его жмутся пугливо,
треугольным листком создавая подобие риз.
О тяжелые роды, о тяжкие своды Руана,
музыкальные храмы, донашивающие крест.
Над холодной эмалью – служанки, встающие рано,
дождевые погоды и жирные воды окрест.
И обилие памятных мест. Ничего не считая,
не гуляя почти и почти что совсем не дыша,
лишь одних похорон поучительный звон почитая,
продолжительно к праху готовится наша душа.
Облако

Вода, вставая утром из русла,
питает облако своим туманом.
Туман, что через жизнь я пронесла,
и не был и не может быть обманом.
Туман, слезою капая из глаз,
быть может, продолжает то движенье,
тот начатый за облаком рассказ,
которого конец есть возвращенье.
Пусть дождь идет, туманное звено
то снизу вверх, то сверху вниз сдвигая...
Конечно, эта жизнь идет на дно,
но, кажется, за ней встает другая.
1956

Юрий Терапиано

«По утрам читаю Гомера...»

По утрам читаю Гомера –
И взлетает мяч Навзикаи,
И синеют верхушки деревьев
Над скалистым берегом моря,
Над кремнистой узкой дорогой,
Над движеньями смуглых рук.
А потом выхожу я в город,
Где, звеня, пролетают трамваи,
И вдоль клумб Люксембургского сада
Не спеша и бесцельно иду.
Есть в такие минуты чувство
Одиночества и покоя,
Созерцания и тишины.
Солнце, зелень, высокое небо,
От жары колеблется воздух.
И как будто бы все совершилось
На земле, и лишь по привычке
Люди движутся, любят, верят,
Ждут чего-то, хотят утешенья
И не знают, что главное было,
что давно уж Архангел Божий
Над часами каменной башни
Опустился – и вылилась чаша
Прошлых, будущих и небывших
Слез, вражды, обид и страстей,
Дел жестоких и милосердных,
И таких же, на полуслове,
Словно плеск в глубоком колодце,
Обрывающихся стихов...
Полдень. Время остановилось.
Солнце жжет, волны бьются о берег.
Где теперь ты живешь, Навзикая?
Мяч твой катится по траве.
Египет

Гор-Сокол – тотем древних египтян,
бог и наименование царя. Египтяне
называли себя: «Шемсу-Гор» –
«Служители Гора» и говорили, что предки

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
их пришли из далекой, лежащей за
«Уази-Орейта» – за «Очень Зеленым
морем» – страны.
Завоевание

Шемсу-Гор, служители Гора.
Бронза ножей, тетива и стрела,
легких собак остроухие своры
И на шестах сокола.
Подем идем и дивимся и спорим,
В воздухе – ибисов крик.
Сразу за «Очень Зеленым», за морем
Скрылся родной материк.
Здесь – лихорадки, речные туманы,
В топях болот – преисподняя, ад;
Важно идут по холмам павианы,
Львы и гиены рычат.
И, сотрясая свой щит антилопий,
Варвары с песьим лицом
Нас осыпали ударами копий,
Нас окружали кольцом.
Но, укрываясь от стрел за заборами,
Мы осушали болота и рвы,
Строили крепости воины Гора
В зарослях дикой травы.
И, торжествуя над лесом и ямами,
Мерно скрипя на ходу,
Плуг, запряженный волами упрямыми,
Первую вел борозду.
Царство

Строили Сноффру и Хуффу строители
Прочный для вечности дом,
В Элефантину ходили воители
С прямоугольным щитом.
Вам, фараоны, на небе даяния,
Мир вам, крестьяне, солдаты, купцы –
Каждому впишут слова покаяния
В грамоте смертной писцы.
Фиг и магнолий и зарослей тисовых
Роши на страже земли,
Где, в тайниках и гробах кипарисовых,
Мумии предков легли.
Медленно пастыри гнали упорные
Широкорогих быков среди болот,
Жители сеяли в борозды черные
Рожь, золотую как мед.
Но вдоль пустынь, от подземного Стикс
И от Песчаной Косы,
Крались с востока жестокие гиксы,
Жадные пастыри-псы.
Империю

Слышишь шум: топот ног, клич и звоны,
Стук колес в африканской пыли?
Это с юга идут легионы
От Египта до края земли.
«Бич народов, гроза и проказа» –
Тугмес Третий стремится знамена
И врубает на скалах Кавказа
Свой картуш и свои письма.
Царь царей, в бело-красной короне,
В желтом платье, с крючком и бичом,
Всех врагов в соколиной погоне
Ты сразил серповидным мечом.
Для тебя восседают во храме
Боги-предки среди каменных стел,
С зверообличными головами,
С страшной мощью неистовых тел.
И народ твой, на сфинкса похожий,
Грозной тенью идет на нас,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
Словно бред, что видения множит
Воспаленных бессонницей глаз.
Александрия

Здесь, под звук дикой лиры Скамандра,
Из туманов морей и дождя,
Шли в Египет полки Александра
Богом сделать царя и вождя.
«Тут, над морем, – гласит нам преданье, –
Царь, пришедший из северных стран,
Вдохновенный, в пылу созиданья,
Намечая для города план,
Сыпал известь; ее не хватило –
План велел продолжать он мукой;
Налетев, стая птиц легкокрылых
Расклевала муку под рукой...»
Так, от царственного мукомола
К высшей доле для мира влеком,
Город встал вдоль широкого мола
Метить небо своим маяком.
Грек, еврей и сириец из Гада,
Скифы шли от бунтующих рек –
И вошла «Александра Услава»
В Александра блистательный век.
Все к истокам великого крипта
Вслед его путеводной звезде
Приходили – пустыней Египта,
Приплывали по сладкой воде.
Здесь, верхом на усталой кобыле,
Генерал санкюлотов, твой брат,
Вел в удушливом облаке пыли
К пирамидам бессмертных солдат.
Так, порой, проникая в сосуды,
Что гробница нам вновь отдала,
Свежий мед – несказанное чудо –
В них нетленным находит пчела.
1926

Пантикапея (Город Керчь)

Л. Л. Домгеру
Сияющая, мраморная, в воду
Нисходит пристань кругом, как венец.
Привязанные лодки на свободу,
Качаясь, рвутся с бронзовых колец.
Вверху амфитеатром синим горы
Теснятся в небо, и Тезеев храм
Готов принять процессии и хоры,
Идущие к аттическим богам.
Эллада в скалах Таврии нетленна,
И корни лоз и рыба в глубине,
Забывши обо всем, что современно,
Классической покорствуют весне.
Пантикапея древняя, тебе ли
Я песнь размером варварским пою
В стране, где грек, играя на свирели,
Умел прославить родину свою.
В день Покрова

І. «Как звезда над снежными полями...»

Как звезда над снежными полями,
В августе – над золотом садов,
В ночь весеннюю – над тополями
Русских сел и русских городов
Ты восходишь, наш покров незримый,
Мать Божия. Любви Твоей
Над землю, некогда любимой,
Милость драгоценную пролей.
Дни проходят, тишиной томимы,
Гибели и смерти нет конца,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Ты, которой служат серафимы,
Ты, которой служат все сердца,
Милость ниспошли свою святую,
Молнией к стране моей приди,
Подними и оправдай такую,
Падшую, спаси и пощади!
II. «Только гибель и воспоминанье...»

Только гибель и воспоминанье...
Ясны сумерки. Гроза прошла.
За рекой на дальнем расстоянии
В городе звонят колокола.
Гулкий, смутный звон средневековый.
И, как в детстве, в церкви на стене
Пальцем мне грозит старик суровый
И святой Георгий на коне
Топчет разъяренного дракона.
И звучат в душе, звучат слова –
Строфы покаянного канона
О тщете земного естества,
О бесстрастии, об одолении
Духа злобы, о грехе моем –
Темном, тайном, данном от рожденья –
Страшно быть с душой своей вдвоем.
* * *

Раненный, в Ростове, в час бессонный,
На больничной койке, в смертный час,
Тихий, лучший, светлый, примиренный,
До рассвета не смыкая глаз,
Я лежал. Звезда в окно светила.
И, сквозь бред, постель оправить мне
Женщина чужая подходила,
Ложечкой звенела в тишине.
III. «Матерь Божья, сердце всякой твари...»

Матерь Божья, сердце всякой твари,
Вечная, святая красота!
Я молюсь лишь о небесном даре,
О любви, которая чиста,
О любви, которая безгрешна,
О любви ко всем и ко всему,
Я молюсь, и снова мрак кромешный
К сердцу приступает моему.
Милость ниспошли свою святую,
Молнией к душе моей приди,
Подними и оправдай такую,
Падшую, спаси и пощади!
Музе

I. «В Крыму так ярко поздней весной...»

В Крыму так ярко поздней весной
На рейде зажигаются огни,
Моя подруга с русою косою
Над атласом склонялась в эти дни.
Шли корабли в морской воде соленой,
Весь мир следил за ходом кораблей;
Над темной бездной, над волной зеленой
Неслась надежда Родины моей.
А девочке с глазами голубыми
И мальчику – тревога без конца:
Мечтали мы над картами морскими,
И звонко бились детские сердца.
Потом – в дыму, в огне, в беде, в позоре
С разбитых башен русский флаг спадал,
И опускалась и тонула в море
Моя любовь среди цусимских скал.
II. «Ты, милая, со мной вдвоем бежала...»

Ты, милая, со мной вдвоем бежала

В глухую ночь без света и тепла,
Когда все время пушка грохотала,
Когда резня на улицах была.
Стихия распаленная кипела,
В крови взвивались флаги над мостом,
Но в темноте любовь моя горела
В огромном мире страшном и пустом.
Любовь моя! Меж рельс, под поездами
Глубокий снег был так прекрасно-бел.
Шли на Восток, на Юг. Повсюду с нами
Суровый ветер верности летел.
III. «Тевтонское полотнище алело...»

Тевтонское полотнище алело
Над Францией, придавленной пятой,
И радио безумное хрипело,
Фанфары выли в комнате пустой.
А ты с узлом в дверях тюрьмы стояла,
Ты мерзла в очереди под дождем,
Но Родина перед тобой сияла
Звездой рождественской в снегу чужом.
Как в детстве, наклонялись мы с тобою
Над картой – мы б не разлучались с ней!
Спи, милая, с моею сединою,
Спи, милая, с любовью моей!
Ты можешь видеть чудные виденья,
Как потонувший Китеж под водой:
Пространства нет и нет разъединенья,
Нет лишних лет на родине земной.
Туман над затемненной Москвою,
В кольце осады сжатый Ленинград,
Мой древний Крым – они перед тобою,
Они с тобой, как много лет назад.
И Бог воздал мне щедростью своею:
Цусимы знак – в пыли влачится он;
Вот мой отец под Плевной: вместе с нею
Опять народ ее освобожден.
Мой друг, под Львовом в ту войну убитый –
Он слышит гвардии победный шаг;
Вот наш позор, отмщенный и омытый –
Над Веной, над Берлином русский флаг.
IV. «Любовь моя, за каменной стеною...»

Любовь моя, за каменной стеною,
За крепким частоколом – не пройти.
Любить вот так, любовью одною
В последний раз – и не иметь пути?
Склонись опять над картой, с затрудненьем
Ищи слова, знакомые слова;
Ты, девочка моя, скажи с волненьем:
«Владивосток». «Орел». «Казань». «Москва».
Задумайся о славе, о свободе
И, как предвестье будущей зари,
О русской музе, о родном народе
Поэтов русских строфы повтори.
«С непостижимым постоянством...»

С непостижимым постоянством,
Чрез формы призрачный налет,
Геометрическим пространством
Мне мир трехпланный предстает.
Внутри параболы и дуги;
Шары прозрачны, как хрусталь;
Сближаясь на магнитном круге,
В контактах вспыхивает сталь.
Мир полый, четкий и блестящий!
В нем различаю без труда
Течение воли настоящей,
Колеса, рельсы, провода, –
Но брызгами кипящей ртути
Вдруг разлетаются тела –

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Там – подчиненные минуте,
Здесь – взмаху точного угла.
«Деятнадцатый год. «Вечера, посвященные Музе»...»

Деятнадцатый год. «Вечера, посвященные Музе».
Огромный прокуренный зал, под названием «Хлам» [99]
Вот Лившиц читает стихи о «Болотной Медузе»
И строфы из «Камня» и «Tristia» – сам Мандельштам.
Морозный февраль, тишина побежденной столицы.
О, как мы умели тогда и желать и любить!
Как верили мы и надеялись, что возвратится
Былое величье, которого всем не забыть.
А после – походы в холодной степи и раненье.
Уже в Феодосии встреча: – «Вы, Осип Эмильевич, здесь?»
– «А где Бенедикт?» – «Да, погиб Маккавейский в сраженье». –
«А Петников [100] – жив, но куда он уехал?» – «Бог весть!»
Тогда мы надеялись: будет недолгой разлука –
Как много с тех пор стало горьких потерь и разлук!
Летела стрела – и опять Аполлон Сребролукий
На новую жертву свой тяжкий нацеливал лук.
Успение

Ну, а в комнате белой как прялка
стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим,
вином из подвала...

О. Мандельштам

Тяжелые груши уложены тесно в корзины,
Блестит янтарем на столах виноград золотой,
И воздух осенний и запах арбузный и дынный
На каменной площади празднуют праздник святой.
Я с радостью тихой гляжу на раздолье природы –
Такое богатство, как было и в крае моем,
Где волны кипели и тщетно искали свободы,
И в погребке пахло полынью и новым вином.
А тот, о котором сегодня я вновь вспоминаю,
Как загнанный зверь, на дворе под дождем умирал.
Как лебедь, безумный, он пел славословие раю
И, музыкой полный, погибели не замечал.
Орфей погребен. И наверно не будет рассвета.
Треножник погас, и железный замок на вратах.
И солнца не стало. И голос умолкший поэта
Уже не тревожит истлевшего времени прах.
«Летом душно, летом жарко...»

Летом душно, летом жарко,
Летом пуст Париж, а я
Осчастливлен, как подарком,
Продолженьем бытия.
С мертвыми веду беседу,
Говорю о жизни им,
А весной опять уеду
В милый довоенный Крым.
И опять лучи, сияя,
Утром в окна льются к нам,
Море Черное гуляет,
Припадает к берегам.
И как будто время стало
Занавесочкой такой,
Что легко ее устало
Отвести одной рукой.
Диана Люксембургского сада

Закинув руку за плечо,
Стрелу ты ловишь из колчана,
Вздыхающая горячо,
Разгоряченная Диана.
Ты мчишься в каменном кругу
Одежд, вскипающих как пена,
И как виденье на бегу
Сверкает легкое колено.

Такой стремительный полет,
Такая легкость пред глазами,
Что будто бы весь сад плывет,
Летит, кружится вместе с нами.
Диана в воздухе сухом
Ритмические мечет стрелы,
И мрамор кажется стихом
ямбически-окаменелым.
Тристан

Другом был океан, стал навеки преградой он.
Бездной сделался он, стеной крепостной между нами.
Слышишь: колокол в церкви – похоронный звон,
Видишь – свечей восковых высокое пламя.
Это приснилось нам: шелковый брачный навес,
Дом короля, дерзость встреч беззаконных,
Волосы золотые, сиянье лица и лес,
Блужданье вдвоем в лесу в тех чащах зеленых.
Бретань! Камни, воздух, деревья, вода –
Вы пронизаны светом, а я умираю.
Раны снова открылись. Не уйти от суда...
Это – все, жизнь кончается. Нашему раю,
Сну и счастью, свободе и воле пришла
Роковая проверка. Навстречу туману
Вырастает со дна океана немая скала,
Что потом назовут «Скалою Тристана».
Нет, Изольда, напрасно ты спешишь океан переплыть!
Ветви розы в цвету оплетут две могилы в аббатстве,
И в веках перевьется преданья жемчужная нить
О любви, о разлуке, о горе, о браке, о братстве.
Изольда

Изольда, доносится зов приглушенный
Сквозь море, сквозь вечность и холод и тьму.
Нечаянно выпит, пажом поднесенный,
Любовный напиток – проклятье ему!
Средь горных провалов и водной пустыни,
Под грохот прибоя, под шелест дубов,
Бретонские барды прославят отныне
Несчастье твое до скончанья веков.
Изольда, ты слышишь: навеки, навеки
Печальная повесть о жизни земной:
Два имени будут, как горные реки,
Сливаться в один океан ледяной.
Лицо, что светило средь бури и мрака,
Кольцо, что тонуло в кипящей воде,
И грех и позор оскверненного брака
Сам Бог покрывает на Божьем суде.
Молись, но молитва не справится с горем,
Вино пролилось – колдовская струя, –
И тяжестью черной темнеет над морем
Наш гроб, наш чертог – роковая ладья.
Французские поэты

Поль Верлен

«Как в пригороде под мостом река
Влечет в своем замедленном теченье
Грязь городскую, щебень, горсть песка
И солнечного света преломленье,
Так наше сердце гибнет – каждый час, –
И ропщет плоть и просит подаянья,
Чтоб Ты сошла и облачила нас
В достойное бессмертных одеянье...»
...Свершилось. Посетило. Снизлошло. –
Он слышит шум твоих шагов, Мария,
А за окном на мутное стекло,
Блестя, ложатся капли дождевые.
Но голова горит в огне, в жару,
От музыки, от счастья, от похмелья;
Из темноты, под ливень, поутру

Куда-нибудь, на свет, из подземелья
По лестнице спешит, шатаясь, он. –
Как выдержишь такое опьянение!
Светает. Над рекой несется звон,
И в церкви утреннее слышно пенье.
Артур Рембо

Неукротимый пасынок Вийона –
Испачканный костюм, пух в волосах,
Он гений и безумец – вне закона,
Но ангелам сродни на небесах.
Под звон тарелок в кабаке убогом
Убогий ужин с другом, а потом
Стихи – пред вечно пьяным полубогом,
Закутанным в дырявое пальто.
И ширится сквозь переулок грязный
Простор, и вдруг среди хрустальных вод
Качается, в такт музыке бессвязной,
На захмелевшем бриге мореход.
Но, заблудившись в лондонском тумане,
В своем кромешном творческом аду,
Он был внезапно в сердце тайно ранен
Видением, явившимся ему.
Ослеп, оглох – и с гордостью, с презреньем
Сам свой полет небесный оборвал.
Простился с музыкой и вдохновеньем
И навсегда купцом безвестным стал.
Леконт де Лиль

«Мир – стройная система, а разлив
Неукротенных чувств доступен многим.
Поэт лишь тот, кто, чувство подчинив,
Умеет быть достойным, мудрым, строгим...»
Перчатки, отвороты сюртука
И властный профиль – мне таким он снится.
Он был скупым: спокойствие песка,
В котором бешеный самум таится.
Мне снится он, надменный и прямой –
Прямые линии присущи силе;
Был одинок всегда учитель мой:
Склонялись перед ним, но не любили.
Он говорил: «Сверхличным стань, поэт,
Будь верным зеркалом и тьмы и света,
Будь прям и тверд, когда опоры нет,
Ищи в других не отзвука – ответа.
И мир для подвигов откроется, он твой,
Твоими станут звери, люди, боги;
Вот мой завет: пойми верховный строй –
Холодный, сдержанный, геометрично-строгий».
Стефан Малларме

«Чахотка ныне гения удел!
В окно больницы льется свет потоком,
День, может быть последний, догорел,
Но ангел пел нам голосом высоким.
Блуждали звезды в стройной тишине,
Часы в палате медленно стучали.
Лежать я буду: солнце на стене,
На белой койке и на одеяле.
Я в этом пыльном городе умру,
Вдруг крылья опущу и вдруг устану,
Раскинусь черным лебедем в жару,
Пусть смерть в дверях, но я с постели встану:
Я двигаюсь, я счастлив, я люблю,
Я вижу ангела, я умираю,
Я мысли, как корабль вслед кораблю,
В пространство без надежды отправляю.
Вот солнцем освещенный влажный луг,
Вот шелест веток, паруса движенье...»
Поэт очнулся. Он глядит – вокруг
Коляски, шум. Сегодня воскресенье.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Цветут каштаны – о, живой поток!
Цветут акации – о, цвет любимый!
Он шел, он торопился на урок,
Озлобленный, усталый, нелюдимый,
Остановился где-то сам не свой –
Дух дышит там, где хочет и где знает –
Какая тема странная: больной
В общественной больнице умирает.
«Все, что было, – как много его и как мало!..»

Все, что было, – как много его и как мало!
Ну, а память, магическая игла,
Пестрым шелком узоры по белой канве вышивала,
Возбуждала, дразнила, манила, звала.
«Эти годы»... и вдруг: где теперь эти годы?[101]
Под мостами вода навсегда утекла,
И остались одни арок гнутые своды,
Серый камень, чужая парижская мгла.
И когда-нибудь скажут: «Их время напрасно пропало,
Их судьба обманула, в изгнание спасения нет».
Да, конечно! Но все же прекрасное было начало –
Радость. Молодость. Вера. И в сердце немеркнувший свет.
Николай Белоцветов

«С тем горьковатым и сухим...»

С тем горьковатым и сухим,
Тревожащим истомой темной,
Что расстилается, как дым,
Витая над моей огромной,
Моей покинутой страной
С протяжной песней сиротливой,
В седую стужу, в лютый зной
Перекликаясь с черной нивой,
С тем, что рыдает, как Орфей,
О Эвридике вспоминая,
С тем ветром родины моей
Лети, печаль моя ночная.
«Распахнутого, звездного алькова...»

Распахнутого, звездного алькова
Широкий взмах. Как призрачно лучи
Расходятся. Как мечется свечи
Немой язык в тревоге бестолковой.
Такого задыхания, такого
Томления!.. Трещат дрова в печи.
Кривится месяц, брошенный в ночи, –
Пегасом оброненная подкова.
Возьмем ее на счастье. Может быть,
Когда ее повесим мы над ложем, –
Так иногда и мертвых мы тревожим –
Да, может быть, удастся позабыть
То черное слепое средоточье.
И минет ночь. И минем вместе с ночью.
«Кадила дым и саван гробовой...»

Кадила дым и саван гробовой,
Наброшенный на труп окоченелый
Земли-Праматери моей, и вздохи
Метели-плакальщицы над усопшей,
И каждый вечер со свечой своей,
Уж оплывающей и чуть дрожащей,
Читает месяц, как дьячок смиренный,
Над отошедшей Матерью молитвы.
Обряда погребального никак
Не заглушить рыданием надгробным.
О, если б мог я полог приподнять
И ухом к сердцу Матери прижаться,
То я бы понял, с ней соединившись,
Что для нее я – только краткий сон,
Воспоминание образов минувших.

Читая звезд немые письма,
Припомнила меня, и я родился
В ее душе, и так как по складам
Она меня читает, развернулся
Во времени судеб неясный свиток,
И вот живу, пока судьбу мою
Она в слова бессвязные слагает.
А прочтает их, и я умру,
И в тот же миг бесплотным стану духом
В эфире горнем, в тверди безграничной.
Такие думы посещают ум,
Когда блуждаю, маленький и слабый,
В дни Рождества по неподвижным дланям
Праматери усопшей и смотрю,
Как тощий месяц бодрствует над телом,
Качая оплывающей свечой.
«В твоём краю голодных много мест...»

В твоём краю голодных много мест
И много рук протянуто за хлебом,
Но убаюкан бездыханным небом
Монахинь-мельниц сухорукий крест.
Такой же крест в душе твоей просторной.
Небесный ветер ворочает его,
Весь день поет, размалывая зерна.
Но им не надо хлеба твоего.
«То был высокий род, прекрасный и державный...»

То был высокий род, прекрасный и державный.
То был сладчайший плод. То был тишайший сад.
То было так давно. То было так недавно.
Как мог ты позабыть и не взглянуть назад!
Когда и зверь лесной те зори вспоминает,
Когда в любом цветке призыв молящих рук.
А судорога гор! Их сумрачный недуг!
Не вся ль земная тварь и страждет, и стонет!
Но ты, ты позабыл ту горестную тень,
Тень праотцев твоих, и грозный час расплаты,
И первый темный стыд, и первые раскаты
Карающих громов, и первый серый день!
«Как жемчуг, в уксус брошенный, мгновенно...»

Как жемчуг, в уксус брошенный, мгновенно
И навсегда растаю, растворюсь
В твоих просторах, край мой незабвенный,
Злосчастная, истерзанная Русь!
Шепча твое поруганное имя,
Развеюсь я в тоске твоей, как дым.
О, родина немая, научи мя
Небесным оправданием твоим!..
«Из опротивевшей норы...»

Из опротивевшей норы,
Вдыхая едкий запах гари,
Сквозь дождь, туманы и пары,
Чтоб где-нибудь в укромном баре...
И на рассвете... А потом
У опустевших ресторанов,
Ища растерзанный свой дом
И неожиданно воспрянув,
В испуге крикнув: – О, приди!..
О, Эвридика!.. И кромешный
Увидев сумрак впереди,
Понуро, горько, безутешно,
Забыв достоинство и стыд,
Столичным девкам на потеху,
Не помня слов, не слыша смеху,
Петушьим голосом навзрыд...
Михаил Форштетер

Шум города и шум дождя слились
в бормочущий во мраке бег.
Проходит жизнь. Прошла. Молчи, смирись.
Ни воротить, ни изменить вовек.
Кроватька. Няня. Пение волчка.
Вечерний запах ламп и шум подков,
и колокольный гул издалека,
и милый шелест маминых шагов.
Зима. Слепой московский небосвод,
ученых дней постыло-ровный ряд...
Полки в далекий тянутся поход,
и марши заунывные томят.
Сверкание гремящих поездов,
как счастье невозможное, зовет.
Над башнями немецких городов
заря пернатым облаком цветет.
Жасмина звездно-сладостный дурман,
и незнакомой девушки ответ.
В полднемном парке плещущий фонтан
поет: быть может – да, быть может – нет.
Прага

Свет обреченный, день печальный...
О, жизни предрешенный лёт!
И город, как фрегат хрустальный,
в лазури огненной плывет.
Тысячебашенный и старый,
приют безумных королей
и колдунов, творящих чары
среди залитых луной полей!
Грехам и наважденьям тайным
прикосновенен темный рок:
перед тобою не случайным
ловцом в овраге я залег.
И злым и радостно-крылатым
я стал в тугом твоём кругу.
Хранимый ангелом проклятым,
тебя тревожно стерегу.
Недвижна мраморная точность
потусторонней красоты,
и только нежная порочность
живит бездумные черты.
«Как встарь, размеренный и точный...»

Как встарь, размеренный и точный,
он в черный свой замкнется круг,
когда ударит бой полночный –
уйдет, как в сеть свою паук.
Вот мертвого повисли нити,
да паутина уж не та!
Дорога пройденных наитий –
как спутанная пустота.
Но только в час свободы мнимой
дотронешься до сети – вмиг
в свой черный круг нерасторжимый
тебя затянет крестовик.
Не разорвать позорной сети!
Паук окрутит, припадет, –
лишь кругом оплетенный этим
ты переступишь в Новый год.
1923

Париж

Россия

Из года в год мой переход печальней,
в глухой степи змеею колея...
Страны моей безрадостной и дальней,
страны моей забыть не в силах я.

Как будто сон, тяжелый сон дурманный,
меня тугой объемлет пеленой,
и вьется снег, и путь уходит санный
в темь зимнюю, в простор Москвы ночной.
Холодный ветер хлещет по заставам
(ему легко врываться в темноту), –
возница дряхлый в армяке дырявом
уж миновал заветную черту.
Едва ползет нагруженная кляча.
Все гуще темь, да и мороз острей.
Над рыхлыми сугробами маяча,
желтеют пятна редких фонарей.
Нависла мгла, и переулки глухи.
Мертво кругом, ни звука, ни огня...
А далеко в плену у злой старухи
моя подруга тихо ждет меня.
Как в первый день благословенной встречи,
ее глаза – сиянье летних гроз, –
нежней весны чело, уста и плечи
под медным золотом ее волос.
Подъеду к дому, постучусь тревожно
едва-едва в ворота... Ты сойдешь
и, двери отворяя осторожно,
прошепчешь: «Знала, милый, что придешь».
Скользнем, как тени, вдоль пустого зала
и притаимся в нише у окна.
За ним – фонарь, мигающий устало...
И улица туманная видна.
Тогда во мгле метельной и слепящей
далеким звоном трубы пропоют,
и тяжело проснетесь город спящий,
и мертвецы по городу бредут.
В худых обносках, грузны и неловки,
нестройной чередой землистых рот,
покорно волоча свои винтовки,
они в последний двинулись поход.
И тянутся к вокзалам окаянным,
где ждет их поездов чугунный ряд,
где голосом придушенным и странным
сирены паровозные вопят.
И снова снег запорошит панели,
кружась в луче фонарного огня...
Тогда пройдет еще один в шинели
по мостовой, чуть шпорами звеня.
В седой папахе, теребя бородку
(из-под тяжелых век не видно глаз),
покойный Царь усталую походкой
пройдет по переулку мимо нас.
Он скроется во мгле у перекрестка,
и станет вновь недвижной тишина...
И только снег, сверкающий и жесткий,
вновь поплывет за синевой окна.
1927

Париж

Три ангела

Три ангела предстали мне в ночи,
один – золотокрылый, свет нагорный,
другой – как лунный лик, а третий – черный,
и от него шли черные лучи.
И Первого узнав, пред ним поник
в испуге я: «Прости, что брел бесславным
путем под именем твоим державным».
Но не ответил мне Архистратиг.
Второй сказал, и голос пел, как медь:
«Ты не давал и не нарушил слова,
в моем огне не будешь ты гореть».
Он замолчал. Но я не знал Второго.
А Третий улыбнулся мне едва:

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

«Спасу тебя от радости и муки,
и жизнь твоя пройдет тиха, мертва,
и будет смерть, как легкий час разлуки...»
1929

Последнее

Спокойно разлитой туман
все бытие кругом завесил...
Но я не грустен и не весел,
я смертью подступившей пьян.
Как в радостно-блаженный миг
мое остановилось время, –
оно еще скользит за теми,
кто всех пределов не постиг.
Тщету и суетность и прах
изведав, не преодолею, –
в звериной жизни цепенею
и молча бьюсь в ее когтях.
Saint-Sulpice

[102]

Двойною каменной сетью
нагроможденных колоннад,
хвалой Людовиков столетью
взнес Сервадони[103] твой фасад.
На вознесенные ступени
всходил Король, бежал народ.
И гул толпы, и хор молений
под окрыленный плыли свод...
А нам, бессильным и неславным,
две башни в зареве утра
гласят двойным столпом неравным
О Massenet и DeLacroix.
«Без сил, больной и Богу непокорный...»

Без сил, больной и Богу непокорный –
жить не умел и умереть не смею,
но медленно схожу на нет, уныло тлею
над тленом мертвых лет, над бездной черной.
За радостно-летучие мгновенья,
за грех гордыни – непосильной платой
я заплатил судьбе... и заплачу проклятой
ценой последнего уничтоженья.
1934

«Ты, Россия, дальняя, печальная...»

Ты, Россия, дальняя, печальная,
нелюбимая родная сторона!
Ты в душе – как заповедь прощальная,
памяти усталой ты верна.
По тебе ли к старости соскучился,
или прошлое вдали, как отчий дом,
– оттого, что в мире я намучился, –
расцветает в имени твоём?
Рабья поступь... Нож за голенищем...
Древнего орла тяжелокрылый лёт...
Бродит лихо по селеньям нищим,
а в полях метелица метет.
1949

Париж

Василий Сумбатов

Два сувенира

Владимиру Смоленскому
Иссохший, легкий, с бронзовой кожей

Он мал и тверд, но это – апельсин.
В моем саду он рос и зрел один,
На золотое яблочко похожий.
Куст был покрыт цветами для невест –
Цветами подвенечного убора,
Но лишь один дал плод, – другие скоро
Осыпались, развеялись окрест.
Храню его, а он благоуханье
Свое хранит, свой горький аромат;
Встряхнешь его – в нем семена стучат
И будят о другом воспоминанье, –
И вижу я пасхальное яйцо,
Полвека пролежавшее в божнице
У няни, и мелькающие спицы
В ее руках, и доброе лицо.
– Со мной им похристосовался Гриша,
Мой суженый, – начнет она рассказ,
И снова я, уже не в первый раз,
О Грише, женихе погибшем, слышу.
Война, набор, жених уйдет в поход
И никогда к невесте не вернется...
Тут няня вдруг вздохнет и улыбнется
И, взяв яйцо, над ухом мне встряхнет.
В сухом яйце постукивает что-то.
– Кто в нем живет? – спрошу я, чуть дыша,
И няня скажет: – Гришина душа! –
И вновь яйцо положит у киота.
«Пушинку с семенем в окно...»

Пушинку с семенем в окно
Трамвая бросил резвый ветер,
И я один ее заметил
И спас от гибели зерно.
В горшок, где лилия всходила,
Я посадил его потом
И скоро позабыл о нем, –
Не до цветов мне как-то было.
Но после я грустил, узнав,
Что лилий заглушил отростки –
Зерном рожденный – серый, жесткий
Крепыш-плебей из сорных трав.
Есть в мире чья-то воля злая, –
Зло под добром укрыто в ней, –
И часто губим мы друзей,
Врагов от гибели спасая.
«В костре заката тлеют головни...»

В костре заката тлеют головни, –
Их не покрыл еще вечерний сизый пепел.
Еще не блещут звездные огни,
И месяц молодой из речки не пил,
Но уж не ярче, а темней небес
На сельской колокольне крест.
Смывает вечер яркие мазки
С картины дня росю холодящей...
Час непонятной сладостной тоски, –
О чем – Бог весть! О жизни уходящей?
Иль о нездешней жизни, о иной, –
Где крылья у меня сияли за спиной?..
«Легко сказать: Бодрись!..»

Легко сказать: Бодрись!
Легко сказать: забудь!
А если круто вниз
Сорвался жизни путь?
А если я – изгой?
А если я – один?
А если я грозой
Снесен с родных вершин?
Ведь нет подняться сил,
Ведь сломано крыло,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
Ведь я не позабыл,
Как наверху светло!
«Гиперборей»

Ахматова, Иванов, Мандельштам, –
Забывшая тетрадь «Гиперборей» [104] –
Приют прохожим молодым стихам –
Счастливых лет счастливая затея.
Сегодня я извлек ее со дна
Запущенного старого архива.
Иль сорок лет – еще не старина?
И уцелеть среди них – совсем не диво?
«Октябрь. Тетрадь восьмая. Девятьсот
Тринадцатого года»... Год заката,
Последний светлый беззаботный год.
Потом – не жизнь, – расправа и расплата.
Тетрадь – свидетель золотой поры,
Страницы, ускользнувшие от Леты.
Раскрыл, читаю, а глаза мокры, –
Как молоды стихи, как молоды поэты!
И как я стар! Как зря прошли года!
Как впереди темно, и как пустынно сзади!
Как жутко знать, что от меня следа
Никто не встретит ни в какой тетради.
Мост вздохов

Как мрачен в кровавом закате
Тяжелый тюремный карниз!
Мост вздохов [105], молитв и проклятий
Над черным каналом повис.
Налево – дворец лучезарный,
Ряды раззолоченных зал, –
В них где-то таился коварный
Всесильный паук – Трибунал;
Под крышей свинцовой направо –
Ряд каменных узких мешков...
От блеска, почета и славы
До гибели – двадцать шагов.
Равенна

I. «Давно столица экзархата...»

Давно столица экзархата
Уездным стала городком;
Над ней – закат, но нет заката
Воспоминаньям о былом,
И неувядающий блеск мозаик
Сквозь муть пятнадцати веков, –
Как взлет вечерний птичьих стаяк, –
Все так же древен, так же нов.
В мозаиках – все неизменно, –
Жизнь застеклилась на стенах, –
И видит старая Равенна
Былое, как в зеркальных снах.
И в те же сны с благоговеньем
Здесь в храмах я вперяю взгляд,
И византийские виденья
Со мной о прошлом говорят.
II. «Закат снижается, бледнея...»

Закат снижается, бледнея,
Вдоль стен кудрявится акант,
Вхожу под купол мавзолея,
Где погребен бессмертный Дант.
Внутри над ветхими венками
Звучит стихами тишина,
И так же здесь душа, как в храме,
Благоговения полна, –
Здесь веет славою нетленной,
Перед которой время – прах,
Здесь вечность грезит вдохновенно,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
Заснув у Данта на руках[106].
Рим в снегу

Не яблони ли в небе отцвели?
Не мотыльков ли белых кружит стая?
Не лепестки ль, не крылья ли, блистая,
В морозный день на старый Рим легли?
Нежданный гость полуденной земли –
Везде белеет пелена густая,
Покрыта ей и улица пустая,
И древний храм, и пышный парк вдали.
Когда мороз под ледяным забралом
Шагает вдоль по улицам пустым,
Покрытым серебристым покрывалом, –
И чуждый мир мне кажется родным,
И близок мне – в уборе небывалом –
Великий город семихолмный Рим.
Три смерти

Их было трое – молодых прислужниц
В известной всем таверне Азэлины, –
Все три – красавицы: Сиона дочь Мария,
Гречанка Эгле, Смирна из Египта.
Когда дохнул огнем Везувий на Помпею
И раскаленный град камней, песка и пепла
Низвергнулся на обреченный город,
Веселая таверна опустела.
Все завсегдатаи мгновенно разбежались, –
Кто – по домам, кто – к Сарно, кто – на взморье,
И три красавицы покинули таверну,
И все в один и тот же час погибли...
Прошли века. Обличье тела Смирны
Нашли среди других у алтаря Изиды,
А тело Эгле – в парке пышной виллы –
В объятиях патриция Марцелла,
У цирка в портике нашли Марии тело, –
Она в земном поклоне там застыла
Пред камнем, на котором был изваян
Из слов молитвы «Pater noster» крест.
Песчинка

Как сыплются песчинки дней
В клепсидре жизни струйкой серой!
Как мало их осталось в ней,
И сколько в каждой ясной веры,
Что нет движению конца,
Что в должный миг всегда готова
Рука премудрого Творца
Перевернуть клепсидру снова.
И, краткий вниз свершив полет,
Песчинка среди других ложится
И ждет, когда придет черед
В движенье новое включиться,
Чтоб в этом новом череду
Опять катиться – без заботы
О том, в каком она ряду,
Среди кого, какой по счету.
На пороге

Сжигающая боль в груди,
В глазах – мельканье белых крылий,
И чьи-то руки впереди
Из жизни дверь мне растворили.
За нею нет земных дорог,
Не знаю я, – там сон иль бденье...
Как страшно перейти порог!
И что за ним? – полет? паденье?..
Ответов нет. А боль острее,
Метелью стали крыл мельканья...
О, поскорей бы, поскорей
Прервался ужас ожидания!

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fiло

Откройте, бездна или твердь,
Коль срок настал покинуть землю! –
Я принял жизнь, приму и смерть,
Но страха смерти не приемлю.
«Было в комнате только одно...»

Было в комнате только одно
Чуть серевшее в мраке окно,
Но – луна показалась едва –
Неожиданно стало их два.
Лунный луч в серебристом огне
Прилетел и прижался к стене,
И раскрылась стена, и за ней –
Легкий танец прозрачных теней.
За окном настоящим слышны
Говор, смех, переплески волны,
А за лунным окном – тишина
Глубока, безмятежна, ясна.
Где мой мир? За каким он окном?
В надоедливом шуме земном
Или в светлом молчаньи луны
На холодном экране стены?
Пусть стена преграждает мой взгляд, –
Для мечты не бывает преград,
И купаюсь я в лунной тиши,
Как в стихии, родной для души.
Сказка с конца

Памяти Е. Ф. Шмурло
В темнице сыро. Ладога туманна,
Туманен узника бездумный взгляд...
Из люльки – мимо трона – в каземат, –
Таков удел шестого Иоанна[107].
Он здесь давно живет под кличкой бранной
Забавой для тюремщиков-солдат,
Без мысли и без чувства автомат,
Полумертвец с улыбкой постоянной.
Здесь жизнью сказка начата с конца, –
Здесь не Иван-дурак до царского венца
Достиг путем удачи иль обмана,
Судьбы неотвратимая рука
Здесь превратила в куклу, в дурака
Несчастливого Царевича Ивана.
Прозрачная тьма

Яснее вижу в темноте
Всё, что когда-то видел в свете,
Но впечатления не те
Теперь дают картины эти.
Как будто был я близорук,
И мне теперь очки надели, –
Всё так отчетливо вокруг,
Всё так, как есть на самом деле,
И даже больше, – суть идей
И чувств теперь я глубже вижу,
Кого любил – люблю сильнее
И никого не ненавижу.
Первое гнездо

кн. Е. Н. Сумбатовой[108]
Помнишь дом времен Елизаветы, –
Прихотливо выгнутый фасад,
Временем как будто не задетый,
Хоть построен двести лет назад?
Помнишь толщу крепких стен старинных,
Старых комнат горделивый вид?
В полутемных переходах длинных –
Помнишь коридор – «аппендицит»?
Помнишь – в этой путанице сложной –
Памятник давно отцветших лет,
Пережиток роскоши вельможной –

На алтарь похожий кабинет?
Только крюк от венецейской люстры
Сохранил там купол-потолок,
И, в окно влетая, ветер шустрый
Хрусталем звенеть уже не мог,
Там колонны стройные попарно
Разошлись по четырем углам,
Пахло былью там высокопарной,
Несозвучной нашим временам.
Но для нас уютно и красиво
Было там, – мы жили там вдвоем,
Жили просто, ласково, счастливо,
Хоть в отчизне ширился разгром..
Пусть года промчались, но доньше
Помним мы так ясно, как вчера,
Как часы стучали на камине,
Как текли в беседах вечера,
Как огонь в камине, вечно весел,
Исполнял свой танец боевой,
Как в объятьях мастодонтов-кресел
Так уютно было нам с тобой,
Как колонны мрамор гляцевитый
Золотило солнце по утрам,
Как отец – насмешник сановитый –
Заходил побалагурить к нам,
Как кипел кофейник на спиртовке,
Как вдвоем... да нужно ль говорить?
Наш алтарь в хоромах на Покровке
Нам с тобой до гроба не забыть!
Жизнь

Владимиру Смоленскому
Жить – видеть, слышать и любить
И думать о любимом,
Хотя б горела жизни нить
И становилась дымом.
И ничего не позабыть, –
Заставить разум снова
Вить из кудели дыма нить
Сгоревшего былого.
Град Петра

Рождавшейся Империи столица –
Санкт-Петербург – Петрополь – Петроград –
Лишь при Империи Ты мог родиться
И вместе с ней Ты встретил свой закат.
Два века роста, пышного цветенья, –
Архитектуры праздник над Невой,
Расцвет искусств, науки, просвещения,
Поэзии и чести боевой!
Два века славы, блеска и покоя,
Немногих перемен, недолгих гроз!
Жизнь, как Нева, не ведала застоя,
Ты, град Петра, все украшаясь, рос.
Но славы вековой умолкли хоры,
Империя приблизилась к концу,
И прогремели выстрелы с «Авроры» –
Салют прощальный Зимнему дворцу..
Ты имени лишен, но Всадник Медный
Руки не опустил, – придет пора, –
Разгонит он рукой туман зловерный
И впишет вновь на картах: Град Петра.
Дмитрий Кленовский

«Легкокрылым Гением ведомы...»

Легкокрылым Гением ведомы,
Улетели птицы за моря.
Почему же мы с тобою дома
Этим хмурым утром ноября?
Может, нужно было взять котомку,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

Палку, флягу, пару верных книг
И пуститься ласточкам вдогонку
Через лес и поле напрямик!
Только тем, кто медлят, невозможно
Причаститься радостей земли.
Через все шлагбаумы, все таможни
Невидимками бы мы прошли.
И наверно б вышли мы с тобою
Завтра утром к розовым камням,
Тонким пальмам, пенному прибору –
Золотым, благословенным дням.
И наверно самой полной мерой
Было б нам, дерзнувшим, воздано
За крупицу настоящей веры,
За одно горчичное зерно.
Прохлада

На рубеже последних дней
Мне больше ничего не надо,
Вокруг меня уже прохлада
Прозрачной осени моей.
Пусть стали медленней движенья
И голос изменяет мне,
Но сердца в полной тишине
Красноречивее биенье.
Ложится сумрак голубой
На тяжелеющие веки,
И так прекрасно быть навеки
Наедине с самим собой.
1947

Долг моего детства

Двоился лебедь ангелом в пруду.
Цвела сирень. Цвела неповторимо!
И, вековыми липами хранима,
Играла муза девочкой в саду.
И Лицеист на бронзовой скамье,
Фуражку сняв, в расстегнутом мундире,
Ей улыбался, и казалось: в мире
Уютно, как в аксаковской семье.
Всё это позади. Заветный дом
Чернеет грудой кирпича и сажи,
И Город Муз навек обезображен
Артиллерийским залпом и стыдом.
Была пора: в преддверьи нищеты
Тебя земля улыбкою встречала.
Верни же нынче долг свой запоздалый
И, хоть и трудно, улыбнись ей – ты.
1949

«Прозрачным сном прекрасна ночь моя...»

Прозрачным сном прекрасна ночь моя,
Мне, пробудясь, листать не нужно сонник,
И круглым хлебцем радость бытия
Кладет мне утром Бог на подоконник.
И, посолив отрезанный ломоть
дневной заботой, болью и тревогой,
Прияв опять мою земную плоть,
Я дальше мерю долгую дорогу.
И с каждым днем она понятней мне:
В ней поровну всего! И я доволен
Не только тем, что хлеб в моей суме,
Но также тем, что этот хлеб – присолен.
1949

«Корзина с рыжиками на локте...»

Корзина с рыжиками на локте,
А за плечом – мешок еловых шишек.

Опушки леса ласковый излишек –
Не царский ли подарок нищете!
Затопим печку, ужин смастерим
И ляжем спать на стружковой перине.
Есть в жизни грань, где ты неуязвим,
Неуязвим, как ветры и пустыни.
1951

«Пирог с грибами стынет на столе...»

Пирог с грибами стынет на столе.
Меня зовут. Бегу огромным садом.
Вот этот полдень, в Царском ли Селе
Иль в Павловске, он здесь, со мною рядом.
Он был хорош не только тишиной,
Не только беззаботностью и ленью –
Он был взыскательный учитель мой
И научил высокому уменью:
Уменью жить цезурою стиха,
Как эти вот дворцы, аллеи, шлюзы,
Как тот кувшин в бессмертных черепках,
Откуда пили ласточки и музы.
1951

«Мы с тобою ее запомнили...»

Мы с тобою ее запомнили,
Эту медленную весну:
Гиацинты на подоконнике,
Восковую их белизну.
А за ними, весь в колких лужицах,
Тихий дворик, московский, тот,
Что – прикажет весна – закружится,
Защебечет и зацветет.
С Новодевичьего, с соседнего,
Мерно пели колокола.
И любовь наша тоже медленной,
Вот как эта весна, была.
Всё прилаживалась, примеривалась,
Подмерзала то там, то здесь,
Чтобы, словно сперва не веря в нас,
После вдвое щедрей расцвести.
...Вспоминаешь, и в сердце – лужицы,
Гиацинты, колокола
И та девушка, в косах, в кружевце,
Что тобою тогда была.
1951

Не забытое, не прощенное

Когда весной – чужой весной! –
Опять цветет сирень,
Тогда встает передо мной
Мой царскосельский день.
Он тронут ранней сединой,
Ему за пятьдесят,
Но молодой голубизной
Его глаза горят.
Он пахнет морем и руном
Гомеровской строки,
И гимназическим сукном,
И мелом у доски;
Филипповским (вкуснее нет!)
Горячим пирожком,
Девическим, в пятнадцать лет
Подаренным, платком...
Стучит капель, оторопев
На мартовском ветру,
Звенит серебряный припев
Кавалерийских труб,
И голуби, набив зобы,

Воркуют на снегу.
...Я всех забыл, я всё забыл,
А это – не могу!
* * *

За годы зла, за годы бед,
Со мной друживших там,
Привык терять я даже след
К покинутым крестам.
Я схоронил отца и мать,
Я схоронил друзей,
Но их мне легче вспоминать,
Чем запах детских дней.
Всё, чем согрела жизнь меня,
Я растерял – и пусть!
Вот даже Блока больше я
Не помню наизусть.
И стало тесно от могил
На дальнем берегу.
...Я всех, я всё похоронил.
А это – не могу!
* * *

Когда я думаю, что вот
Там всё теперь не так,
И тот, кто песни там поет,
Не близок мне никак;
Со мною августовским днем
Не вспомнит злую весть,
Не скажет: «Вот сейчас, вдвоем,
«Костер»[109] бы перечесть!»
Когда я вспомню, что поэт,
Что всех дороже мне,
Убит, забыт – пропал и след! –
В своей родной стране;
Что тот, кто нам стихи сложил
О чувстве о шестом, –
И холмика не заслужил
С некрашеным крестом;
Что даже в эти, в наши дни
На невском берегу
Его и мертвого они
Как волка стерегут –
Тогда я из последних сил
Кричу его врагу:
Я всем простил, я все простил,
Но это – не могу!
1955

«О, только бы припомнить голос твой...»

О, только бы припомнить голос твой –
Тогда я вспомнил бы и этот город,
И реку (не она ль звалась Невой?),
И колоннаду грузного собора,
И тонкий шпиль в морозной вышине,
И сад в снегу, такой нелетний, голый...
О, если б голос твой припомнить мне,
Твой тихий голос, твой далекий голос!
Что это всё мне без него? А он...
Он потонул, как все тогда тонули:
Без крика, без письма, без похорон,
В тифозной качке, в орудийном гуле,
С последней шлюпкой, на крутой волне
Отчавившей от ялтинского мола...
О, если б голос твой приснился мне,
Твой дорогой, твой потонувший голос!
1955

«Как много есть прекрасного на свете...»

Как много есть прекрасного на свете:
Крыло орла, девическая грудь,
Кленовый лист, Риальто[110] на рассвете,
Раздолье Волги, ландыш, Млечный путь...
И вот еще: прыжок бегущей лани,
Глаза ребенка, парус на волне...
Ты видишь сам: не сосчитать названий,
Не перечислить ни тебе, ни мне.
И все-таки не легче ль жить на свете,
Когда ты знаешь, что везде кругом
Есть волны, клены, девушки и дети
И даже просто чей-то сад и дом?
Ты говоришь: все это преходяще!
И ты не прав! Ведь будущей весной
Опять прыжок в зазеленевшей чаще,
Опять подснежник свежий под ногой!
Наш мир в бреду. Он шепчет заклинанья,
Он душит все, чем жизнь еще права,
Но в мире нет разрушенного зданья,
В котором бы не проросла трава.
1956

Царскосельская гимназия

Есть зданья неказистые на вид,
Украшенные теми, кто в них жили.
Так было с этим.
Вот оно стоит
На перекрестке скудости и пыли.
Какой-то тесный и неловкий вход
Да лестница, взбегающая круто,
И коридоров скучный разворот –
Казенщина без всякого уюта.
Но если приотворишь двери в класс –
Ты юношу увидишь на уроке[111],
Что на полях Краевича, таясь,
О конквистадорах рифмует строки.
А если ты заглянешь в кабинет,
Где бродит смерть внимательным дозором, –
Услышишь, как сидящий поэт[112]
С античным разговаривает хором.
Обоих нет уже давно. Лежит
Один в гробу, другой, без гроба, – в яме,
И вместе с ними, смятые, в грязи,
Страницы с их казненными стихами.
А здание? Стоит еще оно
Иль, может быть, уже с землей сровнялось?
Чтоб от всего, чем в юности, давно,
Так сердце было до краев полно,
И этой капли даже не осталось.
1957

«Чем дольше я живу, тем ненасытней я...»

Чем дольше я живу, тем ненасытней я,
Тем с большей жадностью тянусь к усладе здешней.
Пусть ждет меня нектар иного бытия –
Я от разлуки с ней всё безутешней.
И радость мне моя последняя горька...
Так в блекнувшем саду, где астры холодеют,
Озябшая пчела с последнего цветка
Пьет скудный мед, сама уже скудея.
К остывшим венчикам она ревнивей льнет,
Неяркий солнца луч ее уже не тешит,
А то, что в улье ждет богатство полных сот –
Стяжательницы милой не утешит.
1957

«В талом небе такие мокрые...»

В талом небе такие мокрые,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах f10

Акварельные облака.

...Мог ли я сомневаться, мог ли я
Не поверить, что ты близка,
Если так хорошо и весело
Ты умела ко мне прильнуть,
Медный крестик с моей перевесила
На свою золотую грудь?

...В мутном небе такие влажные,
Акварельные облака.

...Важно ли, что была ты, важно ли,
Что слабела в моих руках,
Если вот вспоминаю редко я
И так нехотя о тебе,
Если ты раскаленной меткою
Не осталась в моей судьбе?

...В бледном небе совсем туманные,
Акварельные облака.
Почему меж других – не странно ли? –
Эта путается строка?
Или ею напоминает,
Что все лучшее навсегда
Разлетается, расплывается,
Растворяется без следа.
1958

«Как бушевали соловьи...»

Как бушевали соловьи
Над нашей гоголевской хатой,
Луною выбеленной и
Подсолнухами полосатой!
Их было не перекричать!
Но, неуверенно вначале,
Еще пугаясь всё сказать,
Мы их с тобой... перешептали.
Как было хорошо прильнуть
Губами к маленькому уху!
С собой мы взяли в дальний путь
Ту немудреную науку.
И с той поры она для нас
Защитой стала неизменной:
Таким же шепотом сейчас
Мы заглушаем шум вселенной.
1958

«Я думал до сих пор, что наша...»

Я думал до сих пор, что наша
Давно развязанная связь,
Хотя была других не краше,
Но все же в сердце сбереглась.
И вот недавно, в день погожий
Бродя по улице пустой,
Как заблудившийся прохожий,
Я вышел к истине простой:
Что все давным-давно забыто
И окончательно мертво,
Что сердце на могильных плитах
Не написало ничего.
Нет, не подумай, я не плачу,
Я просто на ущербе дней
Одною истиной богаче,
Одною радостью бедней.
1958

«Нет, и всматриваться не стоит!..»

Нет, и всматриваться не стоит!
Ведь с собою не унести
Эти звезды, луга, прибои –
Все и сложное и простое,

С чем мне больше не по пути!
Знаю, знаю: пора пришла мне
Подружиться с коротким днем,
Мелкой речкой, замшелым камнем,
Выкорчеванным скользким пнем;
С равнодушной подругой-палкой,
С шумом медленного дождя –
Всеми теми, кого не жалко
Будет мне потерять, уйдя.
Ну а если и к ним я тоже
Так привыкну, что станут мне
И они всех небес дороже –
Кто мне землю забыть поможет
В беспощадной Твоей стране?
1959

«На италийском мраморе плиты...»

На италийском мраморе плиты –
Простое имя и скупая дата.
Но почему остановилась ты
И вздрогнул я, смущением объятый?
Не потому ль, что вновь коснулся нас
В своем заолодевшем начертаньи
На плитах всех повторенный рассказ
О жалком человеческом незнании.
Смотри: сквозь надпись проступает ложь!
Лгут имена! Нас всех зовут иначе!
Нам роздали их просто как пришлось!
Где то, каким в веках я обозначен?
И даты лгут! Нам миллиарды лет!
Не эти шестьдесят, не эти тридцать!
Обратно нам уже дороги нет,
Но впереди нам не остановиться.
Уйдем отсюда! Что нам говорят
Случайно здесь разбросанные плиты?
Пройдут века – и мы придем назад.
Еще мгновенье – и они разбиты.
1960

«Мы все уходим парусами...»

Мы все уходим парусами
В одну далекую страну.
Ветра враждуют с облаками,
Волна клеветает на волну.
Где наша пристань? Где-то! Где-то!
Нам рано говорить о ней.
Мы знаем лишь ее приметы,
Но с каждым днем они бледней.
И лишь когда мы всё осилим
И всякий одолеем срок –
Освобождая под килем
Прибрежный зашуршит песок.
И берег назовется ясным
И чистым именем своим.
Сейчас гадать о нем напрасно
И сердца не утешить им.
Сейчас кругом чужие земли,
Буруны, вихри, облака,
Да на руле, когда мы дремлем,
Немого ангела рука.
1961

«Как пароход подходит к пристани...»

Как пароход подходит к пристани,
Неспешно замедляя ход,
И всматриваешься все пристальней
В тот край, что пред тобой встает, –
Так я гляжу в недоумении

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio

На берег странный и чужой,
Что в неизбежном приближении
Сейчас встает передо мной.
Какие-то струятся тени там,
Какие-то скользят лучи,
Но в смутном их нагромождении
Мне ничего не различить.
И лишь одна (прозреньем, бредом ли?)
Надежда промелькнет подчас,
Что кто-то, мне пока неведомый,
На сходящих руку мне подаст.
1964

«Когда-нибудь (быть может, скоро)...»

Когда-нибудь (быть может, скоро)
На том, нездешнем, берегу,
На том единственном, который
Себе в наследство берегу, –
Я обернусь и вдруг замечу,
Что, труден и неумолим,
Но этот путь мой человеческий
Был все-таки необходим.
Что в тесноте земных свершений,
В борьбе мужей, в объятьях жен,
В огне молитв, в бреде сомнений
Я слеплен был и обожжен.
И уходя теперь отсюда,
Я вижу: мы бы не смогли
Небесного коснуться чуда
Без страшной помощи земли.
1964

«Слишком просто, и не для поэта...»

Слишком просто, и не для поэта,
А для всякой совести земной,
Взять да и поверить, будто это
Навсегда закончится с тобой.
Слишком просто! Все кругом так сложно.
Тайною овечьи и храним
Каждый жалкий камень придорожный,
Каждый лист, упавший рядом с ним.
Почему же ты проходишь мимо
Этой тайны камня и листа,
Мимо тайны, явной и незримой,
Что вокруг повсюду разлита?
Попытайся к этой тайне малой,
К ней хотя бы, ближе подойти!
Этого довольно для начала,
Для начал твоего пути.
1964

«Расплачиваться надо за вино...»

Расплачиваться надо за вино [113],
За горсть зерна, за поцелуй беспечный,
За все, за все, что здесь тебе дано!
А за любовь? За ту тройне, конечно!
Но вдумайся: не стоит ли она
Такой опустошающей расплаты?
Она была ведь горячей вина,
Необходимее, чем горсть зерна,
И всеми поцелуями богата.
Так не скупись на папиросный дым,
На слезы, на отчаянье, на муку
Слепых шагов по улицам ночным!
Плати! Твой ростовщик неумолим:
Вот он опять протягивает руку!
1965

След письма на пропускной бумаге
Можно снова в зеркале прочесть,
Только знай: в его застывшей влаге
Точность есть и беспощадность есть.
Так любовь порой в воспоминаньи
Заново нам лучше не читать,
Все слова, все знаки препинанья
Сызнава ничем не проверять.
Лучше нам не приближать напрасно
Разума зеркального к тому,
Что осталось смутным и неясным –
И быть может, лучшим потому.
1966

«Сложи свои распахнутые крылья...»

Сложи свои распахнутые крылья
И мудрости последней научи,
Как без тоски, без страха, без усилия
Нащупать дверь и подобрать, ключи.
Чтоб наконец, спокойною рукою
На ручку двери медленно нажав,
Уйти туда, где буду я с тобою
Среди ничем не запыленных трав.
1966

«Его вчера срубили. Что осталось...»

Его вчера срубили. Что осталось
От всех его упрямых, гордых лет?
Немного щепок, дрозг крестьянских след,
Да свежий пень. Здесь я побуду малость
И напишу всего десяток строк,
Но станет в них все сызнава как надо:
Дуб, воротясь, прошелестит прохладой
И распахнется, волен и широк.
И так же быстро оживет, наверно,
Узор листвы и веток тяжкий взлет
И, выскользнув из чашечки неверной,
На землю первый желудь упадет.
Смотри: весь дуб перед тобою снова
И нет того, что было свершено!
Вот так обратно возвращает слово
Все то, что срублено и сожжено.
1966

«Счастливое, волнующее слово...»

Счастливое, волнующее слово
Приходит к нам всегда легко дыша,
Оно слететь как лепесток готово
И только ждет, чтоб приняла душа.
А если нет, а если жжет и душит,
Задумано тобой, а не дано,
И нарастает все трудней и глуше –
Не соблазняйся: это не оно!
1968

«Все словно как на вокзале...»

Все словно как на вокзале
Перед отходом поезда:
Чего-то не досказали,
Но это исправить поздно.
Поезд мой – в неизбежное,
Отходит без опозданья.
Скорей хоть что-нибудь нежное
Скажите мне на прощанье!
Это совсем последнее,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах filio
И надо проститься, значит,
Не так, как еще намедни,
А как-то совсем иначе.
Адреса не просите,
Где я – не узнавайте!
Ведь я не скажу: «Пишите!»,
А только: «Не забывайте!»
1969

Комментарии

Текстологические принципы издания

Принципы составления настоящей четырехтомной антологии достаточно просты и отчасти сформулированы во вступительной статье. Остается добавить, что поэтические подборки в ней расположены приблизительно по годам рождения ее участников, насколько удалось установить таковые. В абсолютном большинстве случаев в антологию включены лишь стихотворения, написанные после выезда из России (или до возвращения в нее); в нескольких случаях публикуются небольшие поэмы, но нигде не нарушен принцип: не давать фрагментов, а печатать произведения целиком. Лишь в нескольких случаях поэтические циклы публикуются не полностью. Соблюден также принцип «последней авторской воли», т. е. стихотворения даны в последней прижизненной редакции. Ряд произведений печатается впервые по текстам, любезно предоставленным как самими поэтами, так и их родственниками и наследниками; ряд произведений публикуется по источникам, находящимся в многочисленных архивах. В текстах в основном сохранена авторская орфография и пунктуация. Лишь в необходимых случаях знаки препинания приведены к современным нормам.

В справках об авторах мы старались привести лишь проверенные данные, предпочитая вовсе не пользоваться «легендами», хотя многие справки изобилуют неизбежными пропусками. В библиографии указываются лишь авторские и только поэтические сборники авторов, изданные вне пределов СССР. В реальном комментарии уделено место разъяснению сравнительно мало известных фактов и образов, без которых понимание текста было бы либо затруднено, либо неполно.

Составитель и редколлегия приносят благодарность лицам, принявшим участие в составлении нашей антологии: Л. Нарциссовой, М. Столяровой, И. Матвеевой-Елагиной, Е. Матвеевой, Е. Жиглевич, П. Балакшину, А. Вадимову-Цветкову, Д. Тарасенкову, М. Юппу, Б. Дьяченко, А. Колесову, В. Перельмутеру, Р. Тименчику, Н. Рубашовой, Б. Казначей, В. Сечкарёву, И. Ф. Голенищевой-Кутузовой, И. Рековской-Эйснер, Л. Мнухину и ряду других лиц, для перечисления которых потребовались бы многие страницы.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (14 августа 1865, Петербург – 9 декабря 1941, Париж). Происходил из украинского дворянского рода. В 1884–1889 гг. учился на историко-филологическом факультете сначала Московского, затем Петербургского университетов. В 1889 г. женился на поэтессе З. Н. Гиппиус. В 1905–1912 гг. жил в Париже. В 1919 г. уехал из Советской России в Варшаву, позже переселился в Париж.

Печататься начал в 1881 г. До революции вышли три сборника его стихов и несколько книг прозы (в том числе знаменитая трилогия «Христос и Антихрист»); в 1912 г. было издано 24-томное собрание сочинений, включавшее прозу, стихи и эссеистику. В 1918 г. был написан роман «14 декабря», завершивший вторую прозаическую трилогию «Царство Зверя». В эмиграции стихи и проза Мережковского печатались в журналах «Современные записки», «Числа», «Возрождение» и других изданиях. Однако поэтических публикаций было немного (в частности, в журнале «Новый дом»). В то же время широкую известность приобрели историко-философские работы Мережковского, такие, как «Тайна Запада. Атлантида – Европа» (1930), «Иисус неизвестный» (1932), «Данте» (1939; кн. 1 и 2) и др. Стихотворения Д. С. Мережковского вошли в антологии «Якорь» (Берлин, 1937) и «На Западе» (Нью-Йорк, 1953). Авторской книги стихов поэт в эмиграции не выпустил.

Иванов Вячеслав Иванович (28 февраля 1866, Москва – 16 июля 1949, Рим). Учился сначала в Московском, затем в Берлинском университетах, где изучал историю и классическую филологию. До революции неоднократно бывал за

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах filio границей. С 1905 г. жил в Петербурге, где стал известен как один из виднейших поэтов-символистов. «На башне» в квартире В. Иванова собирались крупнейшие русские поэты и литераторы. В 1913 г. переехал в Москву. В 1920–1924 гг. преподавал в Бакинском университете. В 1924 г. получил официальное разрешение выехать за границу и до самой смерти жил в Италии, где в 1926 г. принял католическую веру. В 1926–1934 гг. преподавал русский язык и литературу в университете Павии, в 1934–1943 гг. работал в Восточном институте Ватикана. Почти не принимал участия в литературной жизни русской эмиграции, печатался крайне редко, занимаясь в основном научной работой. При жизни поэта в эмиграции вышла единственная книга его стихов тиражом 200 экземпляров. Все остальные издания – посмертные, в том числе и вышедшее в Брюсселе собрание сочинений. Участник антологий «Якорь» и «На Западе».

Библиография: «Человек. Поэма» (Париж, 1939).

Бальмонт Константин Дмитриевич (15 июня 1867, дер. Гумница Владимирской губ. – 24 декабря 1942, Нуази-ле-Гран, Франция). Учился на юридическом факультете Московского университета, но не закончил его, избрав литературное поприще. Первую книгу стихов выпустил в 1890 г. Один из «столпов» русского символизма, автор многих книг стихов, в том числе «Будем как солнце» (1903), «Только любовь. Семицветник» (1903), ставших символистской «классикой». Часто бывал за границей, много путешествовал, еще до революции некоторое время жил в Париже. В 1920 г. получил разрешение на выезд из Советской России и остался в Париже. В 1927 г. переехал в Кап-Бретон на побережье Атлантики. В 1937 г. заболел тяжелым психическим расстройством. В эмиграции сначала развил бурную литературную деятельность, но почти не имел успеха у читателей, поскольку его эмигрантские стихи мало чем отличались от дореволюционных. В течение всей жизни много занимался поэтическими переводами с самых разных языков. Ему принадлежат также многочисленные критические статьи о литературе и искусстве. Участник антологий «Якорь», «На Западе», «Муза Диаспоры» (Франкфурт-на-Майне, 1960).

Библиография: «Избранные стихотворения» (Нью-Йорк, 1920); «Светлый час. Избранные стихи» (Париж, 1921); «Гамаюн. Избранные стихи» (Стокгольм, 1921); «Дар земли» (Париж, 1921); «Сонеты солнца, меда и луны. Песни миров» (Берлин, 1921); «Марево. Стихи 1917–1921 гг.» (Париж, 1922); «Зовы древности. Гимны, песни и замыслы древних» (Берлин, 1923); «Пронзенное облако» (Берлин, 1923); «Моё – Ей. Россия» (Прага, 1924); «В раздвинутой дали. Поэма о России» (Белград, 1929); «Северное сияние. Стихи о Литве и Руси» (Париж, 1931); «Голубая подкова. Стихи о Сибири» (США, 1937); «Светослужение» (Харбин, 1937) и др.

Блох Григорий Анатольевич (псевд. Григорий Тюрсев; 1867, г. Могилев на Днепре – 31 января 1927, Ницца). С 1870 г. жил в Вильно, где окончил гимназию. Позже переехал в Петербург. Окончил юридический факультет Петербургского университета; одновременно получил диплом Петербургской консерватории по классу виолончели. Стихи начал писать еще в гимназии, позже печатался в «Вестнике Европы» и «Новостях». В последнем из названных журналов Г. Блох по окончании университета был музыкальным критиком, а затем и фактическим редактором. В начале 1890-х гг. издал книгу о композиторе Кавосе, однако вскоре отошел от литературы, стал крупным предпринимателем-промышленником. Стихи начал писать вновь и всерьез в 1918 г. Двумя годами позже в Выборге, под псевдонимом Григорий Тюрсев, он выпустил сборник стихотворений. В последующие годы Блох-Тюрсев много писал, печатал не только оригинальные стихи, но и переводы (Петрарка, Шекспир). В его единственную, вышедшую в эмиграции (посмертно) книгу были включены стихи 1918–1926 гг.

Библиография: «Стихотворения» (Париж, 1927).

Ратгауз Даниил Максимович (6 февраля 1868, Харьков – 1937, Прага). Выпускник юридического факультета Киевского университета. Печататься начал в 1893 г., тогда же выпустил свой первый поэтический сборник. Публиковался в «Русской мысли» и других периодических изданиях. На стихи Ратгауза писали романсы Чайковский, Кюи, Рахманинов и другие русские композиторы. В 1922 г. уехал из России, жил сначала в Берлине, позже – в Праге.

Библиография: «Мои песни» (Берлин, 1922, 2-е издание; 1-е издание этой

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) В четырех книгах fillo книги вышло в Москве, в 1917 г.); «О жизни и смерти» (Прага, 1927).

Гиппиус Зинаида Николаевна (20 ноября 1869, г. Белев Тульской губ. – 9 сентября 1945, Париж). Из семьи обрусевших немцев. Писать стихи начала с семи лет. В 1889 г. вышла замуж за Д. С. Мережковского. В 1903–1909 гг. активно сотрудничала в журнале «Новый путь», где печаталась под псевдонимом Антон Крайний, а в последующие годы и во многих других изданиях. Салон Гиппиус и Мережковского в Петербурге был постоянным местом встреч писателей, философов, поэтов. В конце 1919 г. З. Гиппиус вместе с мужем бежала через Польшу во Францию, в Париж, где у Мережковских была своя квартира. Здесь, как и в Петербурге, у них постоянно собирались крупнейшие деятели литературы и философии русской эмиграции, проводились собрания кружка «Зеленая лампа». Гиппиус публиковала в эмигрантской периодике стихи, критические статьи, воспоминания, а также свои «Петербургские дневники». Особенным успехом пользовался ее сборник «Сияния» (1938), многие стихи из которого вошли в настоящее издание. З. Гиппиус принадлежат также многочисленные прозаические произведения, книга публицистики и воспоминаний «Живые лица» (1925) и книга «Дмитрий Мережковский» (Париж, 1951, не окончена, издана посмертно). Участница антологий «Якорь», «На Западе», «Муза Диаспоры».

Библиография: «Стихи. Дневник 1911–1921» (Берлин, 1922); «Сияния» (Париж, 1938); двухтомное собрание сочинений (Мюнхен, 1972).

Бунин Иван Алексеевич (22 октября 1870, Воронеж – 8 ноября 1953, Париж). Из древнего дворянского рода, сын помещика. В 1889–1895 гг. работал журналистом в г. Орле, библиотекарем и земским статистиком в Полтаве. В 1887 г. было напечатано его первое стихотворение, а в 1891 г. вышел первый сборник стихов. В 1901 г. Бунин издал вторую книгу – «Листопад», которая была удостоена премии им. Пушкина. Некоторое время сотрудничал с издательством «Знание» и литераторами, близкими к Горькому. В 1909 г. получил звание почетного члена Российской Академии наук. Много путешествовал, неоднократно бывал за границей. В мае 1918 г. вместе с женой Верой Муромцевой уехал из Москвы в Одессу, сотрудничал в газетах; 26 января 1920 г. Бунины отплыли в Константинополь, откуда позже переехали в Париж. С Францией связана вся его дальнейшая жизнь, не считая коротких поездок в Англию, Италию, Германию, Швецию по творческим и другим делам. Бунин активно печатался в эмигрантских изданиях, выпустил много книг, в основном прозаических. Стихов в 1920–1950-е гг. писал мало. В 1933 г. стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Автор таких широко известных произведений, как «Жизнь Арсеньева» (1930–1939), «Темные аллеи» (1943), мемуары «Окаянные дни» (1935) и «Воспоминания» (1950). Участник антологий «Якорь», «На Западе», «Муза Диаспоры».

Библиография: «Избранные стихи 1900–1925» (Париж, 1929); стихи входили и во многие другие книги Бунина наравне с прозой, а также в собрание сочинений, изданное в Берлине в 1934–1936 гг. Существуют и посмертные издания, а в 1921–1922 гг. в Берлине и Париже вышли две книги переводов Бунина из Байрона и Лонгфелло.

Тэффи (наст. имя и фамилия Надежда Александровна Бучинская, урожд. Лохвицкая, 21 мая 1872, Петербург – 6 октября 1952, Париж). Из дворянской семьи, дочь профессора юриспруденции. Начала печататься в 1901 г. С 1908 г. сотрудничала в журналах «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», издававшихся А. Аверченко. После Октябрьской революции бежала из Петербурга сначала в Киев, затем в Крым, а в 1919 г. эмигрировала в Константинополь, откуда переехала в Париж. Первые прозаические книги эмигрантского периода опубликовала в Стокгольме. Еще до революции Тэффи была известна прежде всего как автор юмористических рассказов и фельетонов, блестящий мастер сатиры. Эта репутация сохранилась за ней и в эмиграции: в Париже были изданы, пожалуй, ее лучшие книги. Стихов Тэффи писала немного и печатала их нечасто. За границей были изданы лишь два ее стихотворных сборника. Участница антологий «Якорь», «На Западе».

Библиография: «Passiflora» (Берлин, 1923); «Шамран. Песни Востока» (Берлин, 1923).

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах filio

Бердяева Лидия Юлифовна (урожд. Трушева, в первом браке Рапп; 1874, Харьков – 1945, Париж). Родилась в семье юриста. Получила домашнее образование, затем воспитывалась в частном пансионе. В юности увлеклась революционной работой, подвергалась полицейским преследованиям. Весной 1904 г. в Киеве познакомилась с Н. А. Бердяевым (1874–1948) – впоследствии известным философом, литератором, общественным деятелем. Осенью того же года вышла за него замуж и вскоре переехала в Петербург. В 1908–1922 гг. жила в Москве. В 1918 г. перешла в католицизм. В сентябре 1922 г. вместе с мужем была выслана из России. До 1924 г. они жили в Берлине, потом – в Париже.

Первое датированное стихотворение Л. Бердяевой относится к 1912 г. Согласно воспоминаниям Н. А. Бердяева, стихотворения Лидии Юлифовны высоко ценили Вяч. Иванов и М. О. Гершензон. Основная часть ее поэтического творчества относится к зарубежному периоду. Несколько стихотворений было опубликовано в эмигрантских газетах.

В настоящем издании ее стихотворения печатаются по автографам (ЦГАЛИ, ф. 1496, оп. I).

Мы благодарим А. В. Цветкова (А. Вадимова), любезно подготовившего тексты стихотворений Л. Бердяевой для публикации.

Кондратьев Александр Алексеевич (11 мая 1876, Петербург – 26 мая 1967, Наяк, США). Учился в 8-й Петербургской гимназии, где преподавателем и директором был известный поэт, критик, драматург И. Ф. Анненский (1855–1909). В 1902 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. С конца 1918 г. жил в местечке Дорогобуж под Ровно, после окончания гражданской войны оказался на территории, отошедшей к Польше. «Я за границу никогда не выезжал и не виноват, что само отечество от меня эмигрировало», – писал он в 1929 г. (см.: Литературное наследство, т. 92, кн. 1, с. 553). Начиная с 1939 г. поэт долго скитался по Европе – жил в Польше, Австрии, Германии, Югославии, после войны оказался в лагере для «перемещенных лиц» в Триесте. В 1957 г. он переехал в США, где провел последние годы жизни на «Толстовской ферме», уже отойдя от творчества.

Печататься А. Кондратьев начал в 1899 г. В 1905 г. под псевдонимом А. К. выпустил сборник «Стихи». В 1909 г. в Петербурге вышла его вторая поэтическая книга «Черная Венера». Намечалась к изданию и третья, но ее издание было осуществлено лишь посмертно. (В. П. Крейд, работая с архивом писателя, реконструировал ее состав, и в 1990 г. в США в издательстве «Антиквариат» тиражом 200 экземпляров вышла книга А. Кондратьева «Закат».) Однако главным поэтическим произведением Кондратьева является изданная уже вне России книга «Славянские боги». Довольно широкой известностью пользовались в свое время романы и рассказы Кондратьева. Несмотря на то что А. Кондратьев в двадцатые – тридцатые годы был заметной фигурой в литературной жизни восточноевропейского русского зарубежья, его произведения никогда не включались в антологии русской зарубежной поэзии.

Библиография: «Славянские боги» (Ровно, 1938); «Закат» (Оранж, США, 1990, посмертный сборник).

Маковский Сергей Константинович (27 августа 1877, Петербург – 13 мая 1962, Париж). Сын известного художника К. Е. Маковского (1839–1915). С 1898 г. публиковал искусствоведческие работы, трехтомное собрание которых вышло в 1906–1913 гг. под заглавием «Страницы художественной критики». Маковский пользовался широкой известностью как меценат и организатор выставок русского искусства за границей. В литературных кругах его знали не только как поэта, но и как редактора знаменитого журнала «Аполлон». Он также редактировал журналы «Старые годы» и «Русская икона». Эмигрировал в 1920 г. в Прагу, затем – в Париж. Был одним из редакторов газеты «Возрождение» (1926–1932), в 1939–1944 гг. – председателем «Объединения русских писателей в Париже». После войны, в 1949–1959 гг., был привлечен Ириной Яссен к редакторской работе в парижском издательстве «Рифма». В эмиграции С. Маковский постоянно печатал свои стихи в периодике, издал восемь поэтических книг. Последняя из них вышла уже посмертно. Им написаны также книга статей «Портреты современников» (Нью-Йорк, 1955), мемуарно-критическая книга «На Парнасе Серебряного века» (Мюнхен, 1962) и множество исследований по искусствоведению. Печатался в сборнике «Эстафета» и антологиях «На Западе», «Муза Диаспоры».

Библиография: «Вечер» (Париж, 1941); «Somnium breve» (Париж, 1948); «Год в усадьбе» (Париж, 1949); «Круг и тени» (Париж, 1951); «На пути земном» (Париж, 1953); «В лесу» (Мюнхен, 1956); «Еще страница» (Париж, 1957); «Requiem» (Париж, 1963; сборник вышел посмертно).

Гейнцельман Анатолий (18 октября 1879 – 7 апреля 1953, Флоренция). Родился и до 25 лет жил в швейцарско-швабской колонии Шабо близ Одессы. Рано потерял родителей (оба умерли от туберкулеза). Этой болезнью – видимо, в наследственной форме – А. Гейнцельман страдал с детства, что наложило определенный отпечаток на его мировосприятие. Около 1905 г. он, по его собственному признанию, «отправился умирать в Италию». Однако болезнь пощадила его, и в 1905 г. он вернулся в Россию, в Одессу. Но восстания и печально знаменитый одесский погром вынудили его вновь выехать за границу. Тяжело больной, он добрался пешком из Италии в Париж. Неожиданным следствием этого «путешествия» явилось почти полное выздоровление. В дальнейшем Гейнцельман несколько лет жил во Флоренции, а в 1915 г. вместе с женой вновь приехал на родину. Окончательно эмигрировал в 1920 г. и всю оставшуюся жизнь провел во Флоренции, приняв итальянское подданство.

Гейнцельман практически не принимал никакого участия в литературной жизни русской эмиграции. Он не печатался в эмигрантской периодике, а его сборники, изданные в Италии, прошли почти незамеченными. Некоторую известность он получил лишь после смерти. Известен также как художник-график.

Библиография: «Космические мелодии» (Неаполь, 1951); «Священные огни» (Неаполь, 1955); «Стихотворения» (Рим, 1959); «Моя книга. Избранные стихи» (Рим, 1961). Э. Штейн в своем справочнике «Поэзия русского рассеяния 1920–1977» сообщает о сборнике Гейнцельмана «Стихотворения» (Флоренция, 1957).

Черный А. (Саша Черный) (наст. имя и фамилия Александр Михайлович Гликберг, 13 октября 1880, Одесса – 5 августа 1932, Ла-Лаванду, Франция). Сын фармацевта. В 1902–1905 гг. работал таможенником. Первая публикация относится к 1904 г. В 1905 г. поселился в Петербурге, сотрудничал во многих журналах. В 1906–1907 гг. учился в Германии, в Гейдельберге. В 1908 г., вернувшись в Петербург, под псевдонимом Саша Черный опубликовал в журнале «Сатирикон» несколько произведений юмористического жанра, принесших ему известность. В 1910–1911 гг. издал два сборника стихов, выдержавших впоследствии несколько изданий. В 1911 г. ушел из «Сатирикона», публиковался в разных изданиях, занимался поэтическими переводами. Во время первой мировой войны был солдатом при полевом лазарете. В 1920 г. уехал из России через Вильнюс и Каунас в Берлин. Здесь некоторое время был издателем, выпускал книги русских классиков для детей. В течение нескольких лет С. Черный был домашним учителем детей писателя Л. Андреева. С 1924 г. поселился в Париже. В последние годы жизни перебрался в маленький провансальский городок, где и умер от сердечного приступа после того, как принял участие в тушении пожара.

С. Черному принадлежат также книги прозы, драматические произведения и переводы. Много писал для детей.

Библиография: «Сатиры. Книга 1-я. Новое, дополненное издание» (Берлин, 1922); «Сатиры и лирика. Книги 2-я и 3-я. Новое, дополненное издание» (Берлин, 1922); «Жажда» (Берлин, 1923); «Сон профессора Патрашкина» (Берлин, 1924); а также несколько книг стихов для детей и книга переводов из Л. Гильдебранта.

Гарднер Вадим Дэниэлович (1880–1956). Сын американского инженера Даниэля Томаса Гарднера и русской писательницы Екатерины Ивановны Дыховой. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Принимал участие в восстании 1905 г., за что был исключен из числа студентов и провел два месяца в тюрьме. Будучи освобожден как американский гражданин, получил разрешение изучать юриспруденцию в Дерптском университете. Весной 1916 г. принял российское подданство и был направлен на два года в Англию к председателю Комитета по снабжению союзников оружием генералу Гедройцу. Весной 1918 г. Гарднер вместе с Н. С. Гумилевым вернулся в Петербург.

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах filio
Однако в 1921 г. эмигрировал из Советской России в Финляндию, где жил в принадлежавшем его матери имении на Карельском перешейке. Во время советско-финляндской войны был вынужден переехать в Гельсингфорс (Хельсинки). В этом городе он и провел последние годы жизни.

Писать стихи и печататься В. Гарднер начал еще до революции. Он был знаком со многими литераторами и поэтами, участвовал в литературных собраниях «на башне» у Вячеслава Иванова. О его первой книге «Стихотворения» (СПб. 1908) благожелательно отозвался А. Блок. После выхода второго сборника «От жизни к жизни» (М., 1912), на который положительно откликнулись в рецензиях и литературных обзорах Н. Гумилев, С. Городецкий, М. Лозинский, Гарднер был принят в «Цех поэтов». При жизни в эмиграции была издана лишь одна его книга. Вторая – посмертная – вышла в 1990 г. благодаря усилиям Т. Пахмусс, Б. Хеллмана и вдовы поэта М. Ф. Гарднер. В. Гарднер – участник антологии «Якорь».

Библиография: «Под далекими звездами» (Париж, 1929); «У Финского залива» (Хельсинки, 1990).

Магула Дмитрий Антонович (8 января 1880, Петербург – после 1967). Детские годы провел на Урале. Окончил гимназию с золотой медалью, в 1904 г. стал выпускником Горного института. Работал в этом институте и на Петербургском Монетном дворе. В разные годы ездил по служебным делам в США и Японию. В 1917 г., еще при Временном правительстве, был послан в Швецию, откуда в 1918 г. эмигрировал в США. В 1920 г., выполняя поручение русского посольства в США по снабжению армии Врангеля, присутствовал при эвакуации Крыма. В 1924 г. получил американское гражданство. Работал в Русском обществе помощи беженцам, позже в нескольких американских технических компаниях. В течение трех лет жил во Франции. Публиковал переводы с английского еще до революции. Участвовал в сборниках «Из Америки» (Нью-Йорк, 1925), «Четырнадцать» (Нью-Йорк, 1949), «Содружество» (Вашингтон, 1966).

Библиография: «Свет вечерний» (Париж, 1931); «Последние лучи» (Нью-Йорк, 1943); «Фата Моргана» (Нью-Йорк, 1963).

Голохвастов Георгий Владимирович (1882–1963). С 1916 г. служил в Русском заготовительном комитете в Америке. Состоял в «Обществе Пушкина в Америке». Позднее стал представителем Российской Армии и Престола (вел. кн. Кирилл) в США. В самой ранней антологии русских американских поэтов «Из Америки» (Нью-Йорк, 1925) напечатаны 59 стихотворений Голохвастова. Поэт уделял много внимания сонетной структуре и разрабатывал в своем творчестве ее сложные формы (полусонет, обратный сонет и т. д.). Он был одним из основателей и председателем «Кружка русских поэтов в Америке», имевшего и другое название: «Четырнадцать». Известны его стихотворные переводы с английского. Он также сделал с древнерусского перевод «Слова о полку Игореве», вышедший отдельной книгой (Нью-Йорк, 1950). Участник сборника «Четырнадцать» (Нью-Йорк, 1949).

Библиография: «Полусонеты. 300 полусонетов» (Париж, 1931); «Гибель Атлантиды» (Нью-Йорк, 1938); «Жизнь и сны» (Нью-Йорк, 1944); «Четыре стихотворения» (Нью-Йорк, 1944).

Амари (наст. имя и фамилия Михаил Осипович Цетлин; 1882–1945). С 1906 г. длительное время жил вне России. Временно вернулся на родину в 1918 г., во время гражданской войны оказался в Одессе, в 1919 г. эмигрировал. Поселившись в Париже, принимал деятельное участие в издании журнала «Современные записки», вел в нем отдел поэзии. Дом Амари литераторы парижской эмиграции называли «штабом "Современных записок"». Во время второй мировой войны (в 1940 г.) Цетлину удалось уехать в США, где он основал «Новый журнал», явившийся как бы продолжением «Современных записок». Амари-Цетлин и другой основатель журнала – М. А. Алданов были его первыми редакторами. По свидетельству Р. Гуля, «в 1945 году смерть прервала работу М. О. Цетлина над 11-й книгой журнала. До последней минуты, уже тяжело больной, в постели, Цетлин все еще редактировал рукописи, читал корректуру. И один из ближайших его друзей говорил: "Если бы М. О. отказался от этой своей работы, он, вероятно, умер бы раньше, только эта работа его и поддерживала"». Амари принадлежат две книги прозы:

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах (1. «Декабристы» и «Пятеро и другие» (монография о композиторах «могучей кучки»). Стихи Амари напечатаны в антологиях «Якорь» и «На Западе». В нашем издании Амари представлен стихами из последней книги.

Библиография: «Лирика» (Париж, 1912); «Глухие слова» (Париж, 1916); «Призрачные тени» (Париж – Москва, 1920, два издания); «Кровь на снегу» (Париж, «Дом книги», 1939).

Биск Александр Акимович (17 января 1883, Одесса – 1 мая 1973, Нью-Йорк). Учился в Германии. С 1904 г. публиковал в периодической печати собственные стихи и переводы. В 1919 г. эмигрировал в Болгарию, с 1926 г. жил в Бельгии, а с 1942 г. – в США. В эмиграции был профессиональным филателистом. А. Биск известен в основном как переводчик с немецкого и знаток поэзии Рильке. Этого поэта Биск начал переводить первым в России, еще в 1905 г. А в 1919 г. он выпустил в Одессе (изд. «Омфалос») сборник своих избранных переводов из Рильке (эта книга потом дважды была переиздана в эмиграции). А. Биску принадлежат также переложения на русский язык стихов французских поэтов.

Первая книга стихов Биска вышла еще до революции. Вторая, изданная в 1962 г. в Париже, включала как оригинальные стихи, так и переводы. После ее выхода поэт практически перестал публиковать свои произведения. Однако многие его переводы были переизданы в СССР. Сын А. Биска стал известным французским поэтом, печатающимся под псевдонимом Ален Боске. Часть архива А. А. Биска находится в России и хранится у Е. В. Витковского.

Библиография: «Чужое и свое. Избранные стихи 1903–1961» (Париж, 1962). Книга переводов «Избранное из Райнера Мария Рильке» (2-е изд., расширенное: Париж, 1957; 3-е изд.: Париж, 1959).

Браиловский Александр Яковлевич (1884 –?). Жил в США. Издавал в Нью-Йорке журнал «Новый мир», где печатал не только литераторов, но и политических деятелей различной ориентации. Занимался поэтическими переводами, выпустил в 1943 г. в Нью-Йорке книгу переводов из Данте, Шекспира и др. Участник антологии «На Западе».

Библиография: «Дорогою свободной» (Нью-Йорк, 1955); «Временщики в Кремле. Политические басни и пародии» (Нью-Йорк, 1956).

Британ Илия Алексеевич (1885–1942). В начале двадцатых годов жил в Берлине, где в 1924–1927 гг. выпустил несколько поэтических сборников, а в 1942-м уже во Франции, был расстрелян немецкими оккупационными властями как заложник.

Библиография: «Разноцвет» (Берлин, 1924); «На пороге» (Берлин, 1924); «С детьми» (Берлин, 1924); «Богу» (Берлин, 1924); «Полдень» (Берлин, 1925).

Дубнова-Эрлих Софья Семеновна (Соломоновна) (1885–1986). Дочь известного историка еврейства С. М. Дубнова. Писала стихи и печаталась еще до революции. В 1910 г. Н. С. Гумилев принял ее стихи в «Аполлон». Первый сборник поэтессы «Осенняя свирель» (СПб., 1911) был благожелательно оценен Н. С. Гумилевым и В. Я. Брюсовым. В 1918 г. там же вышел второй ее сборник «Мать». Гораздо позже, уже на Западе, появилась итоговая книга С. Дубновой-Эрлих, долгое время продолжавшей свою поэтическую деятельность, но практически не печатавшейся. Ей принадлежат также воспоминания о Н. С. Гумилеве (журнал «Время и мы», 1987, № 98). Участница сборника «Эстафета» (Париж, 1948).

Библиография: «Стихи разных лет» (Нью-Йорк, 1973).

Потёмкин Пётр Петрович (1886, Орел – 21 октября 1926, Париж). Поэт-«сатириконец». Автор двух книг стихов, вышедших до революции, а также пьес и скетчей. Участвовал в поэтических вечерах литературно-артистического кафе «Бродячая Собака», в театральных спектаклях, ставившихся в «Доме интермедии» и «Кривом зеркале». После Октябрьской революции эмигрировал во Францию, где печатался в эмигрантских изданиях и выпустил три сборника

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах стихов. П. Потёмкину принадлежат также поэтические переводы с немецкого и чешского языков. Стихи были помещены в сборнике «Чтец-декламатор» (Берлин, 1922) и др.

Библиография: «Отцветшая герань. То, чего не будет» (Берлин, 1923); «Зеленая шляпа. Книга-картинка для детей» (Берлин, 1924); «Избранные страницы» (Париж, 1928, совместно с С. Л. Поляковым).

Ходасевич Владислав Фелицианович (28 мая 1886, Москва – 14 июня 1939, Бийянкур, близ Парижа). Сын польского художника. Первая книга его стихов «Молодость» вышла в 1908 г., вторая – «Счастливый домик» – в 1914 г. Обе они заслужили одобрительные отзывы критиков, в частности Н. Гумилева, но особого успеха автору не принесли. В 1918–1919 гг. Ходасевич преподавал в Московской студии Пролеткульта, в 1920–1922 гг. жил в Петрограде, где издал два своих лучших доэмигрантских сборника «Путем зерна» (1920) и «Тяжелая лира» (1921). В 1922 г. он выпустил также книгу статей о русской поэзии. В том же году выехал из России в Берлин, где переиздал «Тяжелую лиру». Позже переехал в Париж. Вскоре он стал одним из самых значительных критиков эмигрантской литературы. Ходасевич был ведущим сотрудником газеты «Возрождение», в которой вел отдел критики. Важное место в истории литературы русской эмиграции занимает его полемика с Г. Адамовичем о сущности поэтического искусства. Ходасевичу принадлежит биографический роман «Державин» (1931). В эмиграции, кроме переизданий, он выпустил лишь одну поэтическую книгу, в которую вошли стихи из сборников «Путем зерна» и «Тяжелая лира» и 26 стихотворений, написанных уже после отъезда из России. Несомненный интерес представляют воспоминания Ходасевича «Некрополь», в которых даны характеристики М. Горького, Н. Гумилева, В. Брюсова, других писателей и поэтов. Долгое время Ходасевич считался «первым поэтом» русской эмиграции, что было одной из причин так называемой «литературной войны» между ним и Г. Ивановым. Участник антологий «Якорь», «На Западе», «Муза Диаспоры».

Библиография: «Собрание стихов» (Париж, 1927); остальные книги – переиздания сборников «Счастливый домик», «Тяжелая лира»; а также книга переводов из еврейских поэтов; посмертные издания.

Северянин Игорь (наст. имя и фамилия Игорь Васильевич Лотарев; 16 мая 1887, Петербург – 20 декабря 1941, Таллин). Из дворянской семьи, сын офицера. Высшего образования не получил. Первая публикация относится к 1905 г. Издал множество брошюр со стихами (тиражом каждая около 100 экз.), в которых в основном варьировались всевозможные «изысканные» темы. Успеха автору они не принесли. В 1911 г. объявил себя «вождем» нового поэтического течения – эгофутуризма. В 1913 г. издал сборник «Громокипящий кубок», принесший ему всероссийскую известность. До революции И. Северянин пользовался огромной популярностью, его «поэзоконцерты» (т. е. выступления с чтением стихов) собирали множество поклонников и особенно поклонниц. В 1918 г. поэт эмигрировал в Эстонию, где жил в местечке Эст-Тойла до последних своих дней. В эмиграции Северянин быстро утратил популярность, хотя неоднократно выступал с чтением стихов во многих европейских городах, в том числе в Париже. За границей он издал несколько поэтических сборников – также в разных городах, писал критические статьи, переводил – в основном с эстонского. Тональность его стихотворений в эмиграции изменилась, его лирика стала более строгой, исчезли вычурные изыски, появились ностальгические мотивы. Пожалуй, наибольший интерес из его поэзии этого периода представляет цикл сонетов «Медальоны», имевший подзаголовок: «Сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах». После того как советские войска вошли в Прибалтику, в 1940 г., Северянин написал несколько откровенно просоветских стихотворений. Участник антологий «Якорь» и «На Западе».

Библиография: «Вэрвэна» (Юрьев, б/г); «Менестрель» (Берлин, 1921); «Миррэлия. Новые поэзы» (Берлин, 1922); «фея Eiole» (Берлин, 1922); «Падучая стремнина. Роман в 2-х частях, в стихах» (Берлин, 1922); «Соловей. Поэзы» (Берлин, 1923); «Трагедия Титана. космос. Изборник 1-й. (Избранные стихотворения из предыдущих сборников)» (Берлин, 1923); «Колокола собора чувств. Автобиографический роман. В 3-х частях. Эдопия» (Тарту, 1925); «Роса оранжевого часа. Поэма детства. В 3-х частях» (Тарту, 1925); «Классические розы» (Белград, 1931); «Адриатика» (Нарва, 1932); «Медальоны. Сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах» (Белград, 1934);

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах fillo «Рояль Леандра. Роман в строфах» (Бухарест, 1935); остальные издания – посмертные, в основном это вышедшие на Западе репринтные издания дореволюционных сборников.

Ильяшенко Владимир Степанович (27 мая 1887, близ Екатеринослава – 1970). Окончил Императорский Александровский лицей, затем историко-филологический факультет Петербургского университета. Был послан правительством Николая II в США, где и остался после революции. В течение пятнадцати лет был на государственной службе США, работал в частных компаниях. Начал публиковаться еще в России (книга «А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике»). В эмиграции иногда печатался в периодике, сотрудничал в журнале «Возрождение». Был инициатором издания первой антологии русских поэтов в США «Из Америки», в которой печатались и его стихи. Участвовал также в сборниках «Четырнадцать» и «Содружество». Авторской книги стихов не издал.

Горянский Валентин (наст. имя и фамилия Валентин Иванович Иванов; 1888–1949). Первая публикация относится к 1906 г. С 1913 г. сотрудничал в «Сатириконе» и «Новом Сатириконе». Известность ему принесли книги стихов «Крылом по земле» и «Мои дураки. Лиро-сатиры», выпущенные в 1915 г. Некоторое время Горянский был близок к объединению «неокрестьянских» поэтов «Краса». Эмигрировал в 1920 г., жил в Париже, печатался во многих эмигрантских журналах и газетах. Ему принадлежат романтические сказки в стихах и прозе; стилизованные «под раннего Зощенко» «Рассказы господина Тощенки», в которых сатирически изображался эмигрантский быт; комедия «Лабардан», написанная по мотивам гоголевского «Ревизора». В сороковые годы в творчестве Горянского происходит перелом: он возвращается к поэзии, в которой теперь преобладают религиозно-мистические мотивы, мысли о бессмысленности земного существования, мрачная ирония. К сожалению, написанные в этот период произведения – книги стихов «Неопалимая Купина» и «Обращенная Харита», поэма «Смерть Ангелов» – остались неопубликованными.

Библиография: «Парфандр и Глафира. Роман в стихах» (Париж, 1958); Эммануил Штейн в своем справочнике «Поэзия русского рассеяния 1920–1977» утверждает, что Горянскому принадлежит и вторая книга стихов, озаглавленная «Хозяин». Однако ни места, ни года издания ее Штейн не приводит.

Аминадо Д. (Дон Аминадо) (наст. имя и фамилия Аминад Петрович Шполянский; 25 апреля 1888, Елисаветград – 1957, Париж). Получил высшее юридическое образование в Одессе и Киеве, потом переехал в Москву. Сотрудничал в периодических изданиях. Участник первой мировой войны. В 1919 г. эмигрировал в Константинополь, затем поселился в Париже. Еще до революции Дон Аминадо был известен как один из наиболее ярких и своеобразных авторов журнала «Сатирикон». Стихи из его первой книги, вышедшей в 1915 г., были навеяны первой мировой войной. В эмиграции регулярно печатался в газете «Последние новости». Публиковал как стихи, так и прозу. В соавторстве с Морисом Декобра написал на французском языке книгу «Смех в степи» («Le rire dans la steppe», 1927). Были изданы и другие прозаические произведения Д. Аминадо (так был изменен псевдоним поэта уже в послевоенные годы). Однако известен он был главным образом своими исполненными тонкой иронии стихами. Д. Аминадо издал также книгу воспоминаний «Поезд на третьем пути» (Нью-Йорк, 1954). Участник антологий «Якорь» и «На Западе».

Библиография: «Дым без отечества» (Париж, 1921); «Накинув плащ» (Париж, 1928); «Нескучный сад» (Париж, 1935); «В те баснословные года» (Париж, 1951; 2-е изд., 1966); книга стихов для детей «Рассказ про мальчика Данилку, про серую кобылку и еще про что-то» (Париж, 1922).

Иванов Всеволод Никанорович (19 сентября 1888, Волковыск Гродненской губ. – 9 декабря 1972, Хабаровск). Выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета. В начале двадцатых годов эмигрировал в Китай. Писал стихи и прозу, активно занимался журналистикой. В среде эмигрантов были известны его просоветские настроения. С 1931 г. стал гражданином СССР, работал корреспондентом ТАСС в Шанхае. В 1945 г. вернулся в СССР.

Библиография: «Огненная душа» (Харбин, 1921); «Беженская поэма» (Харбин, 1926); «Поэма еды» (Харбин, 1928); «Сонеты» (1-е изд.: Токио, 1922; 2-е

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах 1-го изд.: Харбин, 1930).

Несмелов Арсений (наст. имя и фамилия Арсений Иванович Митропольский; 20 июня 1889, Москва – сентябрь 1945, Гродеково). Родился в семье статского советника И. Митропольского, который был также и литератором. Окончил Нижегородский кадетский корпус. В июле 1914 г. был призван из запаса в армию. Воевал сначала в чине прапорщика, позже – подпоручика и поручика в 11-м гренадерском фанаторийском полку. Был ранен. Награжден четырьмя орденами. В апреле 1917 г. был отчислен в резерв и приехал в Москву. В дни Октябрьской революции участвовал в восстании юнкеров. В 1918 г. уехал в Омск, где присоединился к армии адмирала Колчака, а после поражения колчаковцев оказался на территории «буферного» государства ДВР – Дальневосточной республики, столицей которой был Владивосток. В 1922 г. Красная Армия ликвидировала ДВР, а в 1924 г. бывший белый офицер Арсений Митропольский бежал через тайгу в Китай. Он обосновался в Харбине и жил почти исключительно литературными заработками. В августе 1945 г. был арестован занявшими Харбин советскими войсками и в сентябре того же года умер, видимо, от кровоизлияния в мозг на полу пересыльной камеры в Гродекове.

Стихи А. Митропольский писал еще в юношеские годы, и первые публикации их относятся к дореволюционной эпохе. В 1915 г. в Москве вышла книга молодого автора «Военные странички», включавшая стихи и прозу. В период жизни Митропольского в ДВР появилась его книга «Стихи», которую он издал под псевдонимом А. Несмелов. Живя в Харбине, Несмелов печатался в местных эмигрантских изданиях («Рубеж», «Луч Азии» и др.), в пражской («Воля России») и парижской («Современные записки») периодике. А в 1927–1928 гг. его стихи появлялись и в новосибирском журнале «Сибирские огни». Поэты харбинской литературной группы «Чураевка» считали Несмелова одним из своих учителей, а в сороковые годы он руководил одним из литературных кружков русской молодежи Харбина. Участник антологии «Якорь».

Библиография: «Кровавый отблеск» (Харбин, 1928); «Без России» (Харбин, 1931); «Через океан. Поэма» (Шанхай, 1934); «Полустанок» (Харбин, 1938); «Протопопица. Поэма» (Харбин, 1939); «Белая флотилия» (Харбин, 1942); «Только такие!» (Шанхай, 1936, под псевдонимом Н. Дозоров); «Георгий Семена. Поэма» (Берн, 1936, под тем же псевдонимом).

Вертинский Александр Николаевич (21 марта 1889, Киев – 21 мая 1957, Ленинград). Сын адвоката. Рано осиротел, воспитывался у родственников. Окончил гимназию в Киеве, затем переехал в Москву. С 1912 г. снимался в немом кино. Несколько позже стал широко известен как исполнитель собственных песен. Создал особый жанр лирической миниатюры, сочинял песни как на свои тексты, так и на стихи других поэтов. Много гастролировал по городам России. В 1919 г. эмигрировал в Константинополь, жил в разных странах, где выступал с концертами. Дольше всего он пробыл в Париже (1927–1933). В 1935 г. переселился в Шанхай. В 1943 г. вернулся на родину. Жил в Москве, продолжал свою концертную деятельность, снимался в кино. В 1951 г. получил Сталинскую премию.

В эмиграции Вертинский издавал многочисленные «тексты к нотам», выпустил и книгу стихов.

Библиография: «Песни и стихи 1916–1937» (1-е изд.: Харбин, 1937; 2-е изд.: Париж, 1938).

Кантор Михаил Львович (1889–1970). Эмигрант «первой волны». Жил в Париже, где вместе с Г. Адамовичем редактировал журнал «Встречи» (выходивший только в 1934 г.). В 1936 г. в Берлине появилась первая поэтическая антология русского зарубежья «Якорь», составителями которой были также Г. Адамович и М. Кантор. В 1930-х гг. М. Кантор опубликовал в крупных парижских изданиях («Современные записки» и др.) ряд очерков о писателях русской эмиграции. Единственный сборник поэта вышел незадолго до его смерти. Лучшие стихи из этой книги вошли в наше издание.

Библиография: «Стихи» (Париж, 1968).

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах filio Струве Михаил Александрович (1890–1948). Член «Второго Цеха поэтов». Его сборник стихов «Стая» (М., 1916), вышедший в издательстве «Гиперборей», был положительно оценен Н. С. Гумилевым в одном из его «Писем о русской поэзии». Впоследствии М. Струве эмигрировал во Францию. Жил в Париже, публиковал стихи во многих периодических изданиях.

Участник антологии «Якорь», сборника «Эстафета». Авторской книги стихов в эмиграции не выпустил.

Мать Мария (в миру Елизавета Юрьевна Скобцова, урожд. Пиленко, по первому мужу Кузьмина-Караваева; 21 декабря 1891, Рига – 31 марта 1945, концлагерь Равенсбрюк). Дочь городского головы г. Анапы. Некоторое время жила в Петербурге, училась на Бестужевских курсах. Была знакома с М. Волошиным, Вяч. Ивановым, на «башне» у которого неоднократно встречалась и со многими другими писателями и поэтами. До революции издала два сборника стихов. Одно время входила в партию социалистов-революционеров. В 1919 г. выехала из России, с 1923 г. жила в Париже. Здесь поэтесса сотрудничала в издательстве «Имка-Пресс» вместе с деятелями «русского религиозного возрождения», в том числе с Н. Бердяевым. В этом издательстве вышли написанные ею два сборника житий святых, а также книги об А. Хомякове, Вл. Соловьеве и Ф. М. Достоевском. Публиковала стихи в различных эмигрантских изданиях. В 1932 г. приняла постриг, при котором ей было наречено имя Мария. В тридцатых годах мать Мария основала в Париже религиозную благотворительную организацию «Православное дело». В 1937 г. издала сборник стихов уже под именем монахини Марии. Во время второй мировой войны оказывала помощь евреям и деятелям Сопротивления, которых преследовали гитлеровцы. В 1943 г. была арестована и брошена в концлагерь, где и погибла. После смерти матери Марии вышли еще два сборника ее стихов. Ей принадлежат также мемуарные очерки. Участница антологий «Якорь», «На Западе», «Муза Диаспоры».

Библиография: «Стихи» (Берлин, 1937); «Стихотворения» (Париж, 1947); «Стихи» (Париж, 1949, книга издана «Обществом друзей матери Марии»).

Корвин-Пиотровский Владимир Львович (1891, Белая Церковь – 2 апреля 1966, Лос-Анджелес). Артиллерийский офицер, участвовал в белом движении. Во время гражданской войны был приговорен к смертной казни, но счастливый случай помог миновать ее. Около 1920 г. уехал из России в Берлин. В 1921–1923 гг. руководил отделом поэзии берлинского эмигрантского журнала «Сполохи». С 1939 г. жил в Париже, где, как и в Берлине, публиковался в периодике и издавал сборники стихов. Во время второй мировой войны сражался в рядах Сопротивления. Был арестован нацистами и во второй раз чудом избежал смертной казни. После войны переехал в США, сотрудничал в «Новом журнале». Корвин-Пиотровский оставил довольно обширное и разнообразное поэтическое наследие, большая часть которого собрана в его посмертном двухтомнике. Особый интерес представляют его поэмы и драмы в стихах. Участник сборников «Эстафета», «Содружество», антологий «На Западе», «Муза Диаспоры».

Библиография: «Святогор-Скит» (Берлин, 1923); «Каменная любовь» (Берлин, 1925); «Беатриче. Драматические поэмы» (Берлин, 1929); «Воздушный змей» (Париж, 1950); «Поражение. Поэмы и стихи о России» (Париж, 1960); «Поздний гость. Стихи, поэмы, драматические поэмы» (Вашингтон, 1968–1969. в 2-х т.).

Евсеев Николай Николаевич (1891, Борисоглебск Воронежской губ. – 6 февраля 1974, Париж). Родился в казачьей семье. Окончил юридический факультет Московского университета, а во время первой мировой войны – Михайловское артиллерийское училище. Участник первой мировой и гражданской войн. В 1920 г. в составе белого казачьего корпуса эвакуировался в Константинополь. Жил некоторое время в Турции, на Балканах, затем в Париже. Печатался в «Русской мысли», «Казачьем альманахе» и других изданиях. Стихи его опубликованы в антологии «Муза Диаспоры», сборнике «Содружество».

Библиография: «Дикое поле» (1963); «Крылатый шум» (1965).

Адамович Георгий Викторович (19 июля 1892, Москва – 21 февраля 1972, Ницца). Выпускник историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Входил в «Цех поэтов», друг Н. Гумилева и Г. Иванова, поэт-акмеист. До эмиграции выпустил два сборника стихов – «Облака» (Пг.,

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах (1916) и «Чистилище» (Пг., 1922). В 1922 г. выехал из России, обосновался в Париже, где продолжал занятия литературой. Сотрудничал в крупнейших эмигрантских изданиях: газете «Последние новости», журналах «Звено», «Числа» и др. В литературных кругах эмиграции Адамович пользовался большим влиянием как критик. Позже он собрал свои критические статьи в книги «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк, 1955), «О книгах и авторах» (Мюнхен-Париж, 1966), «Комментарии» (Вашингтон, 1967). Адамович стал основателем одного из направлений в эмигрантской поэзии – так называемой «парижской ноты», об основных принципах которой – простоте и безыскусности поэтической речи, обращении к «вечным» темам одиночества, любви, смерти – он многократно писал в своих критических работах. Г. Адамович был составителем первой поэтической антологии русского зарубежья «Якорь» и автором вводной статьи к ней. Его стихи вошли также в антологии «На Западе», «Муза диаспоры», сборник «Содружество».

Библиография: «На Западе» (Париж, 1939); «Единство» (Нью-Йорк, 1967).

Цветаева Марина Ивановна (26 сентября 1892, Москва – 31 августа 1941, Елабуга). Родилась в семье профессора Московского университета, директора Румянцевского музея и основателя Музея изящных искусств (ныне Гос. музей изобразительных искусств им. Пушкина) И. В. Цветаева. Ее мать была одаренной пианисткой, ученицей А. Рубинштейна. В детстве и юности М. Цветаева неоднократно бывала за границей, училась в частных пансионах. После смерти матери по своей инициативе поступила в частную гимназию в Москве. Первую поэтическую книгу «Вечерний альбом» издала за свой счет в 17 лет. Ее стихи были замечены такими критиками, как М. Волошин, В. Брюсов. Цветаева никогда не принадлежала к какому-либо литературному течению и всю жизнь отстаивала свое право на выбор собственного поэтического пути. До эмиграции издала еще пять книг стихов. Эмигрировала с дочерью Ариадной в 1922 г. через Берлин в Чехословакию, чтобы воссоединиться со своим мужем С. Эфроном, бывшим белым офицером, который после разрыва с белым движением стал студентом Пражского университета. Несколько лет М. Цветаева жила в пригородах Праги, участвовала в литературной жизни Праги и Берлина, публиковалась в различных изданиях. В 1925 г. у нее родился сын Георгий. А осенью того же года семья переехала в Париж. С. Эфрон увлекся идеями «евразийства», что привело его впоследствии к сближению с «левыми» кругами, он стал активным участником «Союза возвращения на Родину». Это было одной из причин, обусловивших негативное отношение эмигрантских кругов к Цветаевой. Однако определенную роль в этом сыграл и ее независимый характер, и новаторство ее поэзии, необычность ритмов и рифмовки, лексики, всей инструментальности стиха, чрезмерная экспрессия и т. п. Ее поэтическая манера вызвала резкие нападки со стороны Г. Адамовича и поэтов «парижской ноты». Цветаеву печатали все меньше и меньше, в конце концов ее отношения с эмигрантскими литераторами приняли характер почти конфликта. Однако в эмиграции она выпустила немало поэтических книг: четыре в Берлине, одну в Праге, две в Париже. К тому же на страницах русской зарубежной периодики неоднократно печатались ее статьи, эссе, воспоминания. В 1937 г. муж и дочь Цветаевой уехали в СССР, а в июне 1939 г. вернулась на родину и Марина Цветаева вместе с сыном Георгием. Однако в Москве она оказалась на положении изгоя. В августе 1939 г. была арестована ее дочь Ариадна, а в октябре – муж (он впоследствии был расстрелян, А. С. Эфрон провела в лагерях долгие годы). Цветаевой сторонились, у нее не было постоянного жилья, приходилось снимать комнаты в чужих квартирах. Жила она в основном переводами, подготовленный к изданию сборник стихов так и не вышел. В 1941 г., когда началась война, Цветаева вместе с сыном уехала в эвакуацию, в Елабугу. Здесь, оказавшись без близких людей, без помощи, без средств к существованию, в августе 1941 г. она оборвала свою жизнь.

Цветаева писала очень много; кроме стихотворений ей принадлежат драмы в стихах, несколько поэм, поэтические переводы, а также автобиографическая и мемуарная проза, литературно-критические статьи. Участница антологий «Якорь», «На Западе», «Муза диаспоры».

Библиография: «Стихи к Блоку» (Берлин, 1922); «Разлука. Книга стихов» (Берлин, 1922), «Ремесло. Книга стихов» (Берлин, 1923); «Психея» (Берлин, 1923); «Молодец. Сказка» (Прага, 1924); «Крысолов. Лирическая драма» (Париж, 1925); «После России. 1922–1928» (Париж, 1928); остальные издания – посмертные, в том числе «Стихотворения и поэмы. В 5-ти т.» (Нью-Йорк, 1980).

Присманова Анна Семеновна (1892, г. Либава (ныне Лиепая) – 5 ноября 1960, Париж). В Париже жила с 1920-х гг. Входила в «Союз молодых писателей и поэтов», позже участвовала в литературной деятельности объединения «формистов». Была женой поэта А. Гингера, вместе с которым во время войны оставалась в оккупированном немцами Париже. В 1946 г. Присманова и Гингер приняли советское подданство. Однако поэтесса в СССР не уехала и до конца жизни оставалась во Франции. В периодике печаталась достаточно редко. Участвовала в антологиях «Якорь», «На Западе», «Муза Диаспоры» и сборнике «Эстафета».

Библиография: «Тень и тело» (Париж, 1937); «Близнецы» (Париж, 1946); «Соль» (Париж, 1949); отдельным изданием вышла посвященная Вере Фигнер поэма «Вера» (Париж, 1960); Собрание сочинений (Гаага, «Лёксенхофф», 1990).

Терапиано Юрий Константинович (21 января 1892, Керчь – 3 июля 1980, Париж). Учился на юридическом факультете Киевского университета, который окончил в 1916 г., а в 1917 г. – Военное училище прапорщиков. Летом 1919 г. вступил в Добровольческую армию. В эмиграции два года жил в Константинополе, затем поселился в Париже. Входил в поэтическую группу «Перекресток», был близок к В. Ходасевичу, стал одним из основателей и председателем «Союза молодых поэтов и писателей» (1925). После второй мировой войны печатался в основном в «Новом русском слове», позже – в «Русской мысли». Терапиано – автор книги воспоминаний «Встречи» (Нью-Йорк, 1952). В 1987 г. вышел сборник его статей «Литературная жизнь русского Парижа за полвека». Он был также автором вступительной статьи и составителем антологии поэзии русского зарубежья «Муза Диаспоры» (Франкфурт-на-Майне, 1960). Участник антологии «На Западе», сборников «Содружество» и «Эстафета».

Библиография: «Бессонница» (Берлин, 1935); «На ветру» (Париж, 1938); «Странствие земное» (Париж, 1951); «Паруса» (Вашингтон, 1965); «Избранные стихи» (Вашингтон, 1963).

Белоцветов Николай Николаевич (27 мая 1892, Петербург – 12 мая 1950). Эмигрировал, очевидно, в начале двадцатых годов. До прихода к власти Гитлера жил в Германии, откуда в 1933 г. перебрался в Таллин. Однако пробыл в этом городе недолго, так как эстонские власти отказали Белоцветову в праве на жительство из-за того, что у него был «нансеновский паспорт», т. е. он считался «апатридом», человеком без подданства. Приблизительно в середине тридцатых годов поэт переселился в Ригу. Вторая мировая война лишила его всех средств к существованию. Сестрам и брату Н. Белоцветова удалось уехать в США, однако он сам не смог этого сделать. О дальнейшей его судьбе сведений найти не удалось.

Н. Белоцветов входил в берлинский кружок русских поэтов, печатался в эмигрантской периодике, участвовал в сборниках «Новоселье», «Невод», «Роща». Он был убежденным антропософом, что косвенным образом повлияло на его творчество, мистическое мировосприятие автора получило яркое выражение в большинстве его стихотворений. Он писал также критические статьи, занимался поэтическими переводами. В 1926 г. была издана книга его переводов из немецкого поэта Ангела Силезского (1624–1677). Стихи Н. Белоцветова вошли в антологию «Якорь».

Библиография: «Дикий мед» (Берлин, 1930); «Шелест» (Рига, 1936); «Жатва» (Париж, 1950).

Форштетер Михаил Адольфович (1893, Москва – 21 июля 1959, Люксембург). Сын директора Московского отделения Санкт-Петербургского Международного банка и сестры поэта Д. Ратгауза. В 1917 г. окончил филологический факультет Московского университета, где специализировался по русской истории. После революции уехал вместе с матерью и сестрой сначала в Киев, находившийся тогда под властью гетмана Скоропадского, затем в Прагу, куда вскоре приехал и отец поэта. В Праге М. Форштетер поступил в немецкий университет Карла-Фердинанда, после окончания курса успешно сдал экзамен на степень доктора философии. Через некоторое время семья переехала в Берлин, где Форштетер-старший основал банк, а затем переселилась в Париж. Есть сведения о том, что М. Форштетер слушал лекции в Сорбонне. С 1946 г. он работал в ООН сначала переводчиком, затем редактором отдела французского перевода при

ский Д. Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая волна) в четырех книгах filo ООН. Позже возглавлял такой же отдел в европейской организации «Сталь и уголь» в Люксембурге.

М. Форштетер в совершенстве знал несколько языков и много времени уделял переводческой деятельности. Он известен также как прозаик–эссеист, писавший не только по–русски, но и по–французски. Многие его произведения остались неизданными. Стихи М. Форштетер начал писать еще около 1916 г., но публиковался как поэт достаточно редко. Предисловие к его единственному, вышедшему посмертно, поэтическому сборнику написал С. Маковский.

Библиография: «Избранные стихотворения» (Париж, 1960).

Сумбатов Василий Алексеевич (1893–1977). Происходил из древнего грузинского княжеского рода, впрочем, давно обрусевшего. С июля 1914 г. служил офицером в армии. В октябре 1916 г. получил тяжелую контузию в голову и был эвакуирован. В 1920 г. эмигрировал в Италию, до 1960 г. жил в Риме, затем в Ливорно. Работал художником в Ватикане, рисовал орнаменты и миниатюры на пергаменте оригиналов папских булл. Создавал также эскизы материй и костюмов для театра и кино. Некоторое время служил в единственном в Риме русском книжном магазине. Жизнь Сумбатова осложнялась тем, что в результате контузии он ослеп на один глаз, а впоследствии произошел разрыв сетчатки и в другом глазу. В 1964 г. ему пришлось перенести несколько глазных операций.

Первые поэтические публикации В. Сумбатова относятся к началу двадцатых годов (белградская газета «Новое время»). Позже печатался в «Возрождении», «Русской мысли» и др. Стихи В. Сумбатова опубликованы в антологии «Муза Диаспоры», сборнике «Содружество».

Библиография: «Стихотворения» (Мюнхен, 1922); «Стихотворения» (Милан, 1957); «Прозрачная тьма» (Ливорно, 1969).

Кленовский Дмитрий (наст. имя и фамилия Дмитрий Иосифович Крачковский; 24 сентября 1893, Петербург – 26 декабря 1976, Траунштейн, Германия). Родился в семье известного художника–пейзажиста, академика живописи И. Е. Крачковского. С 1904 по 1911 г. учился в Царскосельской гимназии, которую окончил с золотой медалью. В том же 1911 г. врачи, подозревая у молодого человека туберкулез, направили его на лечение в Швейцарию, откуда он вернулся в Петербург в 1913 г. Тогда же Д. Крачковский поступил в Петербургский университет, где, числясь на юридическом факультете, изучал также филологию. В 1917 г. был призван на военную службу, которую проходил в Главном артиллерийском управлении. 1918–1920 гг. провел в Москве, в 1922 г. демобилизовался. Печатался как журналист и переводчик украинских поэтов, опубликовал ряд переводов из М. Рильского. Однако вскоре перешел на чисто техническую работу: переводы русских и иностранных телеграмм на украинский язык в Радиотелеграфном агентстве Украины, где работал до вступления в Харьков немецких войск в 1941 г. В 1942 г. Крачковский оказался в Австрии, несколько позже – в Германии. С 1954 г. жил в баварском городе Траунштейне. Первая его книга «Палитра» вышла еще до революции, в 1917 г. в Петербурге, а отдельные стихотворения публиковались и раньше, с 1914 г. В первые послевоенные годы в лагере «ди-пи» он вновь после долгого перерыва вернулся к поэзии. С 1947 г. публиковал стихи в «Новом журнале», с 1950–го – в «Гранях» и др. До 1977 г. Кленовский издал 11 книг стихов. В 1977 г. вышла посмертная книга «Последнее». Д. Кленовский писал также статьи, а его переписка со Странником (архиепископом Иоанном [Шаховским]) издана в 1981 г. в Париже.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!